Цена 1 р. 50 к.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ



ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 4

АПРЕЛЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА"
МОСКВА—1925

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 4

АПРЕЛЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА"
МОСКВА—1925

Главлит № 36673 Москва. Тираж 4.500 экз.

Типогр. „Правда“ и „Беднота“, Яузск. мост, Серебряническая наб., д. 23-а.

СОДЕРЖАНИЕ.

К столетию со дня рождения Фердинанда Лассаля.

О статье Лассаля.

А. Деборин.

I.

По случаю исполнившегося 11 апреля столетия со дня рождения Ф. Лассаля редакция нашего журнала решила поместить в настоящей книжке речь великого агитатора о Гегелевой философии. Речь эта была произнесена Лассалем 29 января 1859 г. в Берлинском философском обществе и впервые напечатана в журнале того же общества «Der Gedanke» за 1861 г. На русском языке работа эта появляется впервые.

Внешним поводом для произнесения этой речи послужила книга Розенкранца «Wissenschaft der logischen Idee», первый том которой вышел в свет в 1858 году. Розенкранц сам считался гегельянцем, но в своей книге он сделал попытку реформировать логику Гегеля, что и вызвало среди тогдашних ортодоксальных последователей Гегеля недоумение и недовольство. Блестящая речь Лассаля обнаруживает сразу все недостатки его миросозерцания, несмотря на то, что в своей критике книги Розенкранца он в общем был безусловно прав.

Помимо исторического интереса, речь Лассаля имеет для нас в известном смысле и актуальный интерес. В самом деле—диалектика является жгучей проблемой современности. Колоссальные успехи последних лет в области естествознания являются подтверждением правильности и истинности диалектического метода. Но естествоиспытатели, говорящие прозой, не отдают себе в этом отчета и не доходят до сознательной диалектики, оставаясь на почве стихийной диалектики, как и стихийного материализма. Что касается общественных наук, то здесь со времени Маркса и Энгельса метод диалектического материализма впервые превратил «социологию» в науку. Единый метод диалектического материализма должен скрепить и связать естествознание с обществознанием.

В известном мысле можно сказать, что материализм без диалектики слеп, а диалектика без материализма пуста. Этим и об'ясняется то обстоятельство, что великий

идеалист, но вместе с тем и великий диалектик Гегель часто вступал на материалистическую почву, когда ему приходилось «пустую» диалектику наполнять конкретным содержанием. Материализм без диалектики ограничен, односторонен и превращается в метафизический материализм. Но диалектика без материализма пуста. Ярким примером истинности этого положения служит сам Лассаль, который оставался в течение всей своей жизни идеалистом. И, замечательное дело, Лассаль, подобно Гегелю, высказывает чрезвычайно ценные мысли в тех своих раобтах или отдельных им местах, где он, изменяя своему общему идеалистическому мировоззрению, вопреки ему, вынужден стать на материалистическую почву. В этих, к сожалению, редких случаях, Лассаль приближается к диалектическому материализму.

В наше бурное время диалектика находится в большом почете. Это, разумеется, очень хорошо и сильно нас радует. Но вместе с тем необходимо предостеречь от возможных и действительных увлечений в этой области. Диалектика невозможна, пуста без материализма. Это следовало бы твердо запомнить тов. Лукачу и его единомышленникам. Их позиция означает отход от марксизма и приближение к лассальянству, по крайней мере в области теории...

Необходимо подчеркнуть еще одно обстоятельство. Если все признаки нас не обманывают, в западно-европейской буржуазной мысли **совершается поворот от кантианства к гегельянству**. Необходимо заметить, что такой поворот Энгельс предвидел еще в 70-х годах прошлого столетия. Само собою разумеется, что в мировоззрении Гегеля представителей буржуазной мысли привлекает в первую очередь его безбрежный идеализм, его система, господство в мире абсолютного духа и пр. Методу Гегеля, по всей вероятности, будет отведено второстепенное место или он же примет снова мистический характер. Но безусловно исключена возможность поворота буржуазной мысли в сторону материализма. Напротив того, гегелевский идеализм станет тем оружием, при помощи которого будут вести ожесточенную борьбу против диалектического материализма и материалистической диалектики. Влияние буржуазной идеологии на известные группы мелкобуржуазных и пролетарских идеологов выразится в проникновении неогегелевского идеализма в пролетарскую среду и в сочетании его с неолассальянством. Поворот к лассальянству среди немецкой социал-демократии в значительной степени уже произошел. Остается лишь подвести под политическое лассальянство философский фундамент. Но он имеется в готовом виде у того же Лассаля. Это: гегелевский идеализм. Так, согласно «капризу» истории,

«эйзенахцы» ныне капитулируют перед лассальянцами, как некогда последние капитулировали перед эйзенахцами. Ревизионизм и оппортунизм привели социал-демократический корабль после долгих блужданий и странствований снова в лоно лассальянства. Марксизм служит еще социал-демократии лишь прикрытием для отступления на новые позиции.

II.

Лассаль критикует книгу Розенкранца с точки зрения ортодоксального гегельянца-идеалиста. Те упреки, которые он делает Розенкранцу, последним вполне заслужены. Лассаль прежде всего справедливо указывает на отсутствие в книге Розенкранца диалектики, и метод его, в согласии с Михелетом, называет описательным. «В самом деле,—говорит Лассаль,—Розенкранц описывает понятия примерно так же, как естествоиспытатель свои роды и виды, вместо того, чтобы выводить их друг из друга». Но диалектика самого Лассаля, в отличие от диалектики Маркса и Энгельса, покоится на идеалистическом фундаменте. В качестве ортодоксального гегельянца он кладет в основу мира идею, и сущность диалектического метода видит в самодвижении понятий и порождении и «выведении» их друг из друга. Реальный же мир и для Лассаля составляет продукт движений понятий. Поэтому логические категории рассматриваются им не как отвлечения от реальных отношений вещей, а как самостоятельные сущности. Конкретным материалом лишь «заново подтверждается и уясняется истина и жизненность логических ступеней и законов». Это значит, что «логические ступени и законы», т.-е. движение понятий, предшествуют реальному миру, который лишь заново подтверждает истинность понятия или идеи.

Разумеется, между Гегелем и Розенкранцем дистанция огромного размера. И Лассаль совершенно прав, указывая на то, что у Гегеля диалектическое движение понятий совершается «с железной логической необходимостью», в то время как у Розенкранца это диалектическое порождение одного понятия другим заменяется суб'ективным и произвольным сопоставлением понятий.

Крупнейшей ошибкой Розенкранца Лассаль считает произвольное устранение им из логики категории об'ективности, состоящей из трех форм реализации—механизма, химизма и целевой деятельности. Устранение этой важнейшей части Гегелевой логики ведет к превращению об'ективной логики в суб'ективную.

Оригинальность Гегелевой логики состоит именно в том, что она не остается в сфере суб'ективной мысли, что она имеет и об'ективный характер. Понятие в своем развитии «делает себя предметом». Понятие, по его учению, не должно быть чуждым

предмету, напротив того, оно должно преодолеть эту чуждость и достигнуть тождества с ним. Об'ективность, как говорит Гегель, есть выступившее из своей внутренности и перешедшее в бытие реальное понятие. Понятие преодолевает свою суб'ективность и внешность по отношению к об'ективности, делая себя предметом об'ективности. Отсюда и вытекает у Гегеля тот вывод, что идея составляет единство понятия и об'ективности, что понятие в своем движении перешло в бытие, стало об'ектом, стало адэкватным самому себе в непосредственности. Понятие тем самым поднялось на ступень идеи, которая есть не что иное, как «пришедшая к своему собственному понятию об'ективность». Вследствие такой постановки вопроса логика у Гегеля принимает совершенно новую, об'ективную форму. Категория об'ективности придает отчасти Гегелевой философии реалистический характер.

Поэтому протест Лассаля против произведенной Розенкранцем над логикой Гегеля операции вполне законен. Тем, что у Розенкранца понятие в своем движении к идее не проходит через об'ективность,—говорит Лассаль,—она и лишается об'ективности. «Поэтому у Розенкранца идея, а также все дальнейшие ее ступени необходимо сохраняют лишь формальное, лишь суб'ективное определение, внешнее и чуждое непосредственности как таковой»,—заключает Лассаль. Идея у него приобретает характер формального и суб'ективного определения, которое не пронизывает собою непосредственно существование. Тем самым Розенкранц отошел целиком от Гегеля и перешел на точку зрения Канта.

Но если Лассаль прав в своей критике Розенкранца, то отсюда еще далеко не следует, что мы можем или должны с ним согласиться. Лассаль и здесь обнаруживает себя заправским гегельянцем-идеалистом. Он прав с точки зрения правильно понятого Гегеля, но он не прав с точки зрения материализма. В самом деле, он исходит из того, что непосредственность должна быть опосредствована, т.-е. восстановлена через понятия. Ибо научное познание состоит в том, что непосредственная действительность (об'ективность, реальность) опосредствуется «понятиями», благодаря чему непосредственная действительность снимается и снова восстанавливается на высшей ступени. Овладеть действительностью, непосредственностью мы можем теоретически лишь при помощи понятий. Но в таком случае необходимо исходить из того, что непосредственность, действительность, об'ективность, бытие предшествуют понятию, мысли, идее. Понятия суть «орудия», при помощи которых действительность подвергается научной обработке; но действительность эта существует до всяких понятий, до всякого опосредствования.

Идеалистическая точка зрения Лассаля выступает особенно резко и выпукло в его рассуждениях об историческом процессе. История для него есть не что иное, как об'ективное самоосуществление понятия. Насколько неудовлетворительны его рассуждения в этой области, доказывают и те примеры из истории, которыми он иллюстрирует свою мысль. В самом деле, надо ли ныне еще доказывать, что утверждения Лассаля о том, что из движения понятия возникает разложение и преобразование общественных форм, является нелепостью? Падение феодального строя и возникновение современных буржуазных отношений Лассаль рассматривает как механическую деятельность понятия. «Или когда теперь в больших промышленных государствах, особенно в Англии,—говорит он,—процесс промышленности ведет к тому, что в силу ее собственного движения капиталы все больше централизуются и скопляются, а мелкое среднее сословие, наоборот, все больше исчезает, ниспадая на степень неимущего пролетариата, владеющего только своей рабочей силой,—то это тоже механическое действие и движение понятия, из которого, быть может, в свою очередь, возникнет разложение и преобразование существующей общественной формы».

Уже из этой цитаты для каждого ясно, до какой степени был прав Маркс, когда говорил, что у Гегеля все стоит на голове и что необходимо отбросить мистическую оболочку, чтобы действительность приняла свой настоящий вид. Материалистическое понимание истории берет действительность как таковую и исследует ее собственное противоречивое движение, которое ведет к разложению существующей и возникновению новой общественной формы, не нуждаясь в мистике самоосуществления понятия или духа. Стремясь к обоснованию исторического процесса на основе Гегелевой логики, Лассаль строит свою философию истории на об'ективном самоосуществлении понятия в формах логического механизма, химизма и телеологизма. «Логический химизм,—подчеркивает Лассаль,—составляет душу истории и порождает ее движение». В качестве примера логического химизма в истории Лассаль берет понятие монархии. «Высокое значение монархии,—говорит он,—заключается в том, что она представляет собой понятие целокупности и единства нравственной воли государства против погруженных в свои частные интересы, в свои привилегии и преимущества классов и сословий гражданского общества. Таким образом, монархия в силу своей внутренней природы с самого начала враждебно противостоит всяким привилегиям. Таково понятие монархии в самом себе».

Тут мы снова видим у Лассаля полное извращение исторической действительности, идеалистическое представление о государстве, как о единстве нравственной воли, олицетворяемой в

монархии государем, о монархии, как о принципе, якобы враждебно противостоящем всяким привилегиям и проч. В основе же всех этих рассуждений лежит опять-таки логическое понятие монархии в самом себе.

Как пример логического телеологизма в истории, Лассаль приводит Французскую революцию, где определенные классы и лица, свободно и сознательно стремясь к перевороту, осуществляют целевую деятельность.

Все это построение насквозь идеалистично и противоречит исторической действительности. Но если мы все же видим, что Лассаль, вопреки своему идеализму, приходит часто к революционным выводам, то это об'ясняется, с одной стороны, тем, что даже идеалистическая диалектика отличается огромными преимуществами перед метафизическим способом мышления. Исходя из понятия монархии, диалектик вынужден вскрыть внутренние противоречия его и показать, как оно в силу имманентного развития их приходит к собственному отрицанию, превращаясь в свою прямую противоположность: монархия—в республику. Но, с другой стороны, не трудно заметить, что это мнимое самодвижение и самоосуществление понятия представляет собою не что иное, как извращенное отражение или мистический перевод на язык логических понятий «саморазвития» материальной действительности. Гегелевский идеализм тем отличался от всех других идеалистических построений, что он не игнорировал «об'ективности», а стремился воспринять ее целиком в свою систему, что она должна была представлять тождество с своим понятием и повторять в своем движении те же законы и ступени, что и понятие, ибо понятие разрешается в об'ективность и предметность, как предметность, в свою очередь, представляет собою существование понятия.

Лассаль поэтому прав, когда делает упрек Розенкранцу в том, что тот уничтожает историю как науку, отбрасывая сферу «об'ективности». Но сам Лассаль остается на идеалистической позиции и в области истории, как их понимания государства, видя в самоосуществлении понятия истинный смысл исторического процесса, а в материальных, конкретных событиях лишь отражение или проявление этого движения понятия. Лассалю не суждено было преодолеть Гегелевский идеализм.

Эту историческую задачу в полной мере выполнил Маркс, доказав, что «движение понятия» есть лишь отражение движения действительности, что не понятие или сознание определяет собою бытие, а бытие определяет собою понятие и сознание.

Логика Гегеля и логика Розенкранца и систематическое основание Гегелевой философии истории.

Ф. Лассаль.

Милостивые государи, если мне выпало на долю, после столь пространного доклада профессора Михелета высказаться, в свою очередь, о логике Розенкранца, то понятно само собой, что я не стану возвращаться ни к трансцендентности, ни к так называемому вопросу о пантеизме, вообще ни к чему из того, о чем уже так подробно распространялся г. Михелет. И если, тем не менее, и для меня еще остается богатая жатва, то это происходит оттого, что повсюду, где г. Михелет касался в своей речи логики Розенкранца, он рассматривал только ее отдельные пункты, которые и подверг подробному анализу. Я же, наоборот, намерен говорить, главным образом, о том изменении, какое претерпела у Розенкранца архитектоника и структура Гегелевой логики, т.-е. о подлинно принципиальном и фундаментальном отношении между научным зданием Розенкранцевой логики и логики Гегеля. Между тем, опубликованный до сих пор первый том сочинения Розенкранца, охватывающий учение о бытии и о сущности, с точки зрения формальной структуры еще вполне совпадает с логикой Гегеля, если не считать одного изменения в самом конце книги, которое, однако, вполне раскрывает свой смысл только в связи с учением о понятии. Действительное изменение Гегелевой логики и ее общего плана появляется, таким образом, у Розенкранца только в учении о понятии, т.-е. во втором томе его логики. Если именно поэтому на первый взгляд могло бы показаться, что моя критика будет преждевременна, то по существу это все-таки не так. В самом деле: в своем введении, содержащем целых 123 страницы, Розенкранц не только указывает, как он делит учение о понятии и об идее (что уже само по себе было бы вполне достаточно для возможности исчерпывающей критики), но в том же введении, а также в конце первого тома, да и в соответствую-

щем отделе своей «Системы науки» он так подробно останавливается на исправлениях, вносимых им в третью часть логики Гегеля, что у нас имеется весь нужный материал для оценки.

Все мы ценим в Розенкранце одного из самых даровитых и заслуженных членов гегелевой школы. Однако это не может помешать нам, особенно когда речь идет о логике и, следовательно, о фундаменте философии, придать нашей критике всю ту остроту, которая требуется интересами дела. Зато тем настойчивее моя потребность предпослать безличной и поэтому беспощадной критике, которую я вам изложу, слова теплого признания, следуемого Розенкранцу за разнообразные заслуги, которые он стяжал себе в течение своей философской деятельности. И заслуги эти не приходится вызывать, ради одного лишь уважения к Розенкранцу, из его прошлого. Наоборот! Настоящим своим произведением он стяжал себе новые и притом чрезвычайно большие. Я имею в виду примеры, которыми Розенкранц повсюду обогатил логику Гегеля,—заслуга, величина и важность которой едва ли может быть оценена достаточно высоко. Ибо, с одной стороны, этим конкретным материалом заново подтверждаются и уясняются истина и жизненность логических ступеней и законов, с другой же стороны, эти примеры весьма часто открывают доступ к глубочайшему пониманию конкретных наук и конкретных обстоятельств. Я мог бы в этом отношении привести вам такие доказательства, которые наполнили бы вас чувством величайшей признательности. Но если бы было несправедливо выступать с критикой логики Розенкранца, не почтив сначала ее автора самым теплым образом за его заслуги, то останавливаться на них подробнее не позволяет мне возложенная на меня задача: сделать доклад о принципиальном и фундаментальном отношении между логикой Розенкранца и логикой Гегеля. К тому же, что касается заслуг Розенкранца, то г. Михелет уже сказал по этому поводу все самое существенное.

Обращаясь теперь к своей задаче, я, как это сейчас выяснится, оказываюсь не в состоянии притти к какому-либо соглашению с Розенкранцем. Сочинение Розенкранца можно в известном смысле назвать комедией, которой подошло бы заглавие: «Малые причины, но большие следствия»,—и именно потому, что изменения в архитектонике Гегелевой логики, вводимые Розенкранцем, сначала кажутся совершенно незначительными и ничтожными, а результатом их является ни больше ни меньше, как полнейшее низвержение всей Гегелевой логики, более того—всей Гегелевой философии вообще в ее интимнейшей сущности. Комично при этом то, что Розенкранц, совсем как наивный герой комедии, совершает весь этот переворот, нисколько того не сознавая, даже отдаленно не догадываясь об этом.

Наоборот, он утверждает, что по-прежнему остается твердым гегельянцем, что он исправил Гегеля только в некоторых подробностях.

Позвольте мне подойти к моей теме исподволь, начав с некоторых внешних соображений. Первый недостаток, бросающийся в глаза при самом беглом просмотре книги Розенкранца, заключается в полнейшем отсутствии диалектики, перехода понятий друг в друга посредством их собственного движения. Г. Михелет уже обратил ваше внимание на этот пункт и в связи с этим очень удачно назвал метод Розенкранца описательным. В самом деле, Розенкранц описывает понятия примерно так же, как естествоиспытатель свои роды и виды, вместо того, чтобы выводить их друг из друга. Этот недостаток может сначала показаться всего только несовершенством. Однако несовершенство это тотчас становится подозрительным, когда вспомнишь, что, как это повсюду подчеркивает сам Гегель, метод философии—диалектическое порождение понятий—есть единственный способ, каким философия располагает для доказательства своей истинности. Положение еще ухудшается от того, что это отсутствие диалектической формы пытаются укоренить в логике—в логике, которую короче всего можно определить как науку об абсолютной форме, или науку о том, как форма сама для себя становится содержанием. Положение делается, наконец, уж совсем подозрительным, если к сказанному прибавить, что у Розенкранца некоторые категории Гегелевой логики опускаются вовсе, а одна категория получает другое место, чем у Гегеля. Развивай Розенкранц предмет диалектически, как Гегель, каждый читатель имел бы в этой диалектике масштаб для проверки, какой из двух выводов более последователен и истинен, и с каким, наоборот, приключилось нечто человеческое. Теперь же, когда Розенкранц обходится без этого диалектического корректива и все-таки переставляет и опускает категории Гегелевой логики, это уже не только простое несовершенство Розенкранца, это создает против самого Гегеля и его логики видимость того, будто и в ней, как ее часто упрекали противники, диалектический метод в самом деле только видимость и искусственный прием,—другими словами, будто и ею понятия не порождаются путем предоставления им полной свободы, а берутся совсем как в рефлексивной философии, внешней рассудочной рефлексией и только потом уже приводятся в искусственную связь друг с другом при помощи диалектических передержек. Отказ от метода является поэтому первым и главным грехом, в котором мы должны упрекнуть Розенкранца и который достаточно тяжко отомстил ему за себя. Именно здесь лежит корень всего дальнейшего.

Если мы спросим теперь: каковы изменения, произведенные Розенкранцем в структуре и архитектонике Гегелевой логики,—то на первый взгляд они могут, пожалуй, показаться столь немногочисленными и незначительными, что станет непонятно, как могу я поднимать из-за них такой шум, а тем более—как можно увидеть в них коренное и систематическое преобразование Гегелевой логики. В самом деле, Розенкранц выпускает из логики: 1) категорию механизма, 2) категорию химизма, 3) идею жизни с ее подразделениями, 4) идею блага. Наконец, 5) он перемещает категорию телеологической цели, ставя ее непосредственно вслед за категорией взаимодействия, т.-е. оставляя ее в сфере того, что Гегель именует об'ективной логикой, тогда как у самого Гегеля категория цели впервые появляется в учении о понятии, как переход химизма в идею. Посмотрим, прежде всего, насколько эти опущения и эта перестановка могут считаться правильными; а затем посмотрим, какие существенные следствия, совершенно незамеченные самим Розенкранцем, вытекают из этого, казалось бы, столь незначительного изменения формальной структуры Гегелевой логики.

Логическое понятие механизма,—выражая его содержание возможно короче и яснее,—сводится у Гегеля к тому, что между двумя непосредственными целокупностями, которые все, как таковые, суть законченные и самостоятельные об'екты, имеет место отношение, совершенно внешнее и чуждое природе самих соотнесенных; таковы, напр., куча зерен, аггрегат, давление, толчок (ср. «Логика» Гегеля, ч. III, стр. 175). Гегель приходит к этому понятию строго диалектически-генетическим путем, который по своей существенной мысли состоит в следующем. Понятие, которое вначале есть понятие вообще, разделяется на свои моменты: всеобщность, частность, единичность, выделяя их как крайние термины. В таком виде оно есть суждение, в котором понятие разлагается на свои моменты, как на неподвижные внеположные определения суб'екта, предиката и связки. Пробегая, далее, через свои различные формы, суждение самоопределяется в умозаключение, в котором утраченное в суждении единство моментов понятия восстанавливается снова. В умозаключении моменты не суть нечто, внутренно заключенное в его единстве, как то имело место в еще только всеобщем понятии; нет, в нем положены различные определения понятия, крайние термины суждения (ср. «Логика» Гегеля, ч. III, стр. 115). Или другими словами: умозаключение само еще есть суждение и, как таковое, полагает свои моменты в реальности, т.-е. в различии их определений. Но внутреннее свойство понятия—быть единством своих моментов,—оставшееся скрытым в суждении, в умозаключении прорывается наружу

и восстанавливает себя своей собственной деятельностью, ибо теперь крайние термины, эти различные определения суждения, смыкаются и полагают свое тождество друг с другом. Но если таким образом в различных формах умозаключения каждый из этих крайних терминов полагает себя тождественным со всеми другими, то именно благодаря формальному завершению умозаключающего процесса—в разделительном умозаключении—само это опосредование оказывается снятым. Ибо так как каждый момент опосредования («Логика» Гегеля, ч. III, стр. 164, 173) оказался уже сам по себе целокупностью опосредованного, то тем самым выявилось, что каждый из этих моментов уже в самом себе и непосредственно есть самостоятельная целокупность. В результате получилась, таким образом, непосредственность, осуществившаяся именно через снятие опосредования, т.-е. такая, которая возникла благодаря деятельности понятия, разрешающей положенное при его самоопределении опосредование в непосредственное отношение к себе; другими словами, мы имеем бытие, которое в такой же мере непосредственно, в какой тождественно с опосредованием, и возникло через снятие последнего. Это бытие, эта непосредственность, которая насквозь пронизана понятием и возникает через его опосредование, разрешающее себя в непосредственное отношение к самому себе,—это бытие, которое уже не есть, подобно моментам в суждении, только положенность понятия, но в такой же мере, как положенность, и непосредственное, т.-е. в себе и для себя сущее бытие понятия,—есть об'ективность. Или выразим это еще точнее. Так как каждый из крайних моментов суждения в самом себе определился в целокупность, то мы имеем различные термины, которые, однако, во-первых, как целокупности, одинаковы между собой и, значит, индифферентны к своему различию; которые, во-вторых, будучи каждый целокупностью, суть законченные и самостоятельные непосредственности относительно друг друга; и которые, в-третьих, индифферентны не только к своему различию, но и к своему в себе сущему тождеству, к своему единству и отношению друг к другу. Но именно таково понятие механического об'екта и механизма, как мы его определили выше.

Переход механизма в химизм совершается не менее строго путем дальнейшего самоопределения понятия (впрочем, и это развитие я воспроизведу здесь только в общих чертах, без конкретного проведения этого понятия через его низшие ступени). Так как механические об'екты, как непосредственные и самостоятельные целокупности, отношение которых друг к другу совершенно чуждо им самим, еще лишены отрицательного единства с собой, исключительного отношения к самим себе,—то они тем самым оказываются несамостоятельными относительно друг

друга и именно поэтому подверженными взаимодействию и взаимоотношению. Но так как это отношение остается совершенно чуждым для них самих, то сообщение действия, претерпеваемого ими, является таким же внешним и снова переходит в покой. Однако в этом продукте механического процесса на деле появилось уже нечто высшее—именно то, что первая, лишь в себе существующая самостоятельность об'екта возникла теперь из отрицания его несамостоятельности, из отрицания его отношения к внешнему. Об'ект вернулся теперь из внешности в самого себя, он теперь отрицательное единство с самим собою, он теперь подлинно самостоятелен только как отрицание внешности. Это в самой внешности внешность отрицающее и в себя возвращенное отрицательное единство об'екта с собою есть центральность. Так как теперь, следовательно, самостоятельность об'екта опосредована его отрицательным отношением к другому, при чем это отношение к другому теперь уже имманентно об'екту в нем самом и в его определенности, то мы получили об'ект, внешнюю и непосредственную целокупность, имеющую свое имманентное свойство в том, чтобы быть отнесенной к чему-то другому—мы имеем различный об'ект или понятие химизма. Целокупность понятия, в каковую вся сфера об'ективности оказалась превращенной деятельностью понятия, самоопределилась на этой ступени так: только в себе—и именно поэтому только непосредственно—наличествует она как целое реального, но непосредственность своего существования имеет лишь в имманентной, отнесенной к своему противоположному, односторонности, только в ней тождественна с самой собой и имеет свою differentia specifica.

Химический об'ект есть таким образом противоречие в самом себе, будучи целокупностью понятия в себе и вместе с тем определенной, односторонней непосредственностью; в то же время имманентная определенность его непосредственности заключается только в том, чтобы в самом себе быть отнесенным к чему-то другому. Вследствие этой природы химического об'екта он есть стремление снять это противоречие между своим существованием и своим понятием, сделать первое адэкватным второму, через снятие своего одностороннего наличия сделать себя реальным целым в бытии, каков он и есть по своему понятию. Поэтому химические, различенные об'екты, по своему логическому понятию, напряжены в самих себе и против самих себя. Только через свое различие они то, что они суть; а суть они не что иное, как абсолютное влечение снять себя и взаимно восполниться в целое. Результатом химического процесса является поэтому новый продукт, в котором—хотя и он, в свою очередь, может быть переведен в процесс—выравнено указанное противо-

речие понятия и реальности, потушено различие напряженных крайностей. В то же время вместе с этим новым продуктом (и не входя в рассмотрение ближайшего результата химического процесса) уже дано высшее мыслеопределение. В продукте химического процесса мнимая непосредственность об'ективности оказалась внутри самой себя положенной через опосредование. Но то опосредование, которое относится к об'ективности как к своей собственной реальности и в ней имеет только несамостоятельную среду своего самоосуществления, своего саморазвития, есть цель, целевая деятельность. При более близком рассмотрении оказывается, что в процессе механизма уже снята самостоятельность об'ектов, а в химическом процессе снимается (ибо его продукт есть новый об'ект) еще и непосредственность об'екта. Так как различные прежде об'екты об'единились в чем-то нейтральном, что является новой, лишь из опосредования возникшей непосредственностью, то в этом нейтральном они уже наличествуют не как об'екты, а как простые ингредиенты, и своим собственным действием они приведены к тому, чтобы быть лишь абстрактными моментами понятия. Если прежде тождество об'ективности с понятием наличествовало лишь в себе, было дано только потому, что понятие в своем движении разрешило себя в нее, и, стало быть, было только, подобно душе, погружало в непосредственность и внешность об'ективного, то теперь оно пришло к бытию для себя, так как и об'ективность, в свою очередь, сбросила в результате своего саморазвития видимость внешности, непосредственности и самостоятельности и разоблачилась, как положенность понятия. Мы имеем, таким образом, понятие, освободившееся через отрицание внешности и непосредственности, в которую оно было погружено,—понятие, которое относится к об'ективности, как к своей собственной, самостоятельно не существующей реальности, как к простому материалу и сфере своей самореализации; а это и есть целевая деятельность. В формальном процессе механизма движение было чисто внешним отношением индифферентных об'ектов; в химическом процессе оно стало имманентной природой об'ективного, существующей в себе, но еще не для себя; в целевой деятельности оно есть природа понятия, свободно противостоящая об'ективности, как своей собственной, ничтожной и бессильной против нее, стихии. Так, внутренняя железная необходимость развития и последовательности этих понятий раскрылась перед нами в результате их собственного диалектического движения.

Вернемся теперь к Розенкранцу. Как не связанный никакой диалектической конституцией, неограниченный самодержец в царстве понятий, который может поэтому любое понятие по произволу выслать из его истинной родины, а то и совсем изгнать

из своего царства, он совершенно выпускает из логики понятия механизма и химизма, даже и не пытаясь показать, какой же скачок или недочет допустил Гегель в диалектике мысли, когда представил понятие умозаключения впадающим в своем движении в названные понятия. Что же касается тех внешних соображений, которые выставляются при этом против Гегеля, то они сразу же оказываются неправильными.

Так, например, Розенкранц, полагает против Гегеля (стр. 508), что когда одно тело толкает или приводит в движение другое, то в этом механическом процессе нет никакого умозаключения, как ошибочно де полагал Гегель; ибо тут нет никакого общего, а следовательно, нет и отношения общего к частному и единичному. Розенкранц не замечает, что общее здесь несомненно имеется налицо, и прежде всего в самом движении, проходящем через оба тела: через первое тело, которое находится в этом состоянии, т.-е. подведено под это общее и, следовательно, представляет момент частности, движение смыкается со вторым, покоящимся телом, которое есть рефлектированная в себя единичность. И если эти определения—общность, частность и единичность—могут быть переставлены, так что каждое одинаково может быть применено к любому из этих трех членов, то это отнюдь не доказывает произвольность конструкции, а является, наоборот, лишним доказательством ее истинности. Ибо, как выяснилось, мыслеопределением об'ективности—завершенным движением умозаключения—с самого начала было положено, чтобы каждый момент в самом себе был целокупностью понятия, имел при себе все три его момента и с полным безразличием для самого себя мог быть как тем, так и другим из этих моментов.

Но если Розенкранц и решил пренебречь строгими требованиями диалектического развития, то уже простая внешняя рефлексия могла бы ему показать, что понятия механизма и химизма безусловно относятся в логику. Дело в том, что Гегель сам дает где-то—кажется, в введении к «Логике»—превосходную примету для распознания того, относится ли данная категория в логику или нет. А именно, в логику,—говорит он,—относится все то, что встречается не только в природе или в духе, но сразу и здесь и там. Я назвал это приметой, потому что, будучи взято так внешне, оно в самом деле имеет природу приметы. Но в действительности это нечто большее. Это примета абсолютная или понятие самого предмета. Ибо то понятие, которое равномерно проходит как через природу, так и через дух, и есть логическая категория или понятие самого логического. Но механизм относится не только, как полагает Розенкранц, в область естественного. Он в такой же мере встречается и в духовной области. Не только внешние об'екты, но и духовные пред-

ставления, всякое определенное содержание мысли, могут быть приведены в то остающееся внешним отношение друг к другу, в котором мы усмотрели понятие механического. Память и есть эта функция механического в духе. Мы завязываем узелок на носовом платке, чтобы вспомнить, что на завтра мы решили выполнить известное дело. Узелок и это дело—две совершенно внешние и чуждые друг другу вещи, природа которых не имеет решительно ничего общего между собой и которые никак не относятся друг к другу ни до того, ни после. Отношение между ними полагается лишь нами, оно чисто внешнее. Тем не менее оно оказывается действенным, оба связанные представления остаются в духе отнесенными друг к другу: и при взгляде на узелок мы можем вспомнить, и обычно вспоминаем, что решили сделать такое-то дело (ср. мнемотехнику). Так же, как в суб'ективном духе, механизм встречается и в области об'ективного духа, напр., в государстве: бюрократия есть такой чисто механический аппарат, действующий сверху вниз посредством давлений и толчков. Сказанное о механизме в такой же мере относится и к химизму: любовь, дружба—это такие динамические явления в духе, которые покоятся на логической сущности химизма.

Если механизм и химизм Розенкранц опускает вовсе, то понятие цели, образующее у Гегеля синтез того и другого и преддверие к идее, он переносит из суб'ективной логики в учение о сущности и пытается построить из него переход к самому понятию понятия. Нам уже уяснилась необходимость предпосылки химизма для развития понятия цели; и из одного этого уже следует, что понятие цели нельзя вывести, как того хочет Розенкранц, из категории взаимодействия. То же самое мы докажем теперь иначе, выяснив вкратце, в какое понятие разрешается категория взаимодействия и почему она никоим образом не может перейти в понятие цели. Гегель показывает в учении о сущности как причинность переходит во взаимодействие; в этом пункте Розенкранц не делает никаких попыток изменения. Понятие сущности, во всех его подразделениях, в общем определяется так, что она в своем обнаружении переходит в другое; что при этом она никогда не достигает действительного равенства с собой, но всегда остается, как в себе существующая мощь, за своим обнаружением, которое есть простая видимость или простая положенность. То же самое еще имеет место и в категории причинности. Причина и действие отличны друг от друга. Причина действует, но причина остается предположенной, в себе существующей исконностью, которая есть нечто отличное от лишь положенного ею действия. Это действие может, в свою очередь, самоопределиться к тому, чтобы стать причиной

самопроизведению, т.-е. именно к тому, в чем мы усмотрели природу понятия, которое и следует поэтому у Гегеля за взаимодействием. Но разве в процессе взаимодействия, разве в этом самопроизведении уже дано «долженствование»? Нет, это самопроизведение наличествует вначале также только как в себе сущая природа его движения, как его закон. «Долженствование» же требует, наоборот, чтобы собственное движение понятия уже существовало для него самого и чтобы это свое для-себя-бытие оно для себя же противоставляло бытию, как его закон, — всё определения, из которых пока еще нет налицо ни одного. Розенкранца ввело здесь в заблуждение то обстоятельство (на которое он и ссылается на стр. 500), что Гегель сам называет переход от взаимодействия к понятию переходом от необходимости к свободе. Но, повидимому, эту мысль Гегеля Розенкранц понял совершенно превратно. Дело в том, что в отличие от необходимости, которая, как предшествующая причинности категория сущности, точно так же переходит в своем обнаружении в нечто другое, Гегель называет возникновение понятия переходом к свободе,—ибо свобода означает у Гегеля всегда лишь пребывание у себя, даже и в другом, а это пребывание, как мы видели, действительно достигается переходом взаимодействия. Понятие может поэтому по праву именоваться царством свободы—именно потому, что в своем движении оно есть только самопроизведение и, стало быть, постоянное у-себя-пребывание и развитие самого себя. Но и эта свобода существует вначале лишь в себе или для нас и еще только должна быть положена в понятии его собственной деятельности. Положение здесь такое: бытие возвращается в логике Гегеля в сущность, как в свою собственную нутрь. Но сущность есть та сфера, в которой бытие и внутренность, различествуя между собою, не соответствуют друг другу. Было бы, однако, большим заблуждением полагать, что и сущность, переходя в понятие, в свою очередь, только уходит еще глубже внутрь. Правда, это также имеет место. Но правильнее было бы выразиться так: сущность выходит в понятие. Бытие, достигшее равенства со своей сущностью, бытие, в которое сущность пролилась исчерпывающим и адэкватным образом, есть понятие. Гегель сам говорит по этому поводу совершенно ясно (Логика, ч. III, стр. 30): «Сущность есть первое отрицание бытия, ставшего через это видимостью. Восстановление бытие есть понятие». Но, таким образом, понятие пока все еще есть только нечто непосредственное. Оно наличествует в виде твердых определений общего, частного и единичного, которые сами по себе выступают еще изолированно. Его развернутая свобода: его свободное бытие для себя, его самоограничение от формы непосредственности и низведение по-

следней на степень простого момента своей или некоторой несамостоятельной по отношению к нему реальности,—эти три необходимые для понятия цели момента, при помощи которых понятие достигает своей в себе и для себя существующей свободы, могут быть порождены понятием только в результате его собственного движения.

Розенкранц впадает, следовательно, в ту бесконечную ошибку, что понятие самого понятия он хочет поместить лишь за понятием цели, — тогда как на деле понятие цели уже предполагает понятие понятия; и именно поэтому он невольно утрачивает само понятие понятия. Как непозволительна эта ошибка, лучше всего обнаруживается на тех противоречиях, в которые Розенкранц запутался из-за нее. Вынуждаемый природой предмета, он вопреки самому себе не может не предполагать уже понятие понятия везде, где он говорит о понятии цели. Приведу в доказательство лишь несколько мест: «Цель есть действующая как понятие причина, которая в своем действии не производит ничего, кроме самой себя, и в своем результате не осуществляет ничего, кроме содержания понятия». Не в том, что здесь два раза (стр. 495) упомянуто слово «понятие», заключается противоречие. В логике можно говорить о том или ином понятии и его содержании задолго до того, как была исследована категория самого понятия. Бытие, качество, количество—все это понятия. Но о чем в логике нельзя говорить до исследования природы самого понятия, так это о понятии, как понятии. Ибо для этого уже должно быть положено понятие самого понятия. Следовательно, положение: «цель есть действующая как понятие причина» предполагает, что деятельность, свойственная понятию как таковому, уже была определена и изложена. И да не подумает кто-нибудь, что это со стороны Розенкранца только lapsus calami. Так же выражается он о понятии цели на стр. 512: «Становление бытия становится в нем реализацией его понятия, а явление—развитием сущности, уже до того существующей, как понятие». Слова «как понятие» означают: сущности, существующей в форме понятия,—и, стало быть, Розенкранц сам признает здесь, что форма понятия уже должна быть дана, прежде чем развитие может привести к понятию цели, прежде чем это последнее понятие может быть порождено и развито. Розенкранц говорит далее на той же странице: «В этом различении понятия от своей реальности, удерживающем в то же время единство обоих, заключается бесконечная значительность понятия цели». Но если в понятии цели самом по себе понятие, как таковое, должно различаться от своей собственной реальности, то ведь содержание понятия, как такового, необходимо должно быть развито уже заранее. Промах, содержащийся, таким образом, в этих

высказываниях Розенкранца, поражает своей неожиданностью. На стр. 99 Розенкранц упрекает Логику Бахмана в том, что она начинает дедукцию законов мышления такими словами: «Форма полагания гласит: нечто есть, форма отрицания—нечто не есть». Прежде, чем возможно говорить о бытии и небытии,—возражает Розенкранц,—нужно уже знать, что такое бытие и небытие. В этом своем упреке Розенкранц совершенно прав; но тем более удивительно, что самому себе он позволяет даже говорить о форме понятия, как понятия, прежде чем эта форма развита им,—и что в необходимости поступить так он не усматривает и намека на то, что понятие цели решительно предполагает форму понятия.

Все, что я до сих пор говорил вам, милостивые государи, об ошибках Розенкранца, касается отдельных пунктов, которые, при всей их огромной важности, все же излагались мною так подробно только для того, чтобы затем показать, какие выводы следуют для всей системы Гегелевой логики и философии из этих, казалось бы, второстепенных пунктов. В самом деле, вследствие того, что Розенкранц совсем выпускает из логики механизм и химизм, а телеологию или понятие цели изгоняет из царства понятия в область сущности, у него отпадает вся глава об об'ективности, которая у Гегеля целиком состоит из этих трех форм реализации: механизма, химизма и целевой деятельности, и в таком виде образует переход от понятия, как такового, к идее. Так как таким образом отпадает все понятие об'ективности вообще, а поэтому, в частности, и ее постановка у Гегеля между понятием и идеей,—то тем самым, утверждаю я, принципиальная почва Гегелевой системы, вся его философия вообще, не то что опрокинута Розенкранцем—этого опасаться не приходится,—но во всяком случае решительно покинута им.

Это, хоть и жесткое, утверждение я должен буду теперь обосновать ближе, в чем и заключается главная цель моего настоящего доклада. Вследствие выпадения об'ективности между понятием понятия и понятием идеи прежде всего понятие самой идеи неизбежно становится у Розенкранца совершенно другим, чем у Гегеля; ибо в логике самое важное и решающее для понятия, это—его происхождение, его вывод. То, откуда оно происходит, делает его тем, что оно есть. У Гегеля идея есть единство понятия и об'ективности, или пришедшая к своему собственному понятию об'ективность. Идея есть для него единство понятия с самим собою в непосредственности, или понятие, ставшее в непосредственности адэкватным самому себе. Это основное определение должно отпасть у Розенкранца потому, что у него понятие, в своем движении к идее, не проходит через об'ективность, а потому у него идея и не имеет

в себе об'ективности, не есть в ней ее тождественная с собою душа. Поэтому у Розенкранца идея, а также все ее дальнейшие ступени необходимо сохраняют лишь формальное, лишь суб'ективное определение, внешнее и чуждое непосредственности, как таковой. Прямым выводом отсюда является то, что для идеи, как непосредственной (ступень жизни у Гегеля), он опять-таки не находит никакого применения в своей Логике. В том-то и дело, что непосредственность остается у него не восстановленной через понятие, и поэтому он и не может овладеть ею. Напрасно стал бы Розенкранц говорить, что и у него идея определена, как единство понятия и его реальности. Между реальностью и об'ективностью есть большое логическое различие: об'ективность есть категория непосредственности, существования; реальность же есть всякая определенность вообще, в том числе и чисто формально-логическая. Единством себя и реальности является в логике уже само формальное понятие. Ибо оно обладает реальностью в определенности своих моментов, как единичности и частности. Гегель сам высказывается об этом в «Логике» самым недвусмысленным образом (ч. III, стр. 283): «Но идея обладает истинным бытием не только в более общем смысле, в смысле единства понятия и реальности, но и в более определенном смысле суб'ективного понятия и об'ективности. Дело в том, что понятие, как такое, уже само есть тождество себя и реальности; ибо неопределенное выражение «реальность» вообще означает не что иное, как определенное бытие; а таковым понятие обладает в лице своей частности и единичности». Вскоре вслед за этим Гегель говорит: «Идея обнаружилась теперь как понятие, снова вернувшееся от непосредственности, в которую оно погружено в об'екте, к своей суб'ективности,—как понятие, отличающее себя от своей об'ективности, которая, однако, все так же определяется им и только в нем имеет свою субстанциальность. Это тождество было поэтому по праву определено, как суб'ект-об'ект». Так вот, этот суб'ект-об'ект, этот прославленный главный пункт современной философии, имевшийся даже не только у Гегеля, но уже и у Шеллинга в его философии тождества, снова утрачен у Розенкранца. Его идея, которая развивается тотчас же из умозаключения, остается простым единством понятия с его формальными определениями, т.-е. опять-таки лишь формальным или суб'ективным понятием, которое не пронизало собою непосредственность, непосредственное существование.

Но еще и с других сторон, связанных с только что изложенным лишь как необходимый вывод, должен я осветить это великое отпадение, чтобы выяснить его во всем его значении. Переход у Гегеля понятия в категорию об'ективности составляет

как я утверждаю без всяких колебаний, важнейший пункт всей Гегелевой логики. Абсолютная внутренняя необходимость этого перехода состоит попросту в том, что при наличности у понятия трех формальных моментов: общности, частности и единичности, — общность, пронизывающая собою частность и тотчас становящаяся в ней единичностью, есть предмет или об'ект, т.-е. положенное единство понятия с его моментами, реализовавшееся взаимопроникновение этих моментов. А абсолютная систематическая важность этого перехода заключается в том, что—ввиду саморазрешения понятия в предметность, которая таким образом оказывается им самим положенной и им проникнутой,—только этот творческий акт понятия, переходящий в свою противоположность и в ней сохраняющий тождество с самим собою, дает философии Гегеля право, ею и осуществленное, признать об'ективную непосредственность достоянием понятия, как его собственное самоосуществление. Если нет этого—если понятие не претворяет себя в предмет своим собственным движением,—то нет никакого научного права утверждать предметность, как существование понятия. Если нет этого, то непосредственность снова становится чем-то недоступным, неподвластным понятию, потому что она возникает не из собственного движения понятия. Если нет этого, то совершенно отпадает (чтобы начать с одного частного вывода и лишь затем подняться к самому общему) между прочим и один из важнейших результатов Гегелевой философии: понятая история. Понятие истории, данное Гегелем и бывшее во всяком случае одним из влиятельнейших следствий этой философии, сводится к тому, что история есть об'ективное самоосуществление понятия (духа). Понятая история означает у него всегда лишь: история, понятая как об'ективное самоосуществление понятия. Теоретическая основа этого определения коренится опять-таки в логике и должна в ней корениться, чтобы определение могло быть систематически-обоснованным. Правда, что систематическая связь между Гегелевым пониманием истории и Гегелевой логикой еще ни разу не была выяснена, еще ни разу не был даже поставлен вопрос: где именно в логике имеет свою основу гегелево понимание истории? А между тем в логике должно оно иметь свою последнюю основу и свой корень, чтобы быть об'ективно-необходимым и систематическим. Но именно потому, что эта глубочайшая связь еще ни разу не была исследована, будет уместно рассмотреть ее здесь ближе.

Гегелево понимание истории имеет в самом деле свой корень в логике, и именно, как сейчас выяснится, нигде больше, как в главе об об'ективности, т.-е. там, где трактуется о механизме, химизме и телеологии. Ибо этот корень лежит не в чем ином,

как в положении, что понятие своим собственным движением претворяет себя в об'ективную непосредственность и в этой последней снова приходит к себе. Устраните э т о, и история попрежнему остается продуктом случая; или иначе еще ее можно рассматривать тогда (что, однако, по существу сводится к тому же), как действие и процесс более или менее разумных с у б'е к т и в н ы х воззрений. Но то, чем она является по Гегелю,—«об'ективное самодвижение понятия», ту об'ективную разумность, которая есть нечто совершенно иное, чем слишком часто столь ничтожный разум людей, живущих и умирающих в данную эпоху,—эту разумность она теряет о к о н ч а т е л ь н о. Было бы совершенно бесполезно, если бы Розенкранц на это возразил, что история есть царство и д е и (и ее осуществления). Она е с т ь царство идеи; но идея не имеет для своего самоосуществления другого средства, кроме деятельности понятия в его движении. Понятие есть энтелехия идеи. Стало быть, для того, чтобы разумное понимание истории было истиной, оно не должно оставаться общей фразой; и поэтому все сводится к тому, чтобы конкретно усмотреть, к а к и м о б р а з о м идея, которая есть не что иное, как развившееся понятие, осуществляет себя в истории, как об'ективно-логическое движение и, следовательно, как механизм, химизм и целевая деятельность. Ибо в этих трех определениях и формах состоит, как мы видели, об'ективное движение понятия или его движение в своей об'ективности.

На первый взгляд может, пожалуй, показаться весьма парадоксальным и чудовищным утверждение, что понятие может действовать в истории как механизм, или даже как химизм; поэтому будет, пожалуй, уместно пояснить это на примерах. Каким образом понятие действует в и с т о р и и, к а к м е х а н и з м, очень легко усмотреть. Когда Плиний говорит (ist. nat., XVIII, 17). «Образование громадных земельных владений погубило Италию (latifundia perdidere Italiam)», то постольку это и было именно такой механической деятельностью понятия. Или когда после падения феодального строя во Франции произошло как раз обратное, и, без всякого даже сознательного н а м е р е н и я, путем раздробления и парцеллирования земельных участков были созданы современные имущественные условия, в которых государственно-правовое понятие французской революции, идея индивидуализма и независимого значения личности, впервые получило для себя адэкватную реальность и в ней впервые—живую действительность,—то и это было опять-таки действием, самоосуществлением понятия как механизма. Или когда теперь в больших промышленных государствах, особенно в Англии, процесс промышленности ведет к тому, что в силу ее собственного движения капиталы все больше централизуются и скопля-

ются, а мелкое среднее сословие, наоборот, все больше исчезает, ниспадая на степень неимущего пролетариата, владеющего только своей рабочей силой,—то это тоже механическое действие и движение понятия, из которого, быть может, в свою очередь, возникнет разложение и преобразование существующей общественной формы.

В этой связи будет, пожалуй, не безынтересно заметить, что уже Аристотель знал и подчеркивал, что именно в силу этого механического движения понятия в истории всякая олигархия, стремящаяся к личному обогащению, должна превратиться в господство массы, в демократию. «Когда в среду аристократии проникла порча, и она стала искать обогащения за счет общества,—говорит он в «Политике», III, 15,—тогда вполне естественно должна была возникнуть олигархия. Ибо богатство они сделали нормой (ἔντιμον), мерилом ценности». Но сначала олигархия должна была уступить место переходной ступени тирании и только потом уже превратиться в господство массы. «Ибо,—говорит Аристотель в своей простой манере,—так как в погоне за прибылями они сосредоточивали богатства в руках все меньшего числа лиц, то тем самым они сделали массу более многочисленной и сильной, так что, в конце концов, она восстала, и так возникли демократии (ἀεὶ γὰρ εἰς ἐλάττους ἄγοντες δι' αἰσχροκέρδειαν ἰσχυρότερον τὸ πλῆθος κατέστησαν, ὥστ' ἐπιθέσθαι καὶ γενέσθαι δημοκρατίας)".

Еще спекулятивнее, хотя может быть именно поэтому и труднее для понимания, действие понятия в истории в форме химизма. Мы видели выше, в чем состоит понятие логического химизма. Оно состоит в том, что об'єкт в себе есть целокупность понятия, но эта целокупность положена в имманентной и односторонней, исключающей свою противоположность определенности, которая составляет его, об'екта, природу и в которой он имеет непосредственное существование. В силу этого об'ект являет собой противоречие между своей целокупностью и определенностью своего существования, т.-е. он напряжен в самом себе и стремится своей собственной деятельностью устранить это противоречие, это напряжение, и уравнять свое существование со своим понятием. Именно этот логический химизм и составляет главным образом душу истории и порождает ее движение. Об'ясню на нескольких примерах. В стремлении какого-нибудь народа к мировому господству заложена сама по себе космополитическая идея, идея упразднения отдельных национальностей и всякого различия между ними. Но вначале эта идея существует только в себе. Для самого же народа, стремящегося к господству, прежде всего существует только одностороннее стремление добиться исключительного признания для своего собственного национального принципа и подчинить ему другие на-

роды. Таким образом этот народ напряжен против других и существенно заинтересован в их подчинении. Но именно тогда, когда эта цель достигнута и весь «земной шар» покорен, в установленном таким образом единстве упраздняется и теряет всякий смысл различие между национальностями; значит, упомянутое напряжение разрядилось в результате собственного движения и перешло в идею безразличия национального принципа и в нейтральный продукт космополитизма. То, что я изложил здесь, как природу этого понятия, действительно так и осуществилось в истории в форме перехода римского миродержавия в космополитизм стоиков и христианства и в последовавшем вскоре вслед за тем распадении римской мировой империи. Логический химизм разобранного понятия заключается в том, что это движение и этот результат оно производит силами своей собственной имманентной природы; при чем, однако, оно весьма далеко от того, чтобы сознательно этого результата добиваться, а, наоборот, достигает в нем как раз обратного тому, к чему оно само стремилось. Следовательно, стремящийся к миродержавию народ был напряжен не только против других народов, но и против самого себя. Из указанной природы нашего понятия следует, что всякое стремление к мировому господству, именно в момент своего достижения, всегда неизбежно переходит, и прежде всего у господствующего народа, в нейтральный продукт утративших всякий смысл национальных различий, и что, следовательно, это господство должно снова распасться, так как господствующий народ теряет при этом силу удерживать в подчинении другие национальности. Поэтому каждому мировладычеству можно предсказать распад с философской необходимостью. Замечу, впрочем, мимоходом, что новое время стало относиться к предсказаниям философии столь же недоверчиво, сколь неблагодарно. Когда Фалес предсказал однажды лунное затмение и плохой урожай маслин, вся древность не могла притти в себя от восхищения, и повторяла это свое восхищение так часто, что и теперь еще каждый знает эти факты из своих философских учебников. Но кто еще помнит теперь, что Фихте (хотя это и был гораздо более великий подвиг) предсказал в 1808 году (в своих «Речах к немецкому народу»),—и именно на основании соображений, восходящих в последнем счете к изложенной только что природе логического химизма,—близкий распад наполеоновского господства, находившегося тогда в своем зените?

Приведу еще другой пример логического химизма в истории. Высокое значение монархии заключается в том, что она представляет собой понятие целокупности и единства нравственной воли государства против погруженных в свои частные интересы, в свои привилегии и преимущества, классов и сословий

гражданского общества. Таким образом монархия, в силу своей внутренней природы, с самого начала враждебно противостоит всяким привилегиям. Таково понятие монархии в самом себе. В действительности, однако, по тем определенным свойствам, которое это понятие получает в существовании, эта нравственная целокупность и единство государственной воли наличествует в монархии как случайная, эмпирическая, обусловленная правом наследования, непосредственная индивидуальность; т.-е. она сама становится привилегией, и притом наиболее крайней и неприемлемой—привилегией полагать публичную волю наследственной собственностью индивидуума. Стало быть, и здесь имеется противоречие между целокупностью внутреннего понятия и определенностью, в какой она существует. Сущее в себе понятие монархии, ее внутренняя природа действует на нее прежде всего, как влечение. Это может заставить королевскую власть —и таков был действительно исторический путь, пройденный французской королевской властью со времен Людовика XI, как то же самое имело место и у нас в Прусии, особенно при великом курфюрсте,—это может, говорю я, заставить королевскую власть начать борьбу за постепенное уничтожение феодальных привилегий, враждебно противостоящих нравственному единству и целокупности государственной цели. Но направляясь таким образом, в силу влечения своей логической природы, против привилегий, королевская власть направляется против своего собственного существования, которое есть наивысшая привилегия. И поэтому может оказаться, как это и на деле оказалось в той же Франции, в революции 1789 года, что королевская власть, обычно слишком поздно учитывающая значение своих действий и теперь охотно повернувшая бы вспять, своей борьбой с привилегиями уже подкопала свое собственное существование и разрешила его в адэкватную его понятию форму единства и целокупности нравственной воли государства—в республику. Этим монархия достигает только того, что ее бытие становится адэкватным и равным ее понятию; вместе с тем, однако, монархия переходит при этом в свою прямую противоположность. Весь этот процесс всецело определен внутренней природой королевской власти и все же отнюдь не является предметом ее хотения (иначе он был бы целевым процессом), ибо на деле королевская власть перешла в противоположное тому, чего она сама для себя желает; стало быть, и здесь мы имеем пример логического химизма,—и государственная опасность этой химии выяснилась теперь достаточно определенно.

Наконец, *целевая деятельность в истории*, хотя в сравнении с другими факторами она играет меньшую роль, является наиболее признанной в виду ее чрезвычайной прозрач-

ности. Когда сознательно ниспровергается какая-нибудь государственная форма, как это, напр., имело место во французской революции, тогда со стороны тех классов и лиц, которые свободно и сознательно стремятся к перевороту, это есть телеологическое отношение, целевая деятельность. Эта последняя может опять-таки вылиться в различные формы. Те, которые в этом движении связывают себя с каким-нибудь конечным об'ектом и хотят достигнуть его для самих себя—будь то выгода, почет, богатство, власть, или же законное улучшение своей конечной доли,—те стоят под знаком понятия **конечной** или **внешней** целевой деятельности. Полагая, что они используют общее движение только как средство для самих себя, они на деле-то сами только средства для **бесконечной** цели самоотносящейся идеи. Те же, наоборот, которые сами себя сознают только средством идеи и ее хотят провести в жизнь, те отдаются целевой деятельности, какою она является на ступени идеи, деятельности во имя идеи **блага**. И именно потому, что они сами себя сознают только средством для идеи, их пафос можно прямо назвать самоцелью идеи.

Я зашел так далеко в эти конкретные подробности (хотя мог бы развить свой взгляд еще гораздо конкретнее), во-первых, потому, что думал, что после абстрактного содержания логических определений это будет для многих приятным разнообразием, а во-вторых, потому, что мы при этом в сущности ни на шаг не удалились от нашего предмета. Ибо мы увидели, что деятельность понятия в истории на самом деле проходит через те категории об'ективности: механизм, химизм и телеологию, которые Гегель относит к получившему об'ективность понятию и которые переходят у него в формальное понятие в результате своего собственного движения. Мы увидели, следовательно, что у Розенкранца, вместе с выпадением этого самооб'ективирования понятия и его движения в этой своей об'ективности, должна отпасть и всякая внутренняя возможность какой-либо сообразной с понятием истории. Мимоходом мы, далее, еще раз убедились, как неправ Розенкранц, полагая, что логический механизм и химизм (последний было бы, впрочем, правильнее называть динамизмом) встречается только в природе, а не и в духе также [1]). Но, как я уже заметил выше,

---

[1]) Почти излишне оговаривать, что изложенное выше о деятельности механизма, химизма и телеологии в истории не имеет ничего общего с упоминаемым г. Михелетом, в его критике Розенкранца („Der Gedanke", вып. I и II), взглядом графа Чешковского, по которому история древности представляет собою механизм, история средневековья—химизм, а в новой истории совершается переход к организму. В этом воззрении один **определенный** исторический период (который, следовательно, берется со стороны своего **содержания**) **приравнивается** к логической сущности механизма, другой исторический период, опять-таки в виду его особенного содержания,—к логической сущности химизма (динамизма) и т. д. Оставляя открытым вопрос о

логическая невозможность понять историю есть только один определенный и единичный вывод, один из многих выводов, получившихся у Розенкранца в результате его логических изменений. Подлинный и наиболее общий систематический вывод, по отношению к которому все остальные только следствие, и на который я уже намекал выше, когда обвинил Розенкранца в несознанном, но полном отказе от Гегелевой философии, заключается в другом. Этот систематический, все остальное в себя включающий вывод состоит именно в том, что подлинное, осуществленное Гегелем *тождество бытия и мышления*, метафизики и логики у Розенкранца снова отбрасывается, и происходит отпадение и ниспадение на точку зрения, если и не тождественную с кантовской философией, то все же аналогичную с ней. Это утверждение я должен теперь оправдать подробнее.

Всем известно отношение метафизики и логики в докантовской философии, как и та революция, которую произвели в этой области сначала Кант, а потом Гегель. До Канта метафизика и логика были оторванными друг от друга науками. Предметом метафизики или онтологии считались категории бытия, предметом же логики, которая и была поэтому только формальной,—формы познания суб'ективного рассудка. Кант доказал, что этого различия не существует, что мнимые категории бытия, онтологии, также не что иное, как априорные понятия, что все они—количество, качество, отношение и т. д.—также только функции чистого разума, формы судящего рассудка; и что, следовательно,—таков был отрицательный вывод, сделанный им,—и через них не может быть познано подлинное бытие, вещь в себе. Гегель принял данное Кантом доказательство, но так, что отрицательный вывод Канта был им приведен к его положительному результату. Гегель принял кантовское доказательство *в том* смысле, что формы и законы суб'ективного мышления суть собственные имманентные и конститутивные законы бытия. Так было осущестлено тождество бытия и мышления, онтологии и логики. Так было осуществлено тождество, говорю я? Нет, так оно было бы только утверждаемо, а не осуществлено; и, кроме того, тогда у Гегеля было бы утрачено столь же существенное различие между бытием и мышлением. Чтобы действительно осуществить названное тождество и вместе с тем не потерять за тождеством различие, нужно

правильности этой *аналогии*, она во всяком случае toto coelo отличается от изложенного выше взгляда, согласно которому механизм, химизм и телеология суть *всегда* и во *всяком* историческом периоде совместно действующие—и стало быть от особенного идейного характера данного периода совершенно независящие—формальные способы реализации понятия: это—обусловленная его логической природой имманентная и необходимая деятельность (энтелехия) исторического понятия, деятельность его *самовыявления*, или иначе—*те логические естественные силы и средства, при помощи которых понятие реализуется и совершает свое движение в истории*.

было конкретно развить его. Но это тождество только тогда подлинно и конкретно, когда не только 1) бытие в себе есть мышление и превращается в него; но и 2) мышление, в свою очередь, отбрасывает себя обратно в бытие, порождает его из себя; и 3) снова приходит к самому себе из этого им же положенного тождества, возвращается в свою собственную свободу. Лишь в этом случае тождество существует не только в себе, но в себе и для себя, будучи произведено собственной деятельностью мысли и наличествуя для нее самой; лишь в этом случае различие сохранено так же, как и тождество; лишь в этом случае мышление есть нечто перерастающее, что положило бытие из самого себя и из него поднимается обратно к себе. Если опустить третий момент, то получится шеллингова философия тождества, в которой потеряно из виду различие обоих определений. Если, вместе с Розенкранцом, опустить не только третий, но и второй момент, то будет сделан еще шаг назад—к точке зрения, на которой бытие и мышление уже не оказываются тождественными, сколько ни утверждай их тождество на словах. У Гегеля это тождество достигнуто тем, что не только бытие из самого себя влечется к понятию, но и понятие со своей стороны претворяет себя в бытие. И именно в этом бесконечное значение перехода из понятия в об'ективность. Об'ективность есть непосредственность; она есть снова возникающая в логике категория бытия—бытие, как положенное понятием в результате его собственного движения.

Так, в середине учения о суб'ективной или формальной логике—и в этом именно вся глубина концепции—мы снова приходим к категории бытия. Именно в силу этого тождество онтологии и логики стало положенным; и теперь это положенное понятием бытие, которое стало быть в себе есть понятие, должно снова—своим бытием для себя, своим движением—сделать себя тем, что оно есть в себе. Это и совершается через диалектическое движение внутри об'ективности. Тем, что это бытие само полагает себя, как понятие, оно поднялось на ступень не просто существующего, но в себе и для себя существующего понятия, на ступень понятия, адэкватного себе в своем бытии, или на ступень идеи. Это развитие требуется уже потому, что в нем состоит общий архитектонический закон гегелевой логики и философии вообще. Всякое движение состоит у Гегеля только в том, что то, чем каждый момент является в себе, он полагает и своим собственным действием, сам себя этим делает и в это превращается. Если поэтому движение категорий от бытия к понятию показало, что бытие в себе есть мышление, то теперь и мышление, в свою очередь, должно положить себя как бытие—об'ективность, и вернуться из этого бытия к себе—идея. По-

грешая против этого, Розенкранц только показывает, что этот глубочайший и абсолютный закон гегелевой философии, сознательно или бессознательно, им отвергнут. Напрасно стал бы Розенкранц возражать, что ведь он повсюду, даже на первой странице своей Логики, говорит о тождестве бытия и мышления, что это тождество присутствует в первой же мысли о чистом бытии, что оно осуществляется через развитие бытия в понятие. В себе это тождество бесспорно присутствует уже в мысли о чистом бытии, в себе оно несомненно осуществляется уже через имманентное развитие последнего в понятие,—но именно только в себе. Потому, что мышление тождественно в себе с бытием, оно должно положить и произвести его и для себя. Иначе мышление было бы только абстракцией, к которой бытие отсылает нас за свои собственные пределы: но оно не было бы моментом, порождающим бытие из самого себя,—оно не было бы его творческим источником и конститутивным законом.

Это различие можно еще отчетливее выразить так. То, с чем мы имеем дело в учении о бытии,—бытие, качество, количество и т. д.,—это в самом деле только абстракции. Гегель сам признал бытие беднейшей из абстракций. Качество, количество—это только абстрактные свойства существующего, но ни в коем случае не сущая для себя непосредственность. Бытие же, как оно действительно наличествует в своей непосредственности и поэтому на первый взгляд резче всего противостоит мысли, образует, напротив, непосредственные целокупности, т.-е. предметы или об'екты; это, следовательно, то бытие, которое у Гегеля впервые порождается через переход понятия к об'ективности. Только вследствие того, что действительно непосредственное бытие—об'екты—оказалось положенностью понятия, можно говорить о подлинном тождестве бытия и мышления. Насколько полно Гегель сам сознавал доказанную здесь абсолютную важность перехода понятия в об'ективность, и что он приписывал ему то самое значение, которое было изложено мною, я покажу на одной цитате из самого Гегеля. Это всего несколько строк, но в этих нескольких строках внутренно заключено все то, что я развивал выше. Именно, в третьей части «Логики», стр. 32, там, где он дает предварительные указания о движении понятия, он говорит: «Во-вторых, понятие в своей об'ективности есть в себе и для себя существующий предмет. В своем необходимом развитии понятие само делает себя предметом и через это теряет отношение суб'ективности и внешности по отношению к нему. Или, обратно, об'ективность есть выступившее из своей внутренности и перешедшее в бытие реальное понятие». Значит, только вследствие того, что оно делает себя об'ективностью, теряет понятие, согласно самому Гегелю, свою суб'ективность и

внешность по отношению к ней. До того—согласно самому Гегелю и вопреки тождеству, уже заключенному в мысли о бытии и существующему в себе вследствие имманентного развития понятия к бытию—эта суб'ективность и внешность, эта чуждость понятия по отношению к предмету еще не преодолена, тождество еще не достигнуто. Следовательно, это достигнутое у Гегеля тождество снова разрывается у Розенкранца. Или иначе: вследствие исчезновения перехода из понятия в об'ективность дело дошло у Розенкранца до того—и теперь я резюмирую всю мою критику в **одной единственной**, после всего сказанного для всех прозрачной фразе—дело, говорю я, дошло у Розенкранца до того, что снова получает силу слово, сказанное Кантом против онтологического доказательства бытия божия у Декарта, именно: что бытие не может быть вылущено из понятия.

Нельзя поэтому, милостивые государи, определить Логику Розенкранца более метко, чем назвав ее **неокантианством**; ибо ведь и нео-платоники, во всем существенном вернувшиеся к Платону, заимствовали кое-что у Аристотеля, особенно из его учения об энтелехии,—подобно тому, как Розенкранц взял понятие имманентности категорий у Гегеля. Чем ближе вы будете присматриваться к Логике Розенкранца, тем очевиднее будет становиться для вас этот ее нео-кантианский характер. Розенкранц исключает не только об'ективность, но, под влиянием своего кантовского инстинкта, да и по внутренней необходимости после того первого исключения, он исключает также понятия жизни, жизненного процесса, рода и идею блага, — словом, все то, что относится к категориям необходимости. Поэтому то, что занимает у него место суб'ективной логики, сводится, как он сам указывает (стр. 98 и сл.), к следующему скудному содержанию: понятие, суждение, умозаключение, идея, принцип, метод, система. Рассмотрите эти формы ближе, и вы тотчас увидите, что все они представляют собою, как выражается Кант, «**регулятивные начала познающего разума**». Поэтому у Розенкранца суб'ективная логика снова оказывается по своему содержанию простым **каноном оценки**, как у Канта, а не **органом для произведения** об'ективного бытия. Различие между Кантом и Розенкранцом только в гораздо большей последовательности Канта. А именно: Кант, по которому понятия разума не могут быть конститутивными категориями, вполне последовательно отрицает и их пригодность в качестве органа познания об'ективного мира; по его учению, они могут быть только каноном суб'ективной оценки. У Розенкранца же они все-таки признаются и органом познания об'ективных вещей. Но это именно и является в высшей степени непоследовательным суждением. Если логическое понятие не произвело само об'ективную непосредственность,

если оно не есть конститутивная, порождающая душа этой последней, то оно не может и познать ее; она остается для него недосягаемой и чуждой, непокорной его власти,—и оно может двигаться только в самом себе. Если оно не есть ее собственное **внутреннее** начало, то **она** навсегда остается для него чем-то замкнутым, **внешним**. Это знал уже Аристотель, высказавший в сочинении De anima (о душе) свой великий закон, по которому всякий философ необходимо провозглашает душою (ψυχή) то, что он же определил как производящее начало вещей (ἀρχή). Ибо познание вещей может осуществляться только **в том**, **из чего и посредством чего** они возникли.

Самое дурное во всем этом, пожалуй, то, что все это отпадение совершается у Розенкранца без ведома для него самого, без малейшей с его стороны догадки о происходящем. Так как, наоборот, он попрежнему считает себя твердым гегельянцем, то почти возникает подозрение, что он в рассмотренных основных пунктах никогда по настоящему не овладел системой Гегеля, никогда не дошел до ее **глубочайшего** понимания. Ибо, как известно, существуют различные понимания Гегеля и его системы. Можно понимать систему Гегеля в общих чертах, можно превосходно понимать многое в ней, даже почти все в отдельности, и все же так никогда и не добиться последнего понимания ее **целостной имманентной связи**. Что по отношению к некоторым основным вопросам логики с Розенкранцом почти так дело и обстоит, покажет еще одно, последнее соображение. Гегель делит логику на три части: учение о бытии, учение о сущности, учение о понятии. Розенкранц же хочет—и при этом без всяких принудительных поводов, которые вытекали бы из других его ошибок—включить учение о сущности в учение о бытии и сообразно этому заменить деление Гегеля следующим: 1) учение о бытии, включающее в себя учение о сущности; 2) учение о понятии и 3) идеология или учение об идее. В этом проекте изменения сказывается, однако, только то, что Розенкранц никогда не уяснил себе, на какой железной необходимости покоится деление Гегеля. Эта необходимость заключается в следующем. В области бытия движение понятий совершается через переход в другое; бытие, небытие, становление, качество и т. д. суть такие «взаимно другие». В области же сущности движение их тоже совершается через переход в другое, но это другое каждая категория сущности имеет уже при себе, как свою противоположность, в которую она непосредственно переводит, в которой просвечивает. Внутреннее и внешнее, основание и следствие, причина и действие суть такие определения сущности, из которых каждое тотчас же приводит к противоположному, рефлектируется в него. Поэтому движение в этой сфере есть движение рефлексивного отношения. Нако-

нец, в области понятия движение заключается в том, что, как уже было особенно подчеркнуто выше, понятие—в своем движении—остается и в своей противоположности тождественным с самим собою, что оно есть пребывание у себя или, другими словами; развитие в прегнантном смысле саморазвития. Этой троякой природой формального развития с имманентной необходимостью дается и разделение на три названные сферы. Разделение по содержанию определено самой абсолютной формой. Идея не обосновывает особой области; ибо присущее ей развитие, которое и здесь есть саморазвитие, обще в ней с понятием, так что она представляет собою лишь подразделение последнего. Эту имманентную необходимость диалектической формы и ее внутреннего значения для самого содержания логики Розенкранц, очевидно, совсем упустил из виду, когда вводил упомянутое изменение, даже и не заметив указанного только что соотношения.

Я начал с того, что сравнил книгу Розенкранца с комедией. Но и в каждой комедии, поскольку она оставляет в зрителе отрадное чувство, в конце должно обнаружиться торжество идеи. И вот я спрашиваю: есть ли неудача столь заслуженного в других отношениях человека, есть ли этот чисто отрицательный и печальный результат единственное и последнее завершение этой комедии,—или, может быть, и здесь мы все-таки в каком-то смысле имеем торжество идеи и, следовательно, положительный и возвышающий душу конец? В действительности имеет место последнее, и притом в наивысшей мере. «Тропы заблуждения,—говорит Лессинг,—научают нас истинному пути». Именно потому, что на первый взгляд незначительное изменение в отдельных пунктах, исключение двух категорий и перестановка третьей, повлекло за собой такое следствие, как принципиальное упразднение всей логической науки,—именно благодаря этому снова была выявлена замкнутая в себе необходимость той удивительной архитектоники, с какой логическая идея расчленилась у Гегеля; именно благодаря этому обнаружилась алмазная несокрушимость ее формы, абсолютное, неразрывное тождество ее формы и ее содержания—это высшее доказательство ее истинности. Так, само это полнейшее преобразование, возникающее в результате столь незначительного частичного изменения, составляет триумф идеи; и мы можем закончить словами нашего поэта, которые он обратил к Гегелю еще при жизни последнего и которые по отношению к гегелевой логике являются подлинной правдой:

Und es tragen die Pfeiler, fest wie die Säulen Herakles',
Ewig der Wissenschaft herrlich unendlichen Bau [1]).

[1]) И колонны, твердые как столбы Геракла, вечно возносят царственно-бесконечное здание Науки.

Философско-правовое наследие Лассаля

И. Разумовский.

I.

«Лассаль во многих отношениях был хорошим юристом и изучал также в достаточной мере свое римское наследственное право, чтобы импонировать юристам своими познаниями»,—писал Энгельс Эд. Бернштейну в ноябре 1882 г. [1]). То же мнение о Лассале, как о хорошем юристе, подтверждает Энгельс и в своей полемике с Мюльбергером, когда говорит, что, в отличие от Прудона, «Лассаль был действительно юристом и гегельянцем» [2]).

Разумеется, отдельные положительные отзывы приводятся нами отнюдь не для того, чтобы попытаться при их помощи смягчить общеизвестное, далеко не высокое мнение, которое имели Маркс и Энгельс о Лассале, как о теоретике вообще и о его работах по философии права в частности. Достаточно вспомнить несколько резких выражений Маркса в его переписке с Энгельсом, говорящих об «упорной привычке» Лассаля к «умозрительной идее», об его «зараженности старым французским либерализмом, широковещательном слоге его писаний, навязчивости, бестактности»; о том, что его работы «насквозь пропитаны идеологизмом», что «он усваивает себе всякое слово, как «открытие», что тыкать его носом во все его плагиаты было бы смешно» и т. д. [3]). Противопоставляя Лассаля Прудону или предполагая возможным использовать его философию права вместо курса римского права [4]), Энгельс тем не менее считает нужным самым решительным образом «покончить с легендой о Лассале, как об оригинальном мыслителе» [5]).

Несомненно, однако, что не только сама по себе выдающаяся личность Лассаля, не только выдающееся его положение сре-

[1]) «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т. I, ИМЭ, М. 1924, стр. 327.

[2]) Ф. Энгельс, Жилищный вопрос.

[3]) См. письма Маркса к Энгельсу от 1 февраля 1858 г., 7 мая 1861 г. 9 декабря 1861 г., 12 июня 1863 г.

[4]) Энгельс к Марксу от 2 дек. 1861 г.

[5]) Письмо к Бернштейну от 2/3 ноября 1882 г.

ди современного ему поколения юристов, которым он умел «импонировать» своими познаниями, но и вызванные его политической ролью исторические особенности его философско-юридической деятельности—должны возродить интерес к этой последней в марксистской литературе, при всем сознании ее огромных теоретических недостатков. Имя Лассаля, знаменующее собою эпоху пробуждения германского рабочего движения, связано вместе с тем и с ранним попытками буржуазно-интеллигентской, «юридической» мысли приблизиться к тому новому, материалистическому пониманию, которое несло с собой это рабочее движение. Указанная связь только подчеркивается тем обстоятельством, что Лассаль был не только юристом, но и старогегельянцем. Как известно, отпечаток столь характерной для буржуазного общества морально-юридической идеологии лежит на всех теоретических построениях и старого правого, и левого гегельянства, несмотря на внешнее отрицание последним права, об'явление права и государства «культом» и т. п. Но в то время, как левое гегельянство в своем историческом развитии неминуемо приводило к материализму, правое гегельянство в гораздо большей степени сохраняло традиционные связи с основными линиями гегелевской философии права и общие традиции юридического мировоззрения. Лассалю, поскольку на нем не могло не сказаться благотворное влияние Маркса, приходилось пробивать себе дорогу к материалистическому пониманию общественной жизни сквозь гущу иллюзий не только юристов, но и старогегельянцев. Поэтому зачастую происходило обратное: не юридическая идеология получала у него материалистическое освещение, но, наоборот,—позаимствованный от Маркса материализм, революционное воззрение на историческое развитие преломлялись у него сквозь призму юридической идеологии. И тут сказывалась вся внутренняя противоречивость теоретической позиции Лассаля, все бессилие его юридической логики—несмотря на всю сложность и искусственность его построений и целый ряд привлеченных им юридических аксессуаров—охватить ими реальную диалектику общественного развития. Уже в этом одном отношении философия права Лассаля, его попытки дать юридическую теорию революции, одновременно подыскав для нее юридическое оправдание и заключая ее в строго ограниченные юридические рамки, представит для марксистской теории немалый интерес.

Но к указанным причинам прибавляются и некоторые другие, требующие обстоятельного освещения с революционно-марксистской точки зрения юридической аргументации Лассаля. Современная буржуазная мысль в области теории права и государ-

ства переживает сейчас определенный кризис: она не довольствуется уже узким неокантианским логизмом и формализмом, но все чаще начинает искать своих философских предпосылок в так называемой «философии культуры» и в старогегельянстве[1]. Поэтому и Лассаль, который не создал после себя никакой школы и к спекулятивным построениям которого в свое время достаточно пренебрежительно отнеслась трезвая и радикальная буржуазная юридическая наука в лице Иеринга, — сейчас Лассаль все чаще начинает привлекаться буржуазными теоретиками и противопоставляться марксизму в качестве непререкаемого социалистического авторитета. Даже российская белогвардейская профессура, обретающаяся в Праге и иных центрах «чистой науки», по примеру своих западно-европейских коллег, начала возносить восторженные хвалы лассалевскому отрицанию обратного действия законов! [2]).

Немецкая социал-демократия, как всегда, — явилась надежнейшим лазутчиком и в этом отношении для буржуазной теории. Старая и опытная лиса, Эдуард Бернштейн. своим благожелательным комментарием к «Системе приобретенных прав» сделал в свое время первый шаг к реабилитации лассальянства: современные социал-демократические Гениши и Ко только идут но проложенному им пути. Не только воззрения Лассаля на государство, но и его теория юридической непрерывности начинает все чаще выдвигаться в качестве аргумента, поскольку она льет воду на мельницу эволюционного реформизма.

Это последнее обстоятельство должно еще в большей степени приковывать внимание марксистской критики к лассалевской философии права.

II.

Едва ли не все биографы и комментаторы Лассаля (Бернштейн. Меринг, Онкен, Розенбаум и др.) считают долгом вежливости указать, что не могут и не берутся даже оценить чисто юридические достоинства «Системы приобретенных прав». И, действительно, внушительная «Система»,—стоившая Лассалю, по его собственным словам, «почти безумного труда»,—поражает, прежде всего, тем богатством чисто юридических по самым различным специальным вопросам деталей, цитат и ссылок на юридическую литературу, которые содержатся в ней и, дополняя общую вычурность и абстрактность изложения, делают ее малопонятной для широкой читательской массы. Неудивительно, что,

[1]) См. нашу статью «Возрождение философии права в немецкой юридической литературе», сборн. «Революция права», № 1, 1925 г.

[2]) Сборник «Право Советской России», т. I, Прага 1925 г.

мало искушенный в юридических тонкостях, Энгельс предположил возможным изучать по Лассалевской «Системе» римское право!

Но это первое и ложное впечатление. Стоит внимательно вчитаться в эту «сухую материю» и продумать весь ход развития мысли Лассаля, чтобы стало ясно, что в центре внимания самого автора гораздо менее стояла ее практическая, узко-юридическая сторона, хотя он и считал, что его книга станет необходимой и настольной для всех практиков-юристов, судей, адвокатов и т. д. Суть книги была не в приводимом в ней юридическом материале, но в той общей философско-исторической и философско-правовой идее, со стороны какой был освещен и использован весь этот многосложный материал. «Если я пишу такой труд,—жалуется Лассаль на «невнимательность» Маркса,—то я делаю это лучшей кровью своего сердца и соком моих нервов и au fond и в последней инстанции делаю я это лишь для очень немногих. Ибо многие могут его понять и использовать. Но вполне понять его в его внутренней связи могут лишь очень немногие»[1]). «Внутренняя связь», «систематическая идея всего целого» [2]), а не служивший для доказательства и иллюстрации этой последней исторический и юридический эмпирический материал, являлись для Лассаля «как раз самимы важными». Совершенно очевидно, с другой стороны, что при общей марксистской оценке «Системы» нельзя так разделять ее философско-исторические и юридические достоинства, как это делает, напр., Эд. Бернштейн. Ибо юридическая ценность книги всецело зависит от ее философско-исторической ценности и определяется этой последней: ложная историческая идея делает ложными и лишенными практического значения к все хитроумнейшие юридические сплетения по специальным вопросам и все возможные практические из них выводы. Впрочем, из дальнейшего мы убедимся, что такое подразделение понадобилось Бернштейну по вполне понятным причинам и для соответствующих ревизионистских выводов!

То, что в действительности мы можем и должны различать у Лассаля, учитывая в то же время тесную связь обоих моментов,—это более общего характера философско-правовая концепция исторической действительности и обусловленная ею «теория приобретенных прав». Если последняя опирается на отрицание обратной силы законов, то сущность предопределяющей такое отрицание общефилософской концепции нашла себе отчетливое выражение в подзаголовке

[1]) Письмо к Марксу от 19 января 1861 г. — Курсив Лассаля.

[2]) Там же.

«Системы»; «примирение положительного права и философии права». «Примирение» (Versöhnung), которое пытается дать в своей философии права Лассаль,—не что иное, как диалектическое примирение—в том старогегельянском понимании диалектического процесса, которое было Лассалю присуще—идеи гегелевской философско-правовой школы и позитивного права, т.-е. эмпирического материала, доставляемого историей права и современным законодательством.

Задача, которую ставит перед собой Лассаль, может быть вполне уяснена лишь, если принять в расчет предшествовавшее развитие философии права. Как известно, учение «естественного права» послужило юридическим выражением для стремления и интересов революционной буржуазии: «разумное», «естественное» право поэтому резко противопоставлялось тогдашнему позитивному праву—праву феодальному. Отразившая новые реакционные настроения «историческая школа» превратила право из философской категории в категорию историческую, ища его корни и принципы в особенностях народного духа: этим самым отвергалось революционное «идеальное» право и выдвигалась неразрывная связь, существующая между правовыми установлениями прошлого и современным законодательством. Гегелевская философия права, знаменовавшая собою канун немецкой буржуазной революции, должна была выступить в защиту революционной «философии права». Она сделала это двояким путем: с одной стороны, установив правомерность философского рассмотрения правовых понятий и их логического развития на-ряду с чисто-историческим их рассмотрением, во-вторых, признав в общей форме идентичность «разумного» и «действительного», об'явив историю самораскрытием духа, а дух—раскрывающимся лишь в процессе исторического развития. В дальнейшем наступает отрезвление «поправевшей» немецкой буржуазии от «безумной спекуляции»—возврат к позитивной, чурающейся уже всякой философии, юриспруденции,—к традициям исторической школы, лишенным, однако, философской глубины мысли ее основателя, Савиньи.

Лассаль находит поэтому, что цель, которую ставил перед собой Гегель, осталась недостигнутой, что его произведение «стоит к истинной философии права лишь в таком отношении, в каком стоит к произведению логическое построение этого произведения». Задача гегельянской философии состоит сейчас в том, чтобы «развить и воспитать под философским углом зрения самое позитивную науку права», осуществить мысль, имевшуюся у самого Гегеля, что «философия должна быть тождественна с целым эмпирии». «Философия не может быть чем-либо иным, как сознанием, которое о самих себе имеют эмпирические науки. Для этого необходимо, прежде всего, чтобы фи-

лософы сами стали учеными эмпириками в тех научных специальностях, которым они хотят помочь притти к сознанию самих себя». Вместо этого последователи Гегеля в философии права занимаются повторением его абстрактных категорий, не замечая ошибочности, неисторичности его чисто-логического построения. Показать, что выводы, к которым пришел Гегель, «находятся в абсолютном несоответствии с его собственными принципами и методами... было бы задачей новой системы философии духа».

Ошибки Гегеля произошли «вследствие его недостаточного знакомства с материалом», но правильные выводы, к которым можно притти, пользуясь его же методом, будут означать лишь победу «гегелевского знамени» [1]). Радуясь этой предстоящей победе философии над позитивной юриспруденцией, Лассаль писал И. Шульце: «Если юристам не удастся опровергнуть эти два тома—а я полагаю, что это не может им удаться,—то для них ничего более не остается, как сдаться на милость или немилость философии и согласиться, что они ни малейшего не понимали до сих пор в своем собственном материале» [2]).

Впрочем, не Лассалю первому принадлежит честь постановки названной проблемы—приложения принципов гегелевой философии к позитивному правовому материалу. Ее ставил уже перед собой, и в той же области наследственного права, небезизвестный Эдуард Ганс, лекции которого слушал Маркс в берлинском университете и который писал задолго до Лассаля, что история права «должна иметь в виду и обнаруживать постоянную живую связь права с историческими принципами данного народа» [3]). И если Лассаль считал подход Ганса к данному вопросу еще недостаточно конкретным, то ведь не в меньшей бездне абстракций оставалась его собственная, якобы опирающаяся на эмпирический материал, философия: по его собственному признанию, «спекулятивное понятие свое властное влияние простирает на более широкие сферы жизни и проявляется в них гораздо более интенсивным образом, чем мог ожидать этого сам Гегель» [4]).

Энгельс вынес по поводу философской концепции «Системы» следующий строгий приговор, одобренный в ответном письме к нему и Марксом: «У Лассаля силен предрассудок, он все еще крепко верит в «правую идею», в абсолютное право. Даже

---

[1]) System der erworbenen Rechte, Bd. I. Die Theorie der erworbenen Rechte u. s. w., Zweite Auflage, Leipzig 1880, Vorrede, S. X—XVII.

[2]) Herm. Oncken, Lassale, Stuttg. 1904.

[3]) Edward Gans, Erbrecht in waltgeschichtlicher Entwicklung 1824—1835, S. XXXI.

[4]) Die Theorie der erworbenen Rechte .., S. XVII.

с чисто-философской точки зрения он должен был бы уже подвинуться настолько, чтобы считать за абсолютное только процессы, а не временный лишь его результат, и тогда никакой другой правой идеи не могло бы появиться, кроме самого исторического процесса»[1]). В другом месте Энгельс отмечает юридические и старогегельянские иллюзии, характерные для философско-исторических построений «Системы»: «Лассаль... определенно заявляет, что в экономическом отношении понятие приобретенного права представляет источник, приводящий в движение все дальнейшие развитие»; он хочет показать... что «право есть разумный организм, развивающийся из самого себя» (значит, не из экономических условий); для него дело сводится к тому, чтобы вывести право не из экономических отношений, а «из самого понятия воли, только развитием и представлением которого является философия права»[2]).

Чтобы оценить в полной мере всю об'ективность приведенных отзывов Энгельса, остановимся на некоторых основных моментах проводимого Лассалем «примирения»,—на том, что может быть названо его юридической теорией исторического процесса. Уже в своем предисловии Лассаль указывает, что истинная теория приобретенных прав должна повести «к научному уразумению той самой идеи, которая является двигательным духовным началом (bewegende und treibende Seele) всего современного периода... Наступление новой эпохи состоит именно в достигнутом сознании того, чем до сих пор была в себе существующая действительность»[3]). Таким образом подчеркивается неразрывная связь, существующая между отдельными этапами развития правовой идеи. И далее, во «вступлении» упомянув мимоходом о «высоконравственной идее государства», которая не должна-де превратно истолковываться в смысле необузданного произвола (мысль, которую Лассаль, как известно, развивает и в других своих работах), он указывает: «Основной идеей нашей работы является, в ее высшем и глубочайшем представлении, не что иное, как идея постепенного претворения (Hinüberführung) старого правового состояния в новое правовое состояние—претворения, вытекающего из самой идеи права и ей соответствующего»[4]). В развитии этого основного положения Лассаль исходит из определенного соотношения, устанавливаемого им между двумя элементами права, разграничиваемыми обычно юридической наукой, как «суб'ективное» и

[1]) Письмо Энгельса к Марксу от 2 декабря 1861 г. Курсив наш.

[2]) Ф. Энгельс, Жилищный вопрос, Петр. 1919, стр. 84. Курсив Энгельса.

[3]) Theorie der erworbenen Rechte..., S. VIII.

[4]) Theorie.., S. 41. Курсив Лассаля.

«об'ективное» право. При этом в основу закрепления за индивидуумом «суб'ективных прав» он кладет проявление им «индивидуальной свободной воли», в «об'ективном же праве видит выражение правосознания всего народа. «Единственным источником права является всеобщее сознание всего народа, всеобщий дух» [1]). Оно совпадает с «понятием воли, развитием и проявлением которого является философия права» [2]). «Воля есть способность, принадлежащая человеку по естественному праву, а положительное право лишь обеспеченная сфера и расчлененное царство ее свободного выполнения («gesicherte Sphäre und gegliedertes Reich seiner freien Ausfürung»). В обществе человек есть и должен быть свободен; даже преступник, подвергающийся наказанию, рассматривается, как независимое и внутренне-свободное существо: ибо он знал, какое наказание грозит ему за его преступление, и если он тем не менее совершил его, следовательно он путем внутренно свободного выбора подчинился этим известным ему последствиям... Совершенно так же обстоит и в области частного права. Ибо последнее представляет в сущности не что иное, как реализацию свободной воли человека» [3]). Свободное мышление и свободная воля—важнейшие признаки права, отличающие дух человека от простой вещи. Закон же «есть выражение правосознания целого народа. Все нормированное в законах право—все бытие индивида—является поэтому лишь одной из определенностей (Bestimmtheit), в которых проявляет себя всеобщий дух, охваченный непрерывным изменением» [4]). Отсюда тесная связь, существующая между всеобщей волей и проявлением ее в воле индивидуальной. «С точки зрения права представляется совершенно невозможным, чтобы индивидуум стремился отказаться от своей общности с этой единственной субстанцией права, разорвать соединяющую его с нею общую связь и мог обеспечить для себя твердую устойчивость в процессе ее вечного движения» [5]). «В государстве каждая отдельная личность, через посредство всей своей жизни, мышления и деятельности является действительным соучастником (Mitproducent) в образовании всеобщего духа или по крайней мере рассматривается, как таковая». В другом месте Лассаль различает еще не проявившуюся идею права в своей сущности (Ansich) и проявление, реализацию этой идеи во-вне, которая может иметь место и в писанных законах и, как мы убедимся далее, в общественных действиях. «Право, как таковое, относится не к сфере потенциального бытия,

---

[1]) Ibid., S. 164.
[2]) Ib., S. XI.
[3]) Ib., S. 48.
[4]) Theorie.., S. 51.
[5]) Ibid., S. 165. Курсив Лассаля.

но к сфере того, что в данный момент всеобщим правосознанием признается, как действительное, обязательное» [1]).

Таким образом, как выражается Лассаль, «спекулятивное понятие—и лишь оно именно—обладает силой путем своей собственной диалектики развить из себя свои различия»; в данном случае «различие, на котором вообще покоится развитое понятие—это противоположность между индивидуальной свободой воли и правовой субстанцией, как таковой (законом)... Но эти противоположности не абстрактны, но каждая из них имеет в себе самой другую, образует с ним общее единство. Индивидуальная свобода и свобода действия лишь тогда является правовой или юридически-обязательной, когда она содержит в себе правовую субстанцию (закон), как опосредывающее ее начало, (vermittelnde), опосредывающий, дозволяющий закон,—и, наоборот...» [2]).

Но когда прежняя философия права говорила об «индивидуальной свободной воле», то приписывала ее всякой области права, поскольку оно является правом—обычно мыслила ее, стало быть, как вечную и абсолютную категорию, как категорию «естественного права», в отличие от исторического и изменчивого законодательства. Установив зависимость индивидуальной воли от всеобщего правосознания, Лассаль устанавливает вместе с тем, что эта философски-правовая категория, как и все вытекающие из нее следствия (личная ответственность, отрицание обратного действия законов и т. д.) являются одновременно историческими категориями, что естественное право само есть историческое право. Лассаль указывает, что прежняя философия права, вплоть до Гегеля, мыслила неправильно или неотчетливо соотношение между «естественным правом», т.-е. основными философскими идеями права и позитивным, историческим правом: сам Гегель мыслит еще это соотношение, как «отношение институций к пандектам», отличает философское рассмотрение от исторического рассмотрения права, почему философско-правовые категории остаются у него логическими понятиями и не проходят, делающих их качественно разными в различные периоды, ступеней исторического развития. Между тем «естественное право само есть историческое право, историческая категория по своей природе и по своему развитию, и должно быть таковою, ибо сам дух есть лишь становление в истории. Отсюда ясно, что то, что до сих пор рассматривалось только как позитивное и историческое право, должно быть понято скорее как необходимое проявление понятия духа на

[1]) Ib., S. 266.
[2]) Ib., S. 302.

определенной ступени его внутреннего развития, или как проявление исторического духа» [1]). Поэтому излагаться философия права должна не в неизменных логических категориях духа, государства, собственности вообще, но в исторических понятиях греческого, римского, германского «духа», государства, собственности,—совпадая таким образом с «развитием правосознания народов». «Примирение» философско-правового и исторического Лассаль осуществляет,—выражаясь марксистским языком, путем превращения единой неизменной логики развития правовых понятий в ряд исторических ступеней правовой идеологии, со свойственной каждой такой ступени своей особой логической закономерностью.

Всеми приведенными соображениями уясняется и значение столь важного для правовой теории и стоящего в центре всех построений Лассаля понятия — «приобретенного права». Историческое развитие юридической идеологии приводит к тому, что «права» и «обязанности» перестают представляться тем, чем они являются в действительности: формальным опосредствованием, по выражению Маркса, общественных отношений, фактических отношений собственности, превосходства, зависимости. Они мыслятся закрепленными за отдельными их носителями, за «суб'ектами права»,—мыслятся как приобретаемые и отчуждаемые права. В широком смысле под «приобретенными правами» понимаются права, нашедшие себе выражение в законодательстве или им санкционированные. Изменения, происходящие в законодательстве, очевидно, должны отразиться и на содержании и пределах действия «приобретенных прав»: между тем, юридическая логика, не терпящая правовых пустот, не склонна ограничивать какими-либо пределами юридические последствия, вытекающие из однажды приобретенного права. Вопрос этот, очень важный для юриспруденции,—поскольку, как мы убедимся далее, с ним связано выяснение пределов обратной силы законов,—Лассаль разрешает, исходя из своего соотношения между индивидуальной волей и всеобщим сознанием. Прежде всего, он выделяет из широкой и расплывчатой группы «приобретенных прав» приобретенные права в более тесном значении. Личность, поскольку она «соучаствует в образовании всеобщего духа», «обладает безусловным правом на то, чтобы все, что однажды было отнесено, по общему признанию, к содержанию всеобщего духа, существовало бы в нем так же и для нее и ей, личности, шло на пользу». Иными словами, возможность использовать новые права, предоставляемые изменившимися законами, — «есть абсолютное приобретенное право индивида, по отношению к кото-

[1]) Theorie..., S. 59.

торому все остальные определенные приобретенные права являются его простыми порождениями» [1]). Всякий новый закон, в котором кристаллизуется новое определенное состояние всеобщего духа, с тем же правом немедленно же обращается на личность, с каким обращался на нее прежний закон, отвечавший прежнему моменту в жизни всеобщего духа... Поэтому те права, к которым закон, как таковой, приобщает личность, без посредства ее индивидуальной воли, представляет собой только всеобщие свойства и правомочия (Befügnisse), к которым приобщает личность закон: они вместе с законом появляются и вместе с ним исчезают... Прочным приобретением личности может быть только то, что ей правомерно удается извлечь из этого несущегося потока путем собственной деятельности, путем собственной воли... Лишь те права можно отнести к приобретенным правам, которые вступают в соединение с суб'ектом и им присваиваются через посредство его индивидуальных волевых актов» [2]). Мы увидим далее, какое распространительное толкование придает Лассаль этому требуемому, согласно его теории, проявлению индивидуальной воли.

Если, с одной стороны, приобретение права должно совершаться лишь через посредство индивидуального волевого акта, то, с другой стороны, оно должно освещаться «всеобщей волей»—существующим законодательством. «Каждое лицо, через посредство своих действий, путем одностороннего или двустороннего договора, может обеспечить для себя или других лиц какие-либо права лишь в том случае, если и поскольку это дозволено существующими законами». Приобретенное же путем этих договоров право «должно обладать действительной силой лишь до тех пор, пока законодательство вообще будет рассматривать такое право, как допустимое». «Индивидуум никогда не может стремиться—через приобретение какого-либо права — выйти из сферы воздействия всеобщего правосознания» [3]), т.-е. изменение всеобщего сознания, переход на новую ступень правовой идеологии может сделать сразу недопустимым более существование права определенно действительными ряд частных, приобретенных некогда прав, принадлежащих отдельным лицам. Этим не затрагивается проявленная некогда индивидуальная воля, ибо и она вкраплена, как составная часть в изменившуюся «всеобщую» волю.

Таким образом исторический процесс с юридической точки зрения представляется, как процесс непрерывного

[1]) Theorie.., S. 362.

[2]) Theorie.., S. 51, 52. Курсив Лассаля.

[3]) Ib., S. 165, 166.

приобретения прав, через посредство волевых актов, и угасания этих прав при переходе к новым ступеням правосознания. Это—правовой процесс, поскольку он неразрывно связан со свободной волей индивидуумов, осуществляющейся через посредство их действий или об'единяющей их воли. Это—непрерывный процесс, так как, в силу внутренней последовательности свободно и сознательно осуществляющейся в ней идеи, эта действительность во всех своих основах должна неизбежно преобразиться в новую абсолютно-противоположную ей по своему внешнему строению действительность, которая внутренне продолжает в то же время оставаться в непрерывной теснейшей связи со своим прошлым». И, наконец, это процесс, устраняющий всякий произвол, всякое «самодержавие личности», стремящейся выйти из сферы всеобщего правосознания,—ограничивающий поэтому все виды привилегий на пути развития права.

С этой общей философско-правовой концепцией исторического процесса тесно связана и из нее непосредственно вытекает и та более частная так называемая философско-историческая программа Лассаля, которая привела Бернштейна в такой необузданный восторг. Исходя из мысли, что «понятие человеческой свободы подверглось ныне позитивному расширению», Лассаль делает следующий вывод: «культурно-исторический процесс всей истории права состоит именно в том, чтобы все более ограничивать сферу произвола отдельной личности, чтобы все большее число об'ектов выводить из сферы частной собственности». Лассаль основывается здесь на том положении, что всякое неограниченное право собственности, означая произвольное распоряжение ею ее владельца, ограничивает этим самым свободу других лиц; что ограничение свободы-произвола со стороны отдельных привилегированных вызывает расширение юридической свободы широких масс. Приведя ряд исторических примеров: как постепенно ограничивается право распоряжения чужой личностью (раба, крепостного), как в феодальную эпоху всякое право собственности должно было пройти через волю другого лица, от которого зависело первое лицо,—как французская революция упразднила частную собственность на человеческую волю,—Лассаль заключает, что «человеческая эмансипация» и означает выведение из сферы частной, т.-е. исключительной, собственности»[1]).

«В социальном отношении мир стоит сейчас перед вопросом, может ли наше время, не признающее более никакой собственности на право непосредственной эксплоатации другого человека, мириться с таким правом эксплоатации в косвенной форме», т.-е.

---

[1]) Theorie.., S. 217-223, Anmerkung

с капиталистической эксплоатацией. К этому Лассаль прибавляет, что и в экономическом развитии человечества наблюдается параллельная тенденция: все большее количество факторов производства и, следовательно, и самих продуктов производства высвобождать из экономической сферы собственности, возмездности и переводить в новую экономическую сферу, безвозмездности (Unentgeltlichkeit) (благодаря понижению продажной цены и постоянному уменьшению издержек производства). Нетрудно видеть, чем эта «программа» так понравилась Бернштейну: она легко могла быть истолкована им как мирное врастание в социализм и даже цитировалась им впоследствии для оправдания теоретического либерализма! [1]).

III.

Ф. Меринг, в своих комментариях к переписке Лассаля предостерегает от приписывания Лассалю слишком большой доли идеологии. По его словам, «Лассаль никогда не рассуждал настолько идеологически, чтобы рассматривать идеологические пережитки, как самостоятельный рычаг исторического развития... Правда, для него дух времени и народа то же, что для Маркса форма производства народа и времени, но не следует упускать из виду, что Лассаль очень хорошо умел сводить данный дух народа и времени к его экономическому основанию, что и доказывают его экономические труды»... Лассаль отличался от Маркса не столько своим «общим высшим основным взглядом, сколько тем, что он никогда не мог вполне освободиться от юридической и философской формы мышления и тем самым несколько переоценивал их историческое значение» [2]).

Мы полагаем, однако, что вышеприведенные резкие отзывы Маркса и Энгельса ни в коем случае не могут быть об'яснены одними полемическими соображениями. Дело не только в одной юридической и философской форме мышления, но и в отсутствии у Лассаля истинной диалектики, в недиалектическом понимании им взаимоотношений между экономикой и правом. Чтобы уяснить эти особенности воззрения Лассаля, обратимся к его, рекомендуемым Мерингом, экономическим работам, в частности к написанному тремя годами позже «Господину Бастиа-Шульце-Деличу». Здесь как раз мы находим несколько интересных замечаний, посвященных интересующему нас вопросу.

Полемизируя с Шульце, призывавшим к «упованию каждого на самого себя», Лассаль указывает ему, что люди не живут друг

---

[1]) См. Эд. Бернштейн, Исторический материализм, СПБ. 1901, стр. 237.

[2]) Briefe von F. Lassale an K. Marx und F. Engels (1849 bis 1862), Stuttgart, 1902, Herausgegeben von Franz Mehring.

подле друга, как звери, сдерживаемые лишь уголовным законом. «Так как и уголовное право вытекает в конце концов только из общности народного духа, т.-е. вовсе не из «упования каждого на самого себя»,—при котором, будь оно действительно верховным нравственным основоположением, немыслимо было бы ни уголовное право, ни право вообще,—а из солидарности этого народного духа во всех индивидуумах, составляющих народ, из упования каждого на всех, на единство и общность, связывающие его со всеми... Да и сама нравственность возможна лишь в силу этого единства и общности всех». Далее Лассаль устанавливает различие между личной ответственностью и вменяемостью в области права и в экономической области: «В юридической области личная ответственность бесспорно представляет необходимый основной принцип по той простой причине, что в сфере права каждый зависит от своих собственных действий... Поступок—продукт его свободной воли... Напротив, экономическая область представляет, сравнительно с юридической, ту крошечную разницу, что в области права всякий ответствен за то, что он сделал, в экономической области, в настоящее время, наоборот, всякий ответствен за то, что он не делал». И, приведя ряд примеров из экономической области (неурожай и вытекающие отсюда потери рабочих и т. п.), Лассаль продолжает: «В правовом отношении каждый отдельный поступок есть продукт свободной индивидуальной воли. Но если так обстоит дело в правовой области, в которой общим является только обязательство (закон), а поступок является лишь продуктом свободной воли отдельного лица, то экономическая область есть область общественных связей, т.-е. область солидарности или общности. Даже отдельное действие, продукт свободной воли в правовой области, в экономической определяется только всей совокупностью общественных связей. Последние делаются тем, что оно есть, формируют и чеканят его, делают его своим продуктом и придают ему свой характер» [1])...

Мы ограничимся этим экскурсом в гораздо более позднюю и наиболее блестящую работу Лассаля, когда политико-экономическая материя в его голове, по его собственному выражению, стала снова «текучей» и где влияние марксовой «К критике полит. эконом.» дает себя особенно отчетливо знать. Если даже и принять в расчет имеющиеся у Лассаля частные сопоставления внешней юридической свободы и экономической необходимости, его известное определение сущности конституции и т. д., то все же несомненным останутся две основные особенности, отличающие его от воззрений Маркса и Энгельса. Во-первых, для Ласса-

[1]) «Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch u. s. w.» F. Lassalles, Gesammelte Reden und Schriften, Berlin 1919, S. 49, 52, 56.

ля—право и нравственность, равно как и государство, не исторические, преходящие категории, но вечные, все более развивающиеся моменты общественного процесса. Государство—«нравственное единство», оно имеет и всегда будет иметь «культурное значение». Точно также и право и нравственность, хотя и проходят различные стадии развития, но, как таковые, как право, как нравственность, они остаются существовать и только приобретают в процессе развития свою действительную истину: право, напр., перестает быть привилегией и т. д. Отсюда, во-вторых, следует и слишком большая вера Лассаля в «правовую идею», во временные результаты процесса исторического развития. Это сказывается на переоценке Лассалем юридического рассмотрения общественных явлений, на слишком большом отрыве этого юридического рассмотрения от экономической области. Хотя Лассаль прекрасно сознает, что один и тот же поступок, кажущийся «свободным» при юридическом рассмотрении, в действительности обусловлен общественными, экономическими отношениями, но он не смешивает этих двух точек зрения,—ибо такого представления о поступке, как о «свободном», адэкватном или неадэкватном закону, требует сама «идея права»,—т.-е. логика юридической оценки. Поэтому юридическое или философско-правовое рассмотрение исторического процесса для него столь же правомерно, как и экономическое его изучение. Отсюда и представление об идее права, как о «движущем духовном начале», отсюда и его попытка охватить исторический процесс юридической непрерывностью.

Попытка эта—дать юридическую теорию процесса общественного развития, выявить реальную диалектику общественного бытия в категориях юридической логики—должна была бы сразу обнаружить свою несостоятельность при диалектическом подходе к явлениям общественной жизни. Здесь больше, чем когда бы то ни было, требуется постоянный и правильный учет соотношений между базисом и надстройками, между общественным содержанием и общественной формой,—учет пределов, в которых та иная общественная идеология адэкватна отражаемому ею общественному бытию. Последнее никогда полностью не охватывается общественным сознанием: материальные общественные отношения только частично находят себе отражение в правовых,—как их называл Ленин, идеологических отношениях. С другой стороны, этому препятствует характер самого построения юридической идеологии в зависимости от руководящего представления «свободной воли», ее имманентная логика, дедуцирующая от «нормы», закона и не развивающаяся параллельно ее материальному содержанию. Если все эти препятствия легко обходит Лассаль, потому только, что он неправильно применяет диалек-

тику,—согласно ироническому замечанию Маркса, он по-ученически, в готовых, выработанных Гегелем, формах проделывает мыслительный процесс. Еще в «Философии Гераклита» его занимало лишь стремление «воспринять формальную сторону спекулятивного понятия—единство, самому себе противоположного, как процесс» [1]). С такими же готовыми логическими рецептами он подходит и к проблеме приобретенных прав, и к наследственному праву, стремясь и здесь отыскать «властное влияние спекулятивного понятия», подгоняя «множество отдельных «случаев» под один общий принцип» [2]), вместо того, чтобы искать конкретного своеобразия в отдельных моментах истории права. Отсюда бесконечные логические натяжки, поиски формально-диалектических моментов в чисто юридической области, отсюда та легкость, с которой он отрывается от «политико-экономической материи» и, точно совершенно забыв о ней, отдается течению философской и юридической мысли.

С этой точки зрения необходимо подходить к оценке и общей философско-правовой концепции Лассаля, и к его философско-исторической «программе», развивая которую он не заметил самой малости: что «эмансипация» от частной собственности означает не высшую ступень правового развития, но и «эмансипацию» от права, как такового!—и, наконец, к его прославленной юридической теории революции,—революционного действия и революционной экспроприации.

Здесь мы должны предварительно вернуться к выдвинутому Лассалем понятию «приобретенного права» и к тесно связанному с ним принципу отрицания обратного действия законов. Как известно, принцип этот, отрицающий за новыми законами возможность воздействия на уже сложившиеся и освященные прежним законодательством правоотношения,—имеет кардинальное значение для современной буржуазной юридической теории. Он основан на том идеологическом понимании права, при котором, как это отметил Энгельс, правовой материал представляется порожденным «чистым мышлением», рядом ступеней в этой области мышления, за пределы которой не выходят юристы: отсюда и непрерывность в развитии права, боязнь так называемой «правовой пустоты», требование юридической последовательности и связи с предшествовавшим «правотворчеством». Правомочие, освященное прежней ступенью развития «юридической мысли», вызывает целую цепь юридических последствий, которые не могут быть просто отвергнуты дальнейшими результатами «правового развития»: самая «идея права», т.-е. представление об обще-

[1]) Die Philosophie Herakleites des dunklen von Ephesos, Bd. VII, S. 39. Gesammelte Reden u. Schriften, Berl. 1920.

[2]) Письмо Маркса к Энгельсу от 9 дек. 1861 г.

ственном развитии, как развитии правовом—к более совершенной ступени права и через посредство права—требует согласования новых юридических возможностей с сложившимися правоотношениями, которые должны быть исчерпаны до конца... Отрицание обратной силы законов, равно как и самая «идея права», равно как и идея непрерывного развития—глубоко буржуазная идея—вполне соответствует духу современной буржуазии. Практика однако идет наперекор юридической логике, обнаруживая все ее слабые стороны: исключить из сферы воздействия новых законов прежде сложившиеся правоотношения, в ожидании, когда они исчерпают себя, значило бы по отношению к целому ряду правовых явлений, имеющих зачастую весьма длительные последствия (напр., в наследственном праве), прекратить то самое «правотворчество», которого властно требует стоящее за ним новое материальное содержание. Поэтому потребность ограничения в тех же юридических формах действия вышеназванного принципа и сейчас зачастую встает перед буржуазной юридической мыслью. В особенности часто возникала такая потребность в те периоды, когда буржуазия сама была еще революционным классом, когда ей приходилось самой бороться с «приобретенными правами», с историческими привилегиями феодального общества.

Ограничение принципа отрицания обратного действия однако настолько противоречит самой природе юридической идеологии, что всякого рода исключения из него зачастую обосновывались в юридической литературе ссылкой на «внутренние мотивы законодателя», т.-е. им давалось не юридическое обоснование. Знаменитый Савиньи пытается уже найти такую общую формулу, которая предопределяла бы характер таких ограничений, исходя из природы самого права, подлежащего применению, стало быть, оставаясь на чисто юридической почве. Он считает, что новые законы немедленно вступают в силу и имеют обратное действие не по отношению к приобретенным правам, т.-е. таким, в которых определенное лицо уже вступило в связь с определенным правовым институтом, но по отношению ко всем только существующим, но еще не использованным правам, правовым возможностям: в этой формуле узаконялась только старая, всегда имевшая место юридическая практика.

Лассаль считает необходимым в этом отношении пойти дальше и, оставаясь на юридической почве, дать такую формулу, которая бы установила пределы приобретенных прав: «примирить, «свести к единой высшей идее права оба принципа—тот, который отрицает за новыми законами силу обратного действия, и тот, который признает за ними эту силу». Это единство должно быть диалектическим: «даже те случаи, когда первый закон немедленно осуществляется в жизни, также должны

вытекать из идеи, отрицающей за новыми законами силу обратного действия» [1]). Здесь Лассаль остается совершенно последовательным с точки зрения юридической идеологии: он исходит из отрицания действия, как из основной идеи права, и хочет, путем соответствующего истолкования «этого истинного, но теоретически недостаточно продуманного принципа», об'яснить кажущиеся его ограничения. И тут Лассалю на помощь приходит еще общая философско-правовая концепция исторического развития, установленная им взаимозависимость между «индивидуальной свободной волей» и «всеобщим правосознанием». Исходя из своего понимания приобретенных прав, как осуществляющихся только через посредство свободной индивидуальной воли лиц, Лассаль видит в идее отрицания обратного действия уважение к свободе человеческой воли и имевшим место проявлениям последней. Но это определяет и пределы указанного «отрицания» в следующих положениях: «Идея обратного действия в сущности... есть не что иное, как идея вторжения в сферу свободы и ответственности человека. Только поэтому обратное действие недопустимо... Закон, обладающий силой обратного действия, уничтожает волю индивида»... Т.-е., об'являя недопустимыми совершенные индивидуумом действия и изменяя последствия этих действий, новый закон этим самым умаляет свободу данного лица, полагавшего, что, поскольку существует прежний, старый закон, он в праве действовать в определенных пределах; этим самым умаляют и ответственность за совершенные поступки, оценка последствий которых может вдруг измениться. Одним словом, уничтожаются все условия согласованной с правом правовой деятельности, подрываются самые устои права. Отсюда и выводы Лассаля: «Никакой закон не может иметь обратной силы, если он касается личности только через посредство ее волевых актов; каждый закон может иметь обратную силу, если касается личности таким образом, что между ними не стоит ее произвольно совершенный акт» [2]). Таковы, напр., те абсолютные приобретенные права, к которым закон, как таковой, приобщает личность без посредства актов ее индивидуальной воли. Но зато, наоборот, погашая чью-либо правоспособность, закон не может об'явить недействительными те юридические действия, которые были уже совершены на почве этой правоспособности. Закон может, скажем, запретить брак в слишком юном возрасте (так как возраст не зависит от индивидуальной воли), но не может аннулировать те волевые акты вступления в брак, которые имели место до издания закона. Закон,

[1]) Theorie... S. 13.
[2]) Theorie... S. 47.

запрещающий развод, должен быть, по мнению Лассаля, применен ко всем прежде имевшим место брачным актам, так как здесь еще не произошли новые индивидуальные волевые акты развода. На последнем примере чувствуется вся натяжка аргументации Лассаля, так как свободное заключение брака, чтобы быть таковым, предполагает и свободу его расторжения; по поводу этого Энгельс остроумно заметил, что берлинский обыватель не решился бы жениться, если бы развод был так затруднен!

Все юридические натяжки Лассаля становятся еще более очевидными, когда он пытается подвести под понятие свободно совершенного волевого акта такие юридические действия и отношения, которые меньше всего содержат «свободной воли», но к которым законодательная практика обычно не применяет обратного действия закона. Таково, напр., право наследника, который, хотя сам не совершает волевых актов, но якобы представляет в своей персоне идентичную для всей семьи (!) волю наследодателя и т. п. Мы не можем здесь останавливаться на представляющих лишь специальный интерес многочисленных случаях юридических актов и отношений, которые Лассаль подвергает тщательному анализу в первом томе своей «Системы», для того, чтобы установить для них пределы обратного действия запретительных или устанавливающих новую правоспособность законов. Любопытны, напр., для изучения природы права, его воззрения на то, как имевшая место фактическая, «натуральная» воля становится волей юридически-обязательной, в случае издания соответствующих законов, или соображения по поводу права преступника использовать выгоды для него нового уголовного законодательства, так как «всеобщее правосознание» уже достигло в нем новой ступени и т. д. Важно только отметить, что то новое, которое дает Лассаль по сравнению с Савиньи, заключается именно во взаимозависимых у него понятиях «индивидуальной свободной воли» и «всеобщего правосознания», с помощью которых он и изворачивается во всех юридически-затруднительных случаях. Лассаль потому и придает такое большое значение понятию «свободной воли», вводя его во все области права, хотя бы под видом воли «логически подразумеваемой»,—что оно дает ему возможность связать и суб'ективное правомочие и «об'ективное» право; дает возможность, оставаясь в сфере юридической идеологии, об'яснять самое обратное действие законов, исходя из отрицания такого обратного действия. Ибо возвышение «правосознания», «всеобщей воли» на высшую ступень не есть уже нарушение свободы индивидуальной воли, также «соучаствующей» в образовании всеобщей воли.

Переведенная на материалистический язык и изложенная в самой общей и упрощенной форме, мысль Лассаля может получить, примерно, такое истолкование: изменение материальных условий производства ведет к изменению основных правовых идей, и в пределах этого изменения и в соответствии с ним могут и должны быть изменены и права отдельных индивидуумов, которые при таких условиях не терпят насилия над своею «личностью» и не теряют уважения к новому законодательству. В такой форме мысль Лассаля могла показаться в большой мере материалистической не только Бернштейну, но даже и Мерингу. Однако достаточно несколько более внимательного анализа, чтобы стало ясно, что воззрения Лассаля отнюдь не сводятся к этой упрощенной формулировке, что, на-ряду с материалистическими, оно содержит и определенно идеалистические моменты. Прежде всего, оно предполагает непрерывное развитие и совершенствование правовой идеологии, и таким путем для самых различных ступеней ее развития сохраняется некое общее мерило, оценка с точки зрения наиболее общих и характерных категорий буржуазного права. Такое воззрение сохраняет цельность юридической идеологии, но затушевывает зато своеобразие права иных эпох, скажем, феодализма или пролетарской диктатуры. Далее совершенно упускается из виду, что и свободно совершенный поступок может мотивироваться доводами, вовсе не соответствующими юридической идеологии, и что материально обусловленное сознание совершенного акта может вовсе не совпадать с «всеобщим правосознанием»: это особенно относится к воззрениям угнетенных классов, которые далеко не всегда совпадают с господствующей юридической идеологией. Совершенно очевидно, что при выяснении пригодности того или иного правоотношения, нельзя обойтись одной ссылкой на «правосознание»: ибо, как об этом вопрошал Лассаля в письме к нему Родбертус, откуда, в самом деле, известно, что «правосознание» общества уже дозрело до такой-то ступени, но еще не дозрело до другой, более высокой; кто именно может назвать себя истинным его выразителем? Для такого выяснения необходимо изучение конкретных особенностей данного случая, необходим выход за пределы юридической идеологии, апелляция к материальному, классовому содержанию развивающегося общественного бытия. Недостатки и искусственность построений Лассаля обнаруживаются особенно отчетливо, когда он пытается с их помощью изучить законодательство революционных эпох.

И тут совершенно необходимо осветить те практические моменты, на-ряду с чисто-научными и юридическими интересами, которые вызвали на свет появление «Системы приобретенных

прав» и заставили самого Лассаля особенно ценить в ней отделы, посвященные «примирению принципа положительного права с принципом революции» (№№ 7 и 10, отдела III). Указание на них содержится уже в предисловии, которое говорит, что «идея приобретенного права вновь стала предметом борьбы в наши дни». «Вновь» потому, что впервые борьба, как политическая, так и связанная с ней теоретическая, возгорелась уже в конце XVIII и начале XIX в.в. Великая Франц. революция для юридической области означала смерть старого феодального права, основанного на привилегии, и порождение нового буржуазного правопорядка. Но хотя «право на революцию» является вообще единственным действительно историческим правом» (Энгельс), буржуазная революция — и именно потому, что она была революцией!—не могла сразу обрести основание своей правомерности в своей собственной юридической идеологии. В частности, принцип отрицания обратного действия законов часто нарушался на первых порах революционной буржуазией [1]), и только наступление реакции приводит к окончательному закреплению его и формулировке в конституции V года.

В Германии обосновать эту правомерность революции на почве новой буржуазной юридической идеологии впервые берется революционно-настроенный тогда Фихте. В своем любопытном политическом трактате «К исправлению суждений публики о Французской революции» [2]) Фихте исходит из представления, что государство основано на общественном договоре, и поэтому в пользу его может происходить отчуждение своих прав его гражданами. Но, как и всякий общественный договор, государственный договор расторжим, право на изменение государственного строя, не соответствующего более нравственному закону, есть неотчуждаемое право граждан, человек не может связывать себя ничем, противоречащим его собственному назначению, и постольку революция совершается совершенно правомерно. Как и всякое право, феодальные привилегии также надлежит рассматривать в качестве приобретенных по особому договору, «покровительственному договору». Они теряют поэтому силу, как только изменилась воля договорившихся. Так отменяется ряд феодальных привилегий, и в частности, как совершенно не соответствующие нравственным требованиям—«право на личность», владение церкви светскими имуществами, различные

---

[1]) См. об этом интересные данные у P. Sagnac, «La legislation civile de la revolution française» (подготовляется русский перевод).

[2]) I. G. Fichte. Beitrag zur Berechtigung der Urtheile des Publicums über die französische Revolution (1793—94). О Фихте см. статьи т. А. М. Деборина в «Под Знам. Марксизма».

дворянские притязания. При этом Фихте допускает известное вознаграждение для лиц, потерявших свои привилегии, чтобы дать им возможность приспособиться к новому правопорядку. Так обосновывает Фихте правомерность современной ему буржуазной революции. В дальнейшем вопросом об этой правомерности занимается, как известно, и Кант (в своем «Rechtslehre» и др. работах), но он дает ей скорее общее философско-историческое и нравственное, а не юридическое обоснование. Представитель реакционной «исторической школы» Савиньи, напротив того, настроен критически к вопросу о праве революции: он видит в результате ее «обогащение одной страны насчет другой, ни в коем случае не могущее быть оправданным законом», и требует поэтому «истинного и полноценного вознаграждения» за наносимый в период революции ущерб приобретенным правам[1]).

«Идея приобретенных прав» вновь становится предметом борьбы в Германии периода между 1848—1871 г.г., когда буржуазная революция развернулась уже и в ней, но не достигла полного развития, что и привело к сохранению ряда феодальных привилегий. Вопросы об отмене феодальных повинностей с вознаграждением или без вознаграждения, о законности для современной эпохи исследования по феодальному наследственному праву (так называемые фидеикомиссы), о препятствии к об'единению Германии со стороны нескольких привилегированных династий и т. п. были жгучими вопросами для тогдашней Германии, которая должна была ранее завершить свою буржуазную революцию и покончить с остатками феодализма, чтобы сделать затем возможной подготовку пролетарской революции. Лассаль поэтому направляет все свои стрелы против феодальных привилегий, проводя ряд аналогий с французской буржуазией, используя юридические доводы, напоминающие его более раннего предшественника Фихте, и полемизируя с исторической школой. Лассаль прекрасно понимает, «почему именно все эпохи лихорадочно-быстрого исторического развития, т.-е. эпохи, которые принято называть революционными, должны обнаружить наклонность к возможно большему расширению сферы действия того принципа, согласно которому новые законы подлежат немедленной реализации; он поймет также, почему, наоборот, все эпохи реакции, а, следовательно, и все реакционные партии в эпохи интенсивного исторического развития стремятся самым неумеренным образом использовать реакционный принцип, отвергающий за законами силу обратного действия»[2]). Стремясь поэтому, со своей стороны, дать основание для более широкого применения обратного действия и в то же

[1]) System des heutigen Römischen Rechts, Bd. VIII.

[2]) Theorie.., S. 27.

время не умалить отрицающего это применение юридического принципа, Лассаль опирается на свою теорию правомерности лишь того, что находится в соответствии с «общим сознанием». «Ни одна эпоха,—говорит он,—не может пребывать под властью другой эпохи, следовательно, ни одна эпоха не может быть обязана правомерным путем хранить и беречь в себе то, что противоречит ее собственному правосознанию, что отныне ею рассматривается как воплощение бесправия, но не права» [1]). «Общественный дух в своем вечном саморазвитии достигает такой ступени, находясь на которой он об'являет отныне законченным существование того или иного прежнего права, например, отменяет институт крепостничества... отменяет повинности и оброки определенного рода... право наследования по системе фидеикомиссов и т. д. О каком бы то ни было обратном действии и о каком бы то ни было посягательстве на приобретенные права во всех этих случаях, как мы уже видели, не может быть и речи» [2]).

Поэтому Лассаль не видит никакого посягательства на приобретенные права в декретах Французской революции от 4 августа 1789 г. и, в противоположность Савиньи, высказывается против всякого «права на вознаграждение» за утерянные феодальные привилегии, — ибо эти привилегии на данной ступени уже перестали быть правом. «Та граница, до которой право могло и должно было обладать действительной силой, теперь достигнута,—а потому ни с логической, ни с юридической точки зрения перед нами нет здесь никаких оснований требовать вознаграждения. Здесь нет вообще ничего, что следовало бы вознаграждать». В противном случае это значило бы «накладывать на общественный дух особую дань за его дальнейшее развитие» [3]). Но так как эта мысль могла бы привести к экспроприации помещичьих земель без выкупа, то Лассаль тут же ее ограничивает. Он различает более общего характера юридическое основание, против которого может выступить новое правосознание (напр., феодальные отношения личной зависимости, и тогда не может быть речи о вознаграждении) и тот случай, когда новое правосознание выступает не против самого права, напр., предоставления помещикам в пользование земель в «обмен» на что-либо, но лишь против определенной формы осуществления этого права, в виде феодальных повинностей: в последнем случае, повинности могут быть заменены денежным выкупом, но это уже будет вознаграждение

---

[1]) Ib., S. 173.
[2]) Theorie.., S. 167. Курсив наш.
[3]) Ib., S. 169.

за пользование землей, а не за освобождение от феодальных повинностей.

Уже теория вознаграждения обнаруживает всю внутреннюю противоречивость юридического подхода Лассаля к вопросам революции. Очевидно, прежде всего, что упреки Лассаля направлены лишь против феодальных отношений личной зависимости, а не против права частной собственности на землю, так как последнее право не противоречит буржуазному правосознанию. Но тот же Лассаль в своей философско-исторической «программе» говорил, что мы стоим сейчас перед отменой и косвенной эксплоатации и частной собственности вообще: спрашивается, какое же правосознание оказывается здесь более правомерным?! Далее: если приобретенные однажды феодальные права становятся недействительными, как только они перестают соответствовать общественному правосознанию или его проявлению—законам,—то, спрашивается, к чему были все «индивидуальные волевые акты», имеющие, очевидно, значение для весьма ограниченной области. Явлений революционного порядка, очевидно, понятие «индивидуальной свободной воли»,—основной, по Лассалю, признак права—охватить не может: приходится ссылаться на законы, на «правосознание».

Но и «всеобщее народное правосознание», выраженное словесно или в законах, оказывается неспособным отразить все сложные своеобразия реальной диалектики революционного развития. Ибо как в таком случае об'яснить, напр., действия французского революционного Конвента, распространившего новые законы о наследовании на все завещания, составленные до времени вступления этих законов в силу, если только живы к этому времени их составители? И, чтобы показать, что и здесь в действиях Франц. революции не было никакого применения законов к прошлому, Лассаль вводит новую форму проявления изменившегося народного правосознания, какая до сих пор вовсе не фигурировала в «системе»: именно — фактическое разрушение, путем действий, старого состояния права. Таким для Французской революции Лассаль считает штурм Бастилии, когда «французский народ открыто обнаружил уже, что в нем живет новое правосознание» [1]). Но понятие «фактического разрушения» означает уже выход за пределы юридической идеологии, чисто юридического рассмотрения: хватаясь за него, Лассаль подрубает тот юридический сук, на котором он до сих пор сидел. Остается— или растворить в «правосознании» все вообще проявления общественного бытия, или же отказаться вовсе от юридической теории революционного диалектического процесса.

---

[1]) Theorie.., S. 380.

Революционная диалектика требует отчетливого понимания условий классовой борьбы, форм ее проявления, порождаемых ею «юридических коллизий» и совершенно неизбежных в революционном процессе «правовых пустот». Но для юриста Лассаля,—по крайней мере в этот период,—еще нет классового права, а есть лишь «общественное право», и он с негодованием отзывается о мысли, что «вообще нет никакого общественного права, но что все право представляет собою частную собственность одного владеющего класса» [1]. Задачи права он видит именно в смягчении общественной борьбы: в лице своей научной теории он хочет обрести «могучее духовное оружие, которое помогло бы, с одной стороны, облегчить глубоко-преобразовательную работу нашего столетия, а с другой—отразить бурный натиск шумливых пенистых волн, готовых потопить под собою вспаханное индивидуальной волей нивы приобретенных прав» [2].

Неудивительно после этого, что Бернштейны сумели по достоинству оценить и надлежаще использовать все слабые стороны противоречивой теории, преисполненной столь благими и искренне-революционными намерениями!

III.

Нам осталось осветить еще один вопрос, стоящий в центре внимания автора «Системы приобретенных прав» и до такой степени занимавший его, что ему посвящен весь второй том «Системы» и целый ряд страниц первого тома. Мы имеем в виду экскурс Лассаля в область истории наследственного права,—экскурс, представляющий не столько юридический, сколько исторический и социологический интерес. Сущность вопроса получила уже некоторое освещение в переписке Лассаля с Марксом и в комментариях Меринга к соответствующим письмам Лассаля. Мы ограничимся поэтому наиболее сжатым его изложением, при чем попытаемся, в первую очередь, установить ту связь, какую он имеет с общей философско-правовой концепцией автора.

Выше было указано, что основное для своей правовой теории понятие свободного индивидуального волевого акта Лассаль распространяет и на наследственное право, при чем, «в виду идентичности индивидуальных воль внутри семьи», предполагаемое волевое действие наследователя, когда-либо имевшее место, персонифицируется в особе его наследника и мыслится, как собственное волевое действие последнего. Уже эта явная юридическая натяжка обязывала Лассаля к исследованию того исторического процесса, в котором развилось понятие преемственности юридической

[1]) Theorie..., S. 208.

[2]) Ib., S. 41.

воли завещателя. Ибо самое понятие юридической, свободной воли предполагает свободное распоряжение своей волей, возможность ее изменения—одним словом, проявление воли живых,—в данном случае самих наследников,—но отнюдь не действие воли умершего лица. Но, помимо чисто теоретических, указанное историческое исследование вызывалось и рядом практических соображений. Вопрос о феодальной наследственной земельной собственности дворянских родов стоял, как мы видели, очень остро в эпоху Лассаля, и последний имел возможность более близко ознакомиться с ним, выступая защитником на процессе графини Гатцфельд. Буржуазное правосознание плохо мирилось с существованием фамильных «фидоикоммисов», которые оно рассматривало, как пережившую себя привилегию. Но этим самым поднимался и более общий вопрос: поскольку наследственное право вообще, как право, основанное на воле отдаленного завещателя, может считаться правом, приобретенным правом, с точки зрения буржуазной юридической теории. Лассаль взял на себя трудную задачу показать на историческом исследовании, что наследование по завещанию ничего общего не имеет с юридической идеологией, что современное право, использовывая и узаконяя эту форму передачи имущества, в действительности узаконяет древний, спиритуалистического, религиозного характера, пережиток.

Уже в «Приложениях» (Anwendungen) первого тома Лассаль ставит вопрос, нужно ли мыслить—фамильные «фидеикоммисы», как ограниченную известными условиями собственность теперешнего их случайного владельца, или же они находятся только в его временном пользовании, будучи собственностью вечной (perpetuellen) семьи. Лассаль приходит к выводу, что в этом отношении существует известное различие между воззрениями римского права, для которого владелец фидеикоммиса был действительно ограниченным собственником, и права германских народностей, для которого существовала лишь фамильная, коллективная собственность. Для борьбы с экономическим могуществом немецкой земельной аристократии Лассаль считает полезным использовать легшее в его основу древне-германское право и его воззрения: так как в этом случае законодательная отмена фидеикоммисов вызовет разделение крупных имений между членами всей семьи [1]). Лассаль поэтому считает нужным доказать, что германское наследственное право вообще ничего общего не имеет с римским наследованием по завещанию, от которого оно восприняло только чисто внешние формы, не понимая исторических причин, вызвавших у римлян «идею завещания».

[1]) Theorie..., S. 343 — 349.

Почти весь второй том «Системы» [1]) посвящен поэтому расследованию сущности столь загадочного и противостоящего самой природе права римского завещания. Огромный исторический материал, привлеченный Лассалем, весьма интересный для современников автора и отчасти и сейчас еще не утративший своего интереса, сделал этот том, в оценке Маркса, «интереснее, хотя бы только из-за латинских цитат» [2]). Интересен он и потому, что, как это правильно отмечает Меринг, мы имеем здесь не только проверку на частном юридическом вопросе общих положений первого тома, но и попытку разрешения историко-социлогической проблемы—о влиянии идеологических пережитков на ход исторического развития. Правда, «пропитанное идеологизмом», по выражению Маркса,—философско-историческое построение Лассаля не дает этой проблеме удовлетворительного разрешения, но оно подготовляет для последнего интересный исторический материал.

Лассаль подробно и обстоятельно рассматривает различные ступени развития римского наследственного права, представляющие интерес лишь при специальном их изучении, соотношение между различными формами наследования: интестатом, т.-е. наследованием по обычному праву, и легатом, т.-е. таким распоряжением имуществом, когда выраженная воля получает правовую силу лишь после смерти. Развитие у римлян легатной формы наследования вызывает необходимость обоснования этой, «идущей вразрез со всяким jus naturale, со всяким естественноправовым взглядом» формы, при которой мертвый представляется желающим, распоряжающимся после смерти. Отсюда и идея римского завещания, т.-е. идея продолжения существования и после смерти оставляющей наследство воли. Идея эта, как доказывает Лассаль, не имеет в себе ничего юридического, но носит глубоко религиозный характер, связана с первобытными религиозными верованиями римлян. Последний вопрос выясняется Лассалем в потому так и заинтересовавшей Маркса, знаменитой пеласгической главе [3]). Уже на основе предварительного историко-юридического исследования, Лассаль приходит к выводу, что сущность римского духа составляет культурно-исторический принцип суб'ективного бессмертия воли» [4]). Исторических причин развития этого понятия он ищет в первобытной истории Рима, в ранних религиозных верованиях предшественников римлян, этрусков и пеласгов, в которых сказы-

[1]) Zweiter Band: «Das Wesen des römischen und germanischen Erbrechts in historisch-philosophischer Entwikelung».

[2]) Письмо к Энгельсу от 4 декабря 1861 г.

[3]) Die religiöse Substanz und die pelasgisch-etruskische Vorzeit.

[4]) Das Wesen., S. 430.

вается та же идея: «непрерываемая смертью, продолжающая существовать индивидуальность воли». Вера в загробное существование, выразившаяся в «пеласгическую эпоху» в культе так называемых «манов» и «ларов», она, по мнению Лассаля, сказалась и в загадочном древне-римском мифе об Акке Ларенции, проститутке и в то же время кормилице легендарного Ромула: в этой Акке Ларенции Рим, согласно Лассалю, создал «свое собственное олицетворение и свой собственный культ» [1]). Домашний бог, «лар», продолжающий существовать в наследниках,—такова религиозная основа римского завещания.

Общее заключение, к которому приходит Лассаль (мы избавим читателей от необходимости нырять вместе с нами в эти историко-юридические и мифологические пучины!)—то, что в римском завещании имеет место *не столько передача имущества*, которая играет случайную и дополнительную роль, *сколько сохранение «суб'ективности воли» завещателя в наследниках*. Поэтому право наследования по римскому завещанию становится приобретенным правом лишь тогда, когда наследник *проявляет* эту сохранившуюся в нем волю» [2]). Совершенно иные и своеобразные тенденции обнаруживает Лассаль в древне-германском наследственном праве. У германцев история, при первом появлении на исторической арене, знает наследование только в порядке *интестата*, т.-е. по обычному праву, не признающему завещания. Наследники, уже в силу своей принадлежности к данной семье или роду, считаются непременными участниками в наследовании и начинают пользоваться этим правом еще до смерти наследователя, так как наследственная собственность не может быть последним отчуждаема. Германское наследственное право покоится на том понимании семьи, как «нравственной идентичности лиц, составляющих данную семью», которое было присуще германцам и которое Гегель в своей философии права распространил на семью вообще. Право наследования возникает здесь «не потому, что такова воля наследователя»: «право наследника *приобретается* им уже с самого момента его *вступления в семью*, с момента рождения; со смертью же наследодателя оно только *осуществляется* в действительности» [1]). Несколько позже германцы переняли у римлян институт завещания, но оказались «не в состоянии понять его *внутренний духовный смысл*»: они увидели в праве завещания *лишь право распоряжаться своим имуще-*

[1]) Ib., S. 463.
[2]) Ib., S. 472.
[3]) Das Wesen..., S. 480.

ством». Поэтому для них легко было отождествить завещание с дарением между живущими людьми» [1]).

В этом «заимствовании» Лассаль видит огромное историческое недоразумение, так как идея римского завещания якобы глубоко чужда для всего другого народного духа. Правда, в письме к Марксу Лассаль поправляется: «Народ при своем выполнении и осуществлении может осуществить именно только самого себя. Ошибочное понимание у него означает только: некритическое перенесение самого себя в другую эпоху, в другую общественную форму» [2]). Но натяжка все-таки остается, потому что едва ли германцы «некритически переносили себя» (?) в римскую эпоху: они и не помышляли об этой эпохе! «Историческое недоразумение», «ошибочное понимание» понадобились Лассалю для того, чтобы показать, какое значительное влияние они оказали на дальнейшее историческое развитие. По мнению Лассаля, представление, что «воля выполняется после смерти», как несоответствующее самой идее права, «не пришло бы в голову никакому народу без знакомства с римским правом, и только благодаря ошибочному пониманию римского права приобрело значение и стало господствующей догмой» [3]). Без него, согласно Лассалю, европейские народы додумались бы разве только до так называемого «дарения на случай смерти», при котором право на собственность отчуждается немедленно, а после смерти лишь реализуется.

По поводу последнего вопроса между Марксом и Лассалем завязалась переписка. Маркс раз'яснял Лассалю, что «римское право более или менее видоизмененное, было усвоено современным обществом потому, что правовое представление, которое имеет о самом себе суб'ект свободной конкуренции, соответствует таковому римского лица». Что из неправильного усвоения римского завещания в первоначальной форме «никоим образом не следует, что завещание в современной форме есть неправильно понятое римское завещание», что «неправильно понятая форма есть именно всеобщая, и на известной ступени развития общества применима для всеобщего употребления». Завещательные отказы или письменные распоряжения имущества все равно, и без опоры Рима, выросли бы у германских народов на определенной ступени их экономического развития [4]). Лассаль на это возражал, что в идее свободной конкуренции нет ни одного атома представления о том, что индивид может иметь волю после смерти.

[1]) Ib., S. 488 — 489.

[2]) Письмо к Марксу от 28 июля 1861 г.

[3]) Там же.

[4]) Письмо Маркса к Лассалю от 22 июля 1861 г.

Нужно сказать, что, как это бывает у него часто, Лассаль и здесь противоречит сам себе. В своем историческом изображении развития римского завещания—от «пеласгов» до Юстиниана!—Лассаль сам показал, как «здравый рассудок» римлян, их личный эгоизм борется с этим религиозным пониманием завещания и как постепенно мнимое «сохранение воли» обращается уже у самих римлян в исключительное распоряжение имуществом. Стало быть, уже у самих римлян позднейшая форма завещания была уже «неправильно усвоенной старой, религиозной сущностью завещания. Поэтому и германцы, которые заимствовали у римлян именно позднейший, а не ранний смысл завещания, вовсе не совершили никакой ошибки по отношению к усваиваемому!

Источник ошибок Лассаля и в отрыве его от экономического развития, и в непрерывных и недостаточных (до появления книги Л. Моргана) сведениях о строе первобытных обществ. По поводу первого источника ошибок уже Энгельс заметил в «Происхождении семьи и т. д.», а также в письме к Бернштейну, что Лассаль отстал в своей позаимствованной у Гегеля теории от последнего, так как сам Гегель исходит не из понятия «воли», а из истории римской первобытной родовой семьи. Отсутствие же у Лассаля сведений, что и германцы, и римляне проходили, но в разное время, одну и ту же родовую стадию, вызвало у него, вдобавок, чрезмерное разграничение между «духом» римского и «духом» германского права! В своей общей оценке исторического развития Лассаль и в данном случае—как мы это отметили и ранее—переоценивает роль формальных моментов в этом развитии.

Однако для нас здесь интересны не историко-социологические, а юридические выводы, которые делает Лассаль из своего исторического экскурса. В оценке их Меринг несомненно трезвее, чем Бернштейн, который видел в них социалистический удар буржуазному наследственному праву. Но и Меринг не дает этим выводам полного освещения, с их чисто юридической стороны. То, чего хочет Лассаль — это вовсе не уничтожить буржуазное наследственное право, но лишь выяснить истинную юридическую природу последнего. «Романскому», ошибочному пониманию природы наследственного права, имеющему религиозное основание, он противополагает «германское» понимание, основанное на совпадении индивидуальной воли с всеобщей волей», как части этой всеобщей воли. Порядок интестата у германских народов не опирается на индивидуальную волю наследодателя, но на всеобщую, общественную волю, при которой «семья оказывается государственным институтом». Право наследования, лишенное прежнего религиозно-метафизического

основания, должно мыслиться не как регулируемое завещанием, которое предполагает бессмертную волю, но как подчиненное регулирующему воздействию государства: индивидуальная воля наследодателя должна только представлять в своем лице общественную, государственную волю. Право наследования, иными словами, имеет юридический смысл лишь как право, регулируемое «общественными интересами».

Как и всякое право, следовательно,—вспомним философско-историческую «программу»!—оно предполагает в своем высшем развитии ограничение исключительной, частной собственности. Поэтому это право в первую очередь должно быть направлено против феодальных наследственных привилегий. Не отмену наследственного права, поскольку и не отмену права вообще, предполагает Лассаль в будущем, но скорее его «преодоление»; более высокую ступень права наследования, поддерживаемого и регулируемого государством, наследования «всеобщей волей» и через посредство этой «всеобщей воли». И если этим наносится косвенный удар и капиталистическому накоплению, буржуазной собственности, этой материальной основе права, если такое высшее развитие права означает вместе с тем уничтожение всех специфических черт права, как такового,—то в этом повинна уже не юридическая логика Лассаля, но реальная диалектика общественного развития.

В заключение мы хотели бы повторить сказанное в самом начале настоящего обзора философско-правовых воззрений Лассаля, что мы ни в какой мере не пытались провести реабилитацию последних, по случаю хотя бы юбилейной даты. Напротив того, выявить все ошибки Лассаля и вместе с тем источник этих ошибок—было нашей основной задачей. Потому что историческое об'яснение ошибок выдающихся людей является лучшим способом и их оправдания!

Как это мы достаточно выяснили, на воззрениях Лассаля лежит отпечаток породившей их исторической эпохи, исторических условий борьбы, всей трудности приспособить к новому материалистическому пониманию старое, привычное юридическое мышление. Лассаль был слишком «хорошим юристом», чтобы быть одновременно и последовательным материалистом. Стремление к юридической последовательности—увы!—в конечном счете бьет по марксистской диалектике.

Освещение ошибок Лассаля и их источников может только способствовать освещению исторического значения юридической идеологии, пределов правомерности ее использования, и предостеречь от новых возможных заблуждений, столь глубоко противоречащих философской и исторической теории рабочего класса.

Логическое исчисление и традиционная логика.

И. Орлов.

Тов. Баммель в своей статье [1]) обстоятельно разобрал, что в действительности представляет собой так называемая «логистика», которой идеалистическое мышление приписывает столь большое значение. Поэтому я ограничусь выяснением одного частного вопроса—об отношении математической логики к логике традиционной. Пеано, Рессель и др. авторы сочинений по математической логике относятся довольно пренебрежительно к традиционной «аристотелевой» логике; они утверждают, что они преодолели аристотелеву логику, что развиваемая ими математическая логика представляет собой нечто принципиально новое, что здесь якобы вводятся совершенно новые принципы умозаключений, а старые принципы уточняются. На деле все это оказывается неверным. Не возражая против возможности развивать логику в символической форме, мы не находим, однако, в логическом исчислении ни одного нового принципа, которого не было бы в силлогизмах обычного типа. Между тем выяснение этого обстоятельства имеет существенное значение; недостаточность формальной логики для нас очевидна так же, как и необходимость дополнения формальных рассуждений диалектическими. Тем самым станет очевидной несостоятельность логистики, как универсального математического метода.

Возьмем основное соотношение логического исчисления—отношение связи вывода («импликация»), которое признается неопределенным. Какой смысл имеет предложение «p следовательно q»? Вряд ли можно оспаривать, что его содержание сводится к следующему:

если дано p, то дано и q,
если q не дано, то не дано и p,
если дано q, то p под сомнением,
если p не дано, то q под сомнением.

Мы выписали здесь все, что содержится в суждении «p следовательно q»; ничего другого в нем, как очевидно, не содержится. Но это можно также свести к одной формуле: «p дано под условием q». Кутюра утверждает, что «импликацию» «p следовательно q» можно различным образом интерпретировать. Однако всякие ин-

[1]) См. «Под Знаменем Марксизма» № 3 за 1925 г.

терпретации, как, напр.: «если p истинно, то q истинно»; или: «если q ложно, то p ложно»; или: «не может быть p истинным и q ложным»; или: «либо p ложно, либо q истинно» [1],—все это только различные стороны того факта, что предыдущий член «импликации» дается под условием последующего.

В другом месте [2]) я ввел термин «сосуществование», под которым я понимаю не пространственное и вообще не наглядное отношение, но логическое отношение между двумя об'ектами, из которых один дается под условием другого. От пространственного сосуществования указанное отношение отличается необратимостью: «p дано под условием q» еще не значит, что и «q дано под условием p», хотя первое вообще говоря не исключает второго.

Теперь очевидно, что «импликация» представляет собой не что иное, как символически выраженное логическое отношение сосуществования. Но в упомянутой статье я показал также, что условные суждения традиционной логики целиком сводятся к отношению сосуществования. Таким образом «импликация» не заключает в себе ничего, чего не содержалось бы в условном суждении; на это обстоятельство, впрочем, указывал Пуанкаре [3]).

Точно так же «логическая сумма» двух предложений или альтернативное утверждение сводится к отношению сосуществования. Отношение «p или q» заключает в себе следующее и только следующее:

если p не дано, то q дано,
если q не дано, то p дано,
если p дано, то q под сомнением,
если q дано, то p под сомнением.

Это все может быть выведено из одного отношения сосуществования: «не-p дано под условием q», или «не-p следовательно q».

В этом отношении альтернатива традиционной логики более содержательна, нежели «логическая сумма» логического исчисления: альтернатива «p или q», взятая в смысле, принятом в традиционной логике, не может быть сведена к одному отношению сосуществования, но заключает в себе два не эквивалентных отношения: «p след. не-q» и «не-p след. q».

Теперь рассмотрим отношение принадлежности к классу, как, напр., предложение: «Частный термин K принадлежит к классу a». Во-первых, следует указать, что связка отношения «принадлежит к классу» не определяет термин K, как индивид, и термин a, как класс, но только повторяет то, что уже заключено в содержании терминов. Во-вторых, отношение принадлежности к классу есть воззрительное (наглядное), а вовсе не логическое отношение и, следовательно, как такое, не пригодно для логических выкладок. Но в указанном отношении скрыто отношение частичного тождества: «Термин K тождествен с некоторым чле-

---

[1]) См. Кутюра, Философия принципиальной математики, русский перевод, стр. 12.

[2]) См. И. Орлов, Чистая геометрия и реальная действительность,—«Под Знаменем Марксизма», 1923 г., № 12.

[3]) «Математика и логика». Новые идеи в математике, сб. 10. См. также Баммель. «Логистика и диалектика»,—«Под Знам. Марксизма» № 3, 1925 г.

ном класса a», или: «K есть член класса a». Только это частичное тождество и может быть посылкой для выводов, а никак не самое отношение принадлежности к классу. Только теперь становится понятным, почему отношение «принадлежности к классу» не переходно.

y' принадлежит к классу z,
x принадлежит к классу y.

Заключение невозможно, так как средний термин не одинаков: в первом предложении—класс y, во втором—некоторый член класса y. В логическом же исчислении непереходность отношения принадлежности к классу принимается, как независимый постулат.

Существует ли в традиционной логике отношение частичного тождества, имеет ли оно там значение?—Без сомнения. Категорические суждения традиционной логики отличаются от условных суждений тем, что они не сводятся целиком к отношению сосуществования, но заключают также отношение частичного тождества. Известно, что категорические суждения имеют двоякий смысл: они могут рассматриваться по содержанию терминов, а также по об'ему. Например, суждение «все люди смертны», рассматриваемое по содержанию, означает, что всякий, обладающий признаками, выраженными словом «человек», обладает также признаком смертности; в этом смысле суждение тождественно с условным суждением—если на-лицо признаки человека, то налицо и признак смертности и, следовательно, сводится к отношению сосуществования. Но категорическое суждение не может быть целиком сведено к условному, так как, в отличие от чисто условного суждения, оно может рассматриваться и по об'ему. В этом втором понимании наше суждение выступает в качестве тождества между классом людей и частью класса смертных существ. Для категорических силлогизмов характерно, что большая посылка, понимаемая по содержанию, сопоставляется в умозаключении с меньшей посылкой, понимаемой по об'ему.

Возвратимся опять к логическому исчислению. Отношение принадлежности к классу, как мы видели, заключает в себе лишь частичное тождество; поэтому из двух отношений принадлежности к классу никакой вывод невозможен. Для того, чтобы вывод был возможен, необходимо комбинировать отношения принадлежности к классу с «импликациями», т.-е. комбинировать частичные тождества и сосуществования, а это как раз характерно для категорических силлогизмов.

Пойдем далее. Логическое исчисление ставит своей задачей сокращение числа первых принципов и понятий до наименьшего возможного количества. Но в этом отношении традиционная логика имеет вполне определенное преимущество. В самом деле, все умозаключения традиционной логики могут быть сведены к применению формальных законов мышления—законов тождества и противоречия [1]). Между тем, в логическом исчислении

[1]) Для полной точности необходимо упомянуть также закон исключенного третьего, который не эквивалентен закону противоречия. В самом деле: от утверждения к отрицанию отрицания можно умозаключать на основании закона противоречия, а от отрицания отрицания к утверждению, только принимая во внимание также закон исключенного третьего.

мы находим целый ряд принципов совершенно лишних, и во всяком случае являющихся производными. Возьмем, например, принцип подстановки: «В общей формуле можно подставлять на место общего или неопределенного термина частный или индивидуальный термин» [1]).

Дело совсем не в том, что «можно» подставлять (а можно и не подставлять?) в общую формулу частные термины. Дело в том, что общая формула имеет значимость только под условием значимости частных формул. Следовательно, дело в том, что между частными терминами невозможны отношения, противоречащие отношениям, данным в общей формуле, если указанные частные термины обнимаются общими. Но отвергнуть отношения между частными терминами, не совместимые с общей формулой, можно только на основании закона противоречия. Таким образом без закона противоречия принцип подстановки в том виде, как он трактуется в логическом исчислении, был бы совершенно бесполезен. Но раз принят в качестве основного постулата закон противоречия, то принцип подстановки [2]) вовсе не нужен, как самостоятельное допущение.

То же самое можно сказать о так называемом «принципе (условного) силлогизма»: «если из p следует q, а из q следует r, то из p следует r». Применение этой формулы к частным случаям невозможно без закона противоречия по причинам только что указанным; но также и сам принцип может быть выведен из закона противоречия. В самом деле, пусть мы имеем посылки: «p дано под условием q» и «q дано под условием r». Допустим, что выводное предложение «p дано под условием r» не верно; последнее означает, что мы допускаем два следующих предложения: «p дано», но «r не дано». Из второй посылки и предложения «r не дано» следует предложение «q не дано»; из этого предложения и первой посылки следует также, что «p не дано» и, следовательно, мы переходим к противоречию с нашим допущением «p дано».

Легко видеть, что по отношению к остальным многочисленным принципам, которые мы находили в логическом исчислении, как-то: принцип упрощения, принцип составления, принцип дедукции и т. д.—можно сказать буквально то же самое, что все они не могут быть применены к частным случаям без закона противоречия, но и сами основываются на законах противоречия и тождества

«Исчисление отношений» точно так же не вносит ровно ничего нового, так как отношения являются терминами умозаключений, а вовсе не их принципами. Между тем это обстоятельство весьма существенно: весьма много говорят о том, что именно «логика отношений» якобы дает совершенно новые принципы умозаключений, о каких и не помышляли в традиционной логике. Однако в действительности мы видим, что между отношениями имеют место те же самые сосуществования и тождества, как и между всякими другими терминами; между отноше-

---

[1]) Кутюра. Там же, стр. 15.

[2]) Не надо смешивать с подстановкой равных величин на основании закона тождества.

ними существуют те же самые «импликации» и «принадлежности к классу».

«Отношение R следовательно отношение Q» — здесь посылкой для выводов служит не отношение R и не отношение Q, но «импликация», т.-е. отношение сосуществования между ними.

Для выводов пригодны только так называемые переходные отношения и пригодны именно потому, что они могут быть сведены к отношениям сосуществования. Переходные отношения, взятые сами по себе, воззрительны и поэтому в качестве посылок для дедукции непригодны.

В упомянутой уже статье («Чистая геометрия и реальная действительность») я указывал, что из наглядных отношений формальный вывод невозможен и что здесь приходится прибегать к наглядному представлению.

Пусть нам даны посылки «A больше B» и «B больше C», или же посылки «A вправо от B» и «B вправо от C»; из этих посылок никакого чисто формального вывода сделать невозможно. Присоединить третье отношение «A больше C» или «A вправо от C» к двум данным отношениям можно только прибегнув к помощи наглядного представления. Геометры никогда и не прибегают к таким умозаключениям. В современной математике всегда выставляются, как основные постулаты, такие предложения: «если A больше B и B больше C, то A больше C». Иными словами, здесь мы имеем сведение к «импликации»: совместная истинность двух предложений $A>B$ и $B>C$ дается под условием истинности предложения $A>C$. Это и значит, что переходные воззрительные отношения сводятся к отношению сосуществования, так как только в этой форме они могут служить посылками для дедукции. Теперь в каждом частном случае вывод возможен без обращения к интуиции, путем сравнения частной формулы с общей и применения закона противоречия.

Итак, мы видим, что авторы сочинений по логическому исчислению не могут похвастать какими-либо принципиально-новыми достижениями по сравнению с «логикой Аристотеля»; их логика является в конечном счете только некоторой модификацией традиционной логики. Отсюда следует, что логистика имеет все те недостатки традиционной логики, на которые я неоднократно указывал на страницах «Под Знаменем Марксизма»:—выводы не являются доказательствами, но лишь разысканием все новых условий значимости посылок; всякие выводы делаются в конечном счете способом от противного; дедукция дает не материально истинные суждения, но только суждения, вытекающие из своих посылок; всякий формальный вывод содержит petitio principii и т. д.

Все указанные недостатки органически присущи традиционной логике, а также логическому исчислению и всякому формальному методу вообще. Это характеризует формальную логику как менее совершенный, подсобный, имеющий ограниченное значение метод мышления по сравнению с методом диалектики.

О „мистической“ природе световых квант.

З. Цейтлин.

«Я полагаю, что знаменитый французский математик и физик был виновен лишь в весьма слабом преувеличении, когда он говорил, что лишь то открытие могло считаться действительно важным или надлежаще понятым самому его автору, когда последний мог об'яснить его первому человеку, встреченному им на улице».

(Дж.-Дж. Томсон. Материя, энергия и эфир).

I. Вступительное замечание.

Проф. Ранкин, автор термина «энергия», задумал однажды написать стихи в честь Прекрасной Дамы.

Эта женщина любила танцы; он поэтому
Находит уравнение для вальса и польки,
Но когда он начинает кружиться вокруг своей оси,
Его центр тяжести уклоняется в сторону,
И он падает вследствие силы земного притяжения.

Дж. Перри замечает по поводу этого образца поэзии Ранкина: «Я не сомневаюсь, что эта небольшая экскурсия в область поэзии настолько хороша, насколько этого можно ожидать от человека науки; но и научная ее сторона настолько хороша, насколько можно ожидать этого от человека, который выдает себя за поэта. В обоих случаях мы имеем доказательство несовместимости науки и стихотворного искусства».

Механика, действительно, учит, что вращение тела вокруг оси делает тело более устойчивым, что всякое уклонение оси вращения от первоначального направления вызывает так называемое «прецессионное» движение [1]—постоянное или временное в зависимости от характера возмущающих вращение сил.

Замечание Перри стало быть формально правильно. Но оно неверно по существу. Перри просто не понял «Влюбленного Математика» Ранкина. Стихи Ранкина поэтически выражают ту истину, что любовь к женщине может нарушить и нарушает все божеские и человеческие законы, что в области любви все законы механики отменяются.

---

[1]) «Прецессия» — предварение равноденствия: так как это предварение обусловлено конусообразным вращением земной оси, то подобного рода движения осей вращающихся тел называются прецессионными.

Изучая историю науки, мы постоянно вспоминаем этот анекдот. Сознательная или бессознательная «любовь» к интересам господствующих классов часто приводит ученых к тому, что они совершенно забывают об интересах науки. Тут, правда, имеется известный предел. Интересы буржуазного класса требуют известного развития знания, и буржуазия охотно поддерживает формальную науку. Но когда наука начинает переходить за известные, предуказываемые практическими потребностями буржуазии границы, возникает ожесточенная борьба. Мы осветили на страницах этого журнала борьбу против «гипотез» за удержание мистического понятия «силы». В настоящем очерке мы ставим своей задачей исторически осветить истинный смысл теории квант. Эта теория превратилась ныне в такое же орудие мистификации, каковым до сих пор является теория тяготения Ньютона, теория, искаженная теологическими силами Бентли—Котса.

Вот образец обычных заключений по поводу теории квант, принадлежащих профессору Хвольсону.

Профессор Хвольсон пишет:

«I. Стремясь теоретически вывести закон черного лучеиспускания, Планк тогда получил результат, согласный с опытными данными, когда он предположил, что световые вибраторы поглощают и испускают лучистую энергию не непрерывно, но квантами $h\nu$. Постоянная h имеет размер «действия» (энергия, помноженная на время); она представляет что-то вроде элементарного количества действия. Проникая во все отделы физики, она доказала свое мировое значение, доказала, что она играет великую роль в явлениях физических; она начинает проникать и в химию. Какова физическая ее сущность? Почему она так важна? Почему она как бы вторгается (чтобы не сказать—суется) во всевозможные физические явления?

Одним словом—что такое h? — Неизвестно и непонятно (Курсив везде Хвольсона).

II. Что такое кванта лучистой энергии? Почему она пропорциональна частоте колебаний? Почему она только целиком испускается и поглощается? Почему в ее выражении стоит та самая величина h, которая, как самодовлеющая величина, играет столь громадную роль в вопросах, не имеющих никакого отношения к лучистой энергии? Это неизвестно и непонятно.

III. Световые кванты Эйнштейна—самое больное место современной физики. Испускается свет квантами, и тот же свет, пройдя путь произвольной длины, поглощается теми же квантами. А на пути имеем колебательное движение, имеем электромагнитные волны. Как они развертываются из квант и как они своевременно свертываются в кванты? А если на пути нет ни колебаний, ни волновых поверхностей, а тоже одни кванты, то как же об'яснить основные явления интерференции, поляризации, преломления и дисперсии? Тут полный тупик, тут все непонятно.

Между тем, фотоэлектрические явления, возникновение первичных рентгеновых лучей и вторичных катодных лучей, явления флуоресценции и ионизации (лучистой энергией) только и делаются понятными, если ввести кванты $h\nu$.

IV. *Теория Бора*. 1. Почему в атоме возможны или дозволены только те орбиты, которые удовлетворяют квантовому условию? Непонятно.

2. Почему электрон, двигаясь по дозволенному пути, не излучает энергии? Ведь это находится в противоречии с теоретическим и экспериментально установленным фактом испускания лучистой энергии, когда в движении электрона существует ускорение. Все это непонятно.

3. Почему при переходе электрона от одной из дозволенных орбит на другую возникает одна кванта лучистой энергии. Каким образом протекает это возникновение? Непонятно. И все-таки—какие грандиозные результаты дала теория Бора!».

Следует еще несколько вопросов на тему о «непонятном», которые мы опускаем, так как они выходят за пределы нашей темы.

Постараемся теперь в популярной форме ответить на вопросы любознательного академика. Мы ни секунды не сомневаемся в том, что Хвольсон—талантливый и циклопической эрудиции ученый, который в течение нескольких десятков лет неустанно и внимательно следил за движением науки, что Хвольсон сам прекрасно знает в основном ответы на поставленные им вопросы. Но автор «Гегеля, Геккеля, Кошута и 12 заповеди» не хочет и не может дать этих ответов. Мы дадим их вместо него. Конечно, мы не претендуем на исчерпывающее решение всех проблем, связанных с теорией квант. Такое решение, т.-е. построение ясной, отчетливой теории, об'ясняющей все явления, связанные с квантами энергии,—дело будущего и дело коллективных, конечно, усилий. Наша задача заключается в ответе на основные вопросы в общей, а не математической и подробной, охватывающей все явления, форме.

Итак, мы покажем, что теория квант: 1) непосредственно вытекает из электродинамики Фарадея-Максвелла, 2) что она не только не противоречит этой электродинамике, но связывает эту электродинамику с классической механикой.

Последнее обстоятельство чрезвычайно важно, принимая во внимание ту ожесточенную войну, которая все время ведется против «механического» истолкования электродинамики, т.-е. об'единения двух основных областей физики, об'единения в смысле подчинения законов электродинамики общим законам движения материи.

2. Электромагнитная теория света Максвелла-Герца в Фарадеевском истолковании Дж.-Дж. Томсона.

Чтобы понять, что такое световая кванта, необходимо уяснить себе какое физическое содержание скрывается за оболочкой математических ур-ний электромагнитной теории света Максвелла-Герца. Это физическое содержание дается тем основным представлением, которое послужило исходной точкой исследований Максвелла, именно—представлением Фарадея о силовых линиях электромагнитного поля. Исходя из понятия фарадеевских силовых линий, Дж.-Дж. Томсон уже много лет разрабатывает физическую картину электромагнитных колебаний [1]). Несмотря на высокий ученый авторитет Томсона, его идеи по этому вопросу

[1]) См. «Recent researches in Electricity and Magnetismus» (1893) и «Electricity and Matter» (1903).

обычно замалчиваются, и во всех руководствах, ученых и популярных работах по физике неизменно повторяется о «таинственной» природе электромагнитных волн, а силовые линии Фарадея истолковываются не как физические образования (как их толкует Томсон и толковал Фарадей и Максвелл [1]), а как символическое изображение мистических сил электромагнитного поля. Между тем, физическое понимание силовых линий сразу же бросает яркий свет на основные вопросы электродинамики, теории квант и даже теории относительности [2]).

Вот почему за исходный пункт нашего исследования мы берем Томсоновское изображение электромагнитных процессов, образующих световые волны.

Сущность Томсоновской теории заключается в следующем.

Пусть у нас имеется шар, заряженный электричеством (рис. 1). От этого шара во все стороны радиально исходят силовые линии. Согласно основному постулату Фарадея-Максвелла каждая силовая линия имеет начало и конец; этим началом и концом является то, что мы называем положительным и отрицательным зарядом электричества. Если исходить из атомистического представления об электрическом заряде и представить себе, что на поверхности шара находится конечное число электронов, то такое же число силовых линий [3]) будет исходить из поверхности шара и оканчиваться на соответствующем количестве ионов (положительных электронов) окружающих тел. Согласно воззрению Фарадея—Максвелла — Томсона Фарадеевская силовая линия или трубка — это *реальное физическое образование*, т.-е. некоторое особое состояние эфира. Нет необходимости пока делать какие-либо предположения о природе этого состояния. Достаточно только указать на основные свойства силовой линии. Эти свойства таковы же, как и свойства обычного материального упругого тела, т.-е. силовая линия, 1) состоя из особого рода материи—эфира, обладает свойством, присущим всякой вообще материи—инерцией, 2) обладает упругим напряжением, подобно растянутой пружине или резиновой нити.

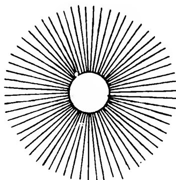


Рис. 1.

Необходимо, однако, подчеркнуть одну важнейшую существенную особенность. Если, скажем, два тела соединить резиновыми нитями, то при натяжении нити в своем естественном,

[1]) «Для Фарадея силовые линии были, однако, нечто большее, нежели математические абстракции, они были физическими реальностями. Фарадей *материализовал* силовые линии и снабжал их физическими свойствами, чтобы об'яснить явления электрического поля» («Electricität und Materie», S. 6, изд. 1909 г.).

[2]) А. К. Тимирязев справедливо отметил, что знаменитое увеличение массы электрона было задолго до теории относительности выведено Томсоном на основании физического понимания силовых линий.

[3]) Точнее: силовых трубок, ибо, без сомнения, сам электрон состоит из так называемых суб'электронов. О суб'электронах см. работу Р. *Милликэна* «Электрон» (гл. 8).

так сказать, состоянии обязательно будут прямыми линиями. Силовые же линии Фарадея образуют обычно криволинейные пути, как это видно из рис. 2, изображающего линии между двумя шарами.

Поэтому для полной аналогии необходимо представить себе, что резиновые нити натянуты в какой-то особого строения среде, которая своим сопротивлением мешает нитям выпрямиться. Без сомнения, искривленность Фарадеевских линий об'ясняется не только наличностью эфира, в котором эти линии проходят, но тем, что силовые линии, представляя собою движение (вихревое)

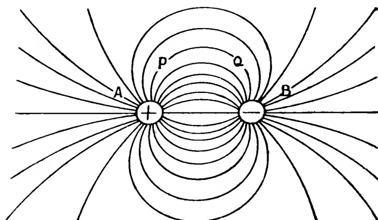


Рис. 2.

эфира, взаимно отталкиваются (закон взаимоотталкивания был установлен Фарадеем и Максвеллом—т. н. поперечное давление). Без сомнения также, что инерция силовых линий (трубок) обусловлена не только массой самой линии (трубки), но и массой увлекаемого при движении эфира.

Представим себе теперь, что наш заряженный шар движется прямолинейно и равномерно. Так как силовые линии проходят в эфирной среде, то при движении они будут взаимодействовать с эфиром. Это взаимодействие двоякого рода: 1) силовые линии расположатся уж не радиально, а, главным образом, поперечно; последний эффект заметен только при очень больших скоростях, приближающихся к скорости света и об'ясняет знаменитое «сокращение электрона» и увеличение массы со скоростью, 2) появятся силовые линии магнитного поля, которые располагаются кругами, центры которых находятся на линии движения; это явление хорошо обнаруживается при помощи общеизвестного опыта с железными опилками вокруг тока, текущего по проводу.

Пусть, однако, наш шар движется не равномерно, а ускоренно, будучи приведен в движение внезапно.

Так как силовые линии—материальные образования и подчинены, как сказано, закону инерции, то произойдет следующее явление: в то время как ближайшая к шару часть силовых линий уже движется, более отдаленные будут по инерции продолжать оставаться в покое. И лишь постепенно движение пере-

дается вдоль всей силовой линии: получится волна. Обратное произойдет в случае внезапной остановки шара: отдельные части силовых линий будут останавливаться постепенно. Если теперь колебать шар взад и вперед, то вдоль силовых линий побегут волны, подобно тому, как они бегут вдоль длинной веревки или резиновой трубки при колебательном движении конца.

Так как при всяком движении электрической силовой линии образуются определенным образом расположенные магнитные силовые линии, то получаемое волновое движение будет **электромагнитным.**

Таким образом при всяком ускоренном движении заряженных тел получаются электромагнитные волны вдоль силовых линий, исходящих из этих тел.

Согласно Томсону обычная материя—корпускулярного строения, т.-е. состоит из положительно (ионов) и отрицательно (электронов) заряженных частиц (корпускул). Эти частицы связаны между собою электрическими силовыми линиями, проходящими по эфиру, наполняющему все мировое пространство, так что «тело» природы имеет «волокнистое» строение: волокна электрических силовых линий соединяют между собою все предметы природы [1]).

Нетрудно уразуметь, что теория Томсона—**квантовая теория по существу.**

Действительно, фарадеевская силовая линия (трубка), понимаемая не как математический символ, а физическое образование занимает определенное место в пространстве и, следовательно отделена от соседних. Теория электронов, как электрических атомов, вполне укрепляет это понимание силовой линии (трубки) Если, значит, энергия электромагнитного колебания покидает испускающий источник, то она, двигаясь вдоль силовой линии (трубки), всегда находится в определенном месте и если поглощается, то поглощается целиком.

Но теория Томсона не только теория квантовая, т.-е. теория прерывности, но вместе с тем и теория эфира, т.-е. непрерывности ибо силовые линии существуют только как физические образования в эфире. Милликэн говорит поэтому (стр. 176): «Хотя это представление, которое мы можем назвать теорией волокнистого эфира, сходно с корпускулярной теорией (теорией истечения. *З. Ц.*) в том, что энергия, покинувшая испускающее тело остается в определенном месте пространства и если поглощается то поглощается как целое, по существу оно есть эфирная теория»

3. Гипотеза Эйнштейна, дополняющая теорию излучения Томсона.

Квантовый характер теории излучения Томсона, в связи работами Планка по излучению черного тела, привел Эйнштейна (в 1905 г.) к мысли дополнить учение Томсона следующей гипо

---

[1]) Согласно Томсону, модель нейтрального атома состоит из положительн заряженной сферы, внутри которой находится известное количество электро нов (корпускул), совокупный заряд которых равен заряду сферы. Если у на имеются два, например, атома, и электрон одного из атомов перешел каким либо образом в сферу другого, то мы получаем «связанные» атомы. Подроб ности см. в главе 6 «Электричества и материи». В главе 7 («Материя эфир») Томсон выдвигает положение, что все тела природы электрическ связаны, сводя таким образом все силы природы (в том числе как будто тяго тение) к электрическим силам.

теории данный источник световых волн может испускать или поглощать энергию квантами, каждая из которых равна $h\nu$, где ν—собственная частота колебаний источника, а h—вышеупомянутая универсальная постоянная Планка.

На основании этой гипотезы Эйнштейн вывел известную формулу, рисующую процесс выделения электронов под действием света:

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - p;$$

здесь m — масса вылетающего электрона, v — скорость, с которой он вылетает из атома, следовательно $\frac{1}{2}mv^2$ — энергия вылетающего электрона, $h\nu$ — кванта энергии, поглощенная при действии света, p — работа, необходимая для вырывания электрона из металла, на который падает свет.

Смысл формулы Эйнштейна таков: энергия вылетающего электрона представляет собою разность между квантой поглощенной энергии и работой, преодолевающей действие электрических сил, удерживающих электрон в его обычном положении, т. е. кванта поглощенной энергии распадается на две части: первая часть идет на сообщение электрону определенной скорости, вторая на преодоление сопротивления электрических сил.

Экспериментальная проверка формулы Эйнштейна дала блестящее ее подтверждение. Милликэн говорит: «Десять лет работы (в Райерсоновской лаборатории и в других местах) над выбрасыванием электронов при помощи света показали, что уравнение Эйнштейна, повидимому, с точностью описывает наблюденные явления». «Если это уравнение справедливо вообще, то его несомненно нужно рассматривать, как одно из самых основных уравнений физики и при том такое, которому суждено сыграть в будущем едва ли менее значительную роль, чем та, какую уравнения Максвелла сыграли в прошлом, потому что оно должно управлять переходом всей электромагнитной энергии коротких волн в энергию тепловую».

4. Критика теории Томсона—Эйнштейна.

Теория Томсона—Эйнштейна представляет собою первое доказательство того, что теория квант непосредственно вытекает из электродинамики Максвелла. Действительно, теория эта, как и теория Максвелла, является только развитием основного Фарадеевского представления о силовых линиях электромагнитного поля и физической интерпретацией ур-ий Максвелла—Герца.

Кроме того, теория эта—теория истинно диалектическая и материалистическая—об'единяет прерывность с непрерывностью в наглядной, простой и отчетливой материалистической форме.

Этих двух обстоятельств вполне достаточно, чтобы теорию игнорировали.

Милликэн пишет: «Несмотря на только что представленные доводы в пользу ур-ий Эйнштейна, мы встречаемся здесь с необычайным положением. В самом деле, оказалось, что полукорпускулярная теория, из которой Эйнштейн получил свое ур-ие, повидимому, совершенно неприемлема, и, действительно, она оставлена почти всеми; впрочем, сэр Дж.-Дж. Томсон и немногие

другие, кажется, до сих пор держатся той или иной формы теории волокнистого эфира». Всякий, несколько знакомый с историей физики, не будет удивлен указываемым Милликэном обстоятельством.

Когда Фарадей подтвердил свои гениальные физические идеи гениальнейшими открытиями в области электромагнетизма, он этим не завоевал своим идеям минимального даже признания. Формалисты школы Ампера—Вебера, подобно современным формалистам из школы Маха—Авенариуса с тайным, а иногда и с явным презрением смотрели на «грубые материальные» силовые линии и трубки, порожденные плебейской фантазией переплетчика и лабораторного сторожа Фарадея. И даже тогда, когда Максвелл облек плебейское обнаженное тело Фарадеевских представлений в аристократические математические одежды, когда ур-ия Максвелла победили на всех фронтах вплоть до предсказания за несколько десятков лет существования электромагнитных волн и давления света, даже тогда Фарадеевское учение по мере возможности игнорируется: силовые линии это математические линии, а ур-ия Максвелла написаны при помощи удара большого пальца (Пуанкаре) чуть ли не самим господом богом (Больцманн).

Неудивительно поэтому, что теория Томсона—Эйнштейна игнорируется. Здесь, кстати, перед нами своеобразная ирония истории: в том же 1905 году Эйнштейн выступил со своей софистической теорией относительности. И, конечно, этот идеалистический софизм вознес Эйнштейна на вершину мировой славы, а подлинно физическая теория квант—в совершенном пренебрежении. Вот было бы удивительным для буржуазного мира, если бы по поводу теории волокнистого эфира столько же писали, говорили и болтали, сколько о пресловутых системах отсчета, «линейках», «часах» и прочих орудиях мистификации теории относительности!

Перейдем, однако, к критическим возражениям против теории Томсона—Эйнштейна.

Первое возражение в том, «что никто никогда не был в состоянии показать, что такая теория может предсказать какое-либо из явлений интерференции» (Милликэн).

Второе возражение заключается в некоем положительном доказательстве того, что эфир не имеет волокнистого строения. Это доказательство приводится у Милликэна: «Если статическое электрическое поле обладает волокнистым строением, как это постулируется любой формой теории волокнистого эфира, «так как каждая единица положительного электричества есть начало, а каждая единица отрицательного электричества есть конец Фарадеевской трубки» (Дж.-Дж. Томсон), то, следовательно, сила, действующая на единичный электрон между пластинами воздушного конденсатора, не может изменяться непрерывно с разностью потенциалов между пластинами. В опытах же с масляными каплями мы на самом деле изучаем поведение в таком электрическом поле единичного, изолированного электрона, и мы находим в очень широких пределах точную пропорциональность между силой поля и силой, действующей на электрон; последняя сила измеряется скоростью передвижения в воздухе масляной капли, на которой он сидит. Если мы будем поддерживать поле постоянным и изменять заряд капли, то зернистое строение электричества доказывается прерывными изменениями скорости. Если же

мы оставим заряд постоянным и будем изменять поле, то отсутствие прерывных изменений скорости опровергает представление о волокнистом строении поля, если только исключить предположение, что на электроне оканчивается громадное число таких волокон. Однако такая гипотеза лишает теорию волокнистого эфира всякого значения».

Третье, наконец, возражение состоит в том, что «довольно трудно представить себе вселенную в виде бесконечной паутины, нити которой никогда не спутываются и не рвутся, как бы быстро ни летали электрические заряды, к которым они привязаны» (Милликэн).

Чтобы покончить с первым из возражений, достаточно привести слова самого Милликэна:

«Никто еще не показал, что предположение Томсона можно примирить с явлениями интерференции, хотя, насколько я знаю, точно также до сих пор не была вполне доказана и их несовместимость».

Природа, как известно, не боится трудностей математического анализа, и то, что не удается сегодня, удастся завтра или послезавтра. Более того: Планк, автор той «мистической» теории квант, которая очень нравится Милликэну, определенно ведь говорит («Природа света»), что «темное пятно» этой теории в том, что она затрудняется об'яснить явления интерференции без нарушения законов сохранения энергии. Так что в этом пункте теория квант Планка не имеет никакого преимущества перед теорией Томсона—Эйнштейна.

Второе возражение Милликэна содержит в себе принципиальную ошибку. В самом деле, легко подсчитать [1]), что заряд Милликэновского конденсатора равен около 1.200 кулонов, т.-е. $3{,}6.10^{-12}$ электростатических единиц, в то время, как по опытам Милликэна заряд в электрон равен $4{,}7.10^{-10}$ электростатических единиц, т.-е. заряд конденсатора почти в 10^{22} раз больше заряда масляной капли, если предположить, что на ней один электрон. Сделаем теперь следующее поясняющее сравнение: масса земли $5{,}9.10^{24}$ килограмм, т.-е. находится в том же приблизительно отношении к килограмму, в каковом заряд конденсатора находится к электрону. Нетрудно, прибавив к килограмму еще один килограмм, обнаружить прерывность; но обнаружить прерывность «килограмма» прибавлением его к массе в $5{,}9.10^{24}$ килограмма—это пока находится за пределами наших технических средств. Но дело именно в том, что Милликэн, признавая возможным об'яснить неудачу опыта предположением о большом числе волокон, оканчивающихся на электроне, утверждает, что такое предположение лишает «теорию волокнистого эфира всякого значения».

Согласно Милликэну «электрон» не является тем, что обычно называют этим именем. Электрон Милликэна—это электрон Стонея, т.-е. определенный минимальный электрический заряд «без всякого указания на массу или инерцию, которая может быть с ним

[1]) Подсчет этот таков: емкость плоского конденсатора в 1 кв. метр поверхности и 10 см. промежутка равна, приблизительно, 1 микрофараду. У Милликэна диаметр латунных пластинок 22 см. (380 кв. см. поверхности), расстояние — 1,6 см., отсюда легко найти емкость Милликэновского конденсатора — приблизительно 0,24 микрофарада. Напряжение в опытах Милликэна 5.000 вольт, отсюда заряд $0{,}24 \times 5.000 = 1.200$ кулонов.

связана». Но если электрон понимать в смысле Лоренца, т.-е. разуметь под ним массу, равную, приблизительно, $\frac{1}{1800}$ массы водородного атома с зарядом в 4,7.10^{-10} электр. единиц, тот электрон, который обнаруживается опытом в атоме водорода, то на поверхности в 380 кв. см. Милликэновского конденсатора сосредоточено около 10^{22} силовых линий, если даже предположить, что из каждого электрона исходит по одной линии, что фактически и принципиально (диалектически) неверно, так как реальный электрон не является «границей» силовой нити, а определенным, хотя и чрезвычайно малым, телом.

Но по Милликэну заряд в электрон реален, но волокна теории Томсона толкуются не как некоторые «тончайшие» нити, соответствующие «электрону» в атоме водорода, т.-е. заряду в 4,7.10^{-10} единиц, на чрезвычайно малой массе ($\frac{1}{1800}$ массы атома водорода), а по буквальному смыслу формулы: каждой **единице** положительного и отрицательного электричества соответствует одно волокно, т.-е. волокна в толковании Милликэна—это «толстейшие» шнуры. Ясно, что Милликэн должен считать свой опыт опровержением волокнистого строения эфира. Но сам Милликэн признает, что предположение о громадном числе волокон в эфире об'ясняет неудачу опыта.

Вопрос о множественности силовых линий, исходящих из электрона, есть спорный вопрос о «делимости атома», вопрос о «суб'электроне». Только что опыт науки разбил в пух и прах старый неделимый метафизический атом. Несмотря на это, метафизики уже готовы об'явить электрон новой неделимой сущностью. Милликэн посвящает целую главу (8) доказательству того, что «вплоть до настоящего времени не найдено никаких указаний на существование суб'электрона». Речь идет о работах Эренгафта, которые, по справедливому замечанию редактора перевода книги Милликэна (С. Вавилова), «представлены в слишком шаржированном виде». Милликэн говорит о недопустимости «догматизма» в науке: «всякое догматическое утверждение относительно существования или несуществования суб'электрона не согласно с духом и методом современной науки». Да, действительно! После стольких ударов, полученных по метафизической башке, приходится поневоле быть добродетельным, так, как добродетелен больной табесом. Но добродетель в форме Милликэна, т.-е. позитивизм, не есть добродетель диалектического материализма. Диалектический материализм «догматически» отрицает «неделимость» электрона и «догматически» утверждает его «делимость», т.-е. существование суб'электрона, несмотря на то, что опыты Милликэна еще не показали этого.

«Если вчера,—говорит В. И. Ленин («Материализм и эмпириокритицизм», стр. 266),—это углубление (познания) не шло дальше атома, сегодня—дальше электрона и эфира, то **диалектический материализм настаивает на временном, относительном, приблизительном характере всех этих вех познания природы, прогрессирующей наукой человека. Электрон также неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна!**

Более того: диалектический материализм отвергает представление об электроне и волокне, как о каких-то изолированных от остального мира сущностях. Милликэн не в состоянии, например, понять, что все границы в природе условны, что т. н. зернистое строение электричества, или волокнистое эфира дают только некоторые относительные границы, т.-е. сочетают прерывность с непрерывностью. Возьмем, например, силовую трубку. Имеются основания полагать, что это не что иное, как вихревая трубка. А в теории прямого, цилиндрического, например, вихря наглядно видно, что хотя главное количество движения сосредоточено в центре, но вихрь не имеет границ, или иначе: его границы—в бесконечности.

Более того, с точки зрения вихревой теории, вихревое волокно (или нить) не является чем-то заранее навеки определенным. В том-то именно и преимущество вихревой теории, как указал В. Томсон, что она допускает бесконечное разнообразие вихрей. В зависимости от условий, на электроне или любом теле может начинаться или оканчиваться самое разнообразное число «элементарных» силовых линий. И Милликэн пытается выводить следствия из теории волокнистого эфира, отвергая предварительно основную сущность теории, изображая дело так, как будто число волокон заранее дано вне условий пространства и времени. Но если бы это было так, то мы, с точки зрения волокнистого эфира, вообще не могли бы увеличивать действия поля на данный неизмененный заряд, ибо действие это зависит от числа силовых линий, а с данным зарядом, в Милликэновском истолковании, может быть связано только определенное число волокон.

Таким образом сам факт возможности увеличивать действие поля на электрон является с точки зрения теории Фарадея—Томсона доказательством того, что на электроне может кончаться любое число силовых нитей, и Милликэн, отвергая эту возможность, очевидно, приводит теорию в противоречие с опытом, из которого она исходит. Перед нами очевидный софизм: отвергая следствие, полученное из посылок, доказывается противоречие посылок. Милликэн, критикуя теорию волокнистого эфира, не уяснил себе диалектического понимания физических моделей: природа бесконечно сложнее всякой модели, которая является лишь абстрактной схемой механизма физических сил.

Последнее возражение Милликэна не имеет большого значения. Нам не только «трудно себе представить» волокнистый эфир, но даже простой многоугольник с достаточным числом сторон. Строение любого развитого «организма» не менее «волокнисто», нежели волокнистое строение эфира. Мы увидим, однако, в дальнейшем, что мировой эфир не столь запутинен волокнами, как это вытекает из учения Томсона и, следовательно, последнее возражение отчасти отпадает само собой.

Опровергая возражения против теории Томсона, мы отнюдь не хотим утверждать, что теория эта нас вполне удовлетворяет. Некоторые особенности теории всегда заставляли нас сомневаться в ее абсолютной истинности. Прежде всего теория Томсона как-будто сводит все силы, в том числе и силу тяжести, к электрической силе. Последнее обстоятельство является возвращением к воззрениям Франклина—Эпинуса, воззрениям, к которым примыкают Моссоти, Цельнер, Вебер, Пирсон, Фэпль, наконец Лоренц

и Вин. Цениёв справедливо указывает, однако, что электрическая теория силы тяжести хотя не содержит в себе принципиально ничего невозможного, вызывает все же большие затруднения в смысле совпадения вычислений с опытом. Это—аргумент серьезный, но для нас большее значение имел всегда факт вторичности, так сказать, природы электрических сил. В нейтральном состоянии тела, обнаруживая вообще притяжение, не обнаруживают электрических сил. Электризация дает силы как притяжения, так и отталкивания, при чем силы эти зависят от того диэлектрика, который находится между взаимодействующими телами. Последнее обстоятельство как будто подчеркивает коренное отличие электрических сил от силы тяжести. Правда, некоторые ученые (Нейман, Зеелигер, Фэппль, Пирсон, Шустер) предложили ввести понятие масс отрицательной плотности, но такое введение вызывает необходимость гипотез (которые всегда казались нам искусственными) для об'яснения того факта, что наш опыт не обнаруживает нам отталкивающихся материальных тел.

Третий аргумент против теории Томсона заключается в следующем: мы знаем, что луч света это синоним прямолинейности. Отсюда вытекает, что силовые линии, вдоль которых распространяются, согласно Томсону, световые колебания, должны быть абсолютно прямолинейными, а это уже действительно очень трудно допустить, принимая во внимание бесконечное разнообразие форм тел природы. В нашем опыте прямолинейные силовые линии получаются только в глубине между пластинками плоского конденсатора, всякая другая форма заряженных тел дает искривленные силовые линии. С другой стороны опыт показывает, что форма окружающих тел совершенно не влияет на прямолинейность лучей света. Правда, в последнее время будто бы установлено искривление луча при прохождении около солнца, но это искривление об'ясняется громадной массой светила, а не его формой.

Решающее однако значение имели для нас два обстоятельства, а именно: 1) несоответствие учения Томсона той картине электромагнитного излучения, которую дает Г. Герц, 2) теория Бора.

5. Картина электромагнитного излучения по Г. Герцу.

Изучая в связи с радиотехникой теорию вибратора Герца, мы были поражены одним обстоятельством, именно той картиной излучения, которую дает вибратор Герца, рассматриваемый с точки зрения формул теории Максвелла. Вот 4 рисунка из статьи Герца: «Силы электрических колебаний с точки зрения теории Максвелла».

Рисунки показывают, что при колебании электричества в вибраторе от последнего отшнуровываются замкнутые электрические силовые линии, образующие в совокупности своеобразные кольцевые тела, окружающие вибратор и перпендикулярные к нему. Эти кольцевые тела связаны с вибратором при помощи колец магнитных силовых линий, проходящих внутри электрических тел.

Рис. 4 наглядно изображает эти системы двойных электромагнитных колец.

Рис. 3 (а) представляет начало нового колебания, момент, когда электрический ток, достигая наибольшей скорости, проходит

через положение равновесия. Рис. 3 (в) (с) (d) изображают положение силовых линий в моменты времени $\frac{1}{4}$ Т, $\frac{1}{2}$ Т и $\frac{3}{4}$ Т. Мы видим, как силовые линии сближаются концами, раздуваются и

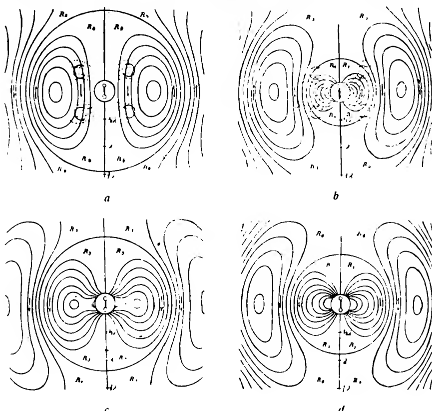


Рис. 3.

отталкивают преждеобразовавшиеся; в момент Т (рис. 3-а) они совершенно отрываются от вибратора.

Очень легко об'яснить причину этого отшнуровывания замкнутых силовых линий. Мы знаем, действительно, что излучение происходит обычно при очень быстрых колебаниях, получаемых при помощи «искрового», например, разряда. Какова, собственно говоря, роль искры? Это легко пояснить следующим сравнением: пусть у нас укрепленная за один конец растянутая рукой пружина. Колебания пружины произойдут лишь в том случае, если быстро отпустить свободный конец пружины. Точно также искровой промежуток служит как бы клапаном, мешающим прохождению тока. При достаточном напряжении образуется искровой разряд, равносильный внезапному отпу-

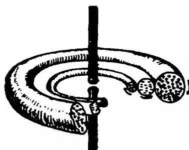


Рис. 4.

сании пружины. При таком разряде электроны очень быстро двигаются по проводу, переходят по инерции через положение равновесия, останавливаются, затем движутся в обратном направлении и т. д. Происходит ряд чрезвычайно быстрых колебаний. Но силовые линии, как сказано было выше, обладают инерцией. Поэтому при внезапном и быстром движении электрона он отрывается от силовой линии, подобно тому как при быстром дергании бечевки, привязанной к тяжелому телу, веревка обрывается, а тело остается неподвижным. Согласно известным законам вихревого движения, установленным Гельмгольцем, вихревая нить не может иметь начала и конца в жидкой среде, она обязательно образует замкнутую линию. Отсюда ясно, что концы разорванной силовой линии соединяются и образуют замкнутое целое (См. дальше: «Новая теория Томсона»).

Мы думаем, что не найдется ни одного читателя, который при виде этой картины не был бы поражен как молнией мыслью: световые кванты! Да, это так. Вибратор Герца излучает световые кванты большой длины волны. Истинными авторами квантовой природы излучения были Максвелл и Герц. И только бесконечная наглость буржуазных катехизаторов науки, их полное презрение к действительным ее интересам делает возможным тот факт, что на соседних страницах той же книги (см., например, Курс физики Хвольсона) помещаются формулы Максвелла, рисунки Герца и говорится о «мистической природе» квантового излучения.

Мы видим таким образом, что теория излучения Максвелла — Герца дополняет теорию электромагнитных колебаний Томсона новым возможным видом световых (электромагнитных) квант. Для получения световых (электромагнитных) лучей нет необходимости, чтобы через весь эфир были протянуты силовые волокна. Если у нас имеется, например, тонкий металлический стержень, в котором колеблется электричество, то от стрежня отшнуровываются кванты электромагнитной энергии, которые несутся в пространство со скоростью света. И без сомнения в природе существуют как «волны» Томсоновского типа, так и «волны» типа Герца. В радио мы, очевидно, имеем дело с последним типом. Но какова природа обычных световых или рентгеновских, например, лучей? Это без сомнения волна типа Герца. Об этом прежде всего свидетельствует то, что физика видит существенное отличие собственно электромагнитных (Герцевских) лучей от обычных световых, рентгеновских и т. п. лишь в длине волны. Но решающее доказательство нашей гипотезы мы усматриваем в теории Бора.

6. Теория Бора.

Теория эта появилась в 1913 году и носит на себе печать столь очевидной истины, что Милликэн прав, говоря: «Я не знаю ни одного соперника теории Бора, который бы показался хотя бы вдали».

В основе теории Бора лежат следующие две гипотезы:

1) Движение электронов вокруг ядра может происходить по определенным «устойчивым» орбитам, при чем, если m—масса электрона, v—его скорость, r—радиус орбиты, то

$$mvr = \frac{k}{2\pi} h,$$

где k — целое число, равное порядковому номеру орбиты, h — постоянная Планка.

2) Во время обращения электрона по таким орбитам электромагнитное излучение отсутствует; оно возникает только при перескоке электрона от одной орбиты на другую, при чем выделяется одна кванта лучистой энергии $h\nu$, где ν — число колебаний испускаемых «волн».

Первая часть последней гипотезы как будто противоречит теории Томсона и, как говорят, классической электродинамике, согласно которой электромагнитное излучение имеет место при всяком ускоренном, в том числе и круговом, движении электрона. В самом ли деле, однако, мы находимся перед нарушением основного положения электродинамики Максвелла? Ничего подобного! Теория Бора также противоречит электродинамике Максвелла, как добродетель парижского Ротшильда добродетели нью-йоркского Моргана. Чтобы понять это, рассмотрим следующую схему (рис. 5).

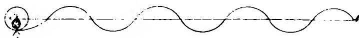


Рис. 5.

Здесь «Я» ядро, вокруг которого обращается электрон, линии «Я—Э» связывают электрон с ядром, линия «Э—В» обозначает связь с «внешним» миром; множественность линий «Я—Э» указывает на то, что силовое поле сосредоточено главным образом внутри атома. Пусть теперь ядро вращается по круговой орбите. При этом возникают двоякого рода «волны». Первого рода «волна» заключается в том, что ничтожные по длине силовые линии «Я—Э» просто перемещаются в пространстве вокруг ядра, подобно спице колеса вокруг втулки; второго рода «волны» это волны в обычном смысле слова, которые бегут вдоль силовых линий «Э—В» и, отразившись от их концов, образуют «стоячие волны». Собственно говоря мы в конце концов имеем две «группы» стоячих волн: левая состоит из вращающихся силовых линий, правая из волн в обычном смысле слова, т.-е. из колеблющихся частей силовых линий, не с одним «узлом» (ядро) и «пучностью» (электрон), а со многими. Если вместо силовых линий мы имеем дело с длинной каучуковой трубкой, укрепленной в точках «Я» и «В», то при вращении, очень близкой к точке «Я», точки «Э» получается та же самая картина. В последнем случае никто не говорит о нарушении каких-то законов физики, ибо все знают в чем дело. Но в случае электрических силовых линий существует возможность затемнить суть дела. А суть эта в том именно, что по теории Томсона центр тяжести образования волн перенесен на те силовые линии, кото-

рые связывают электрон с внешним миром[1]). Теория Бора доказывает, что это не так и простое соображение об'ясняет почему именно. Действительно, без всяких теоретических соображений очевидно из модели атома Бора, что подавляющее число силовых линий идет от электрона к ядру и лишь незначительное число их связывает электрон с внешним миром. Последнее обстоятельство хорошо гармонирует с электрической нейтральностью незаряженных тел. Ясно, значит, что при вращении электрона вокруг ядра получается лишь «внутренняя стоячая волна» в виде вращающихся силовых линий, внешние волны, очевидно, чрезвычайно слабы и не поддаются учету опыта, хотя, без сомнения, существуют.

Пусть теперь электрон выведен каким-либо образом (при помощи, например, пучка катодных лучей) из положения равновесия и переброшен на одну из соседних орбит. Такой переход электрона нарушает равновесие всей атомной системы. Равновесие это восстанавливается после возвращения электрона на устойчивую орбиту. Нетрудно представить себе, что это возвращение происходит после целого ряда колебаний электрона около положения равновесия. Колебание это происходит в общем по направлению силовых линий и, следовательно, тождественно с колебаниями в вибраторе Герца. Оно сопровождается поэтому излучением электромагнитных квант.

Если, теперь, электрон до своего установления в новое положение равновесия совершил ν колебаний, а при каждом таком колебании получилась система электромагнитных колец, совокупная энергии которых h, то при переходе от новой орбиты к старой получилось общее излучение, равное $h\nu$. Это и есть знаменитый закон Планка—Эйнштейна—Бора.

Из него чисто математическим путем [2]) легко вывести первую гипотезу Бора $mvr = \frac{k}{2\pi} h$.

Отметим одну особенность постоянной Планка, особенность, хорошо выясняющую природу этой постоянной.

Постоянная эта меньше величины заряда. Почему? А потому, что при колебании заряда от него отшнуровывается только часть силовых линий, образующих заряд, именно та часть, которая указывается постоянной h.

---

[1]) Причина такой точки зрения ясна из вышеуказанной модели атома Томсона и характера устанавливаемой им «электрической связи». Согласно модели Томсона, «электрическая силовая» линия образуется во «внешнем» мире вследствие выхода электрона из положительно заряженной сферы. Наш чертеж, воспроизводящий модель Бора, ясно указывает на различие: в модели Бора силовые линии сосредоточены внутри атома, во внешнем мире проходит некоторое незначительное число их; в модели же Томсона если внутри сферы был один, например, электрон и он вышел из сферы наружу, то внутри сферы поле равно нулю.

[2]) Вывод этот таков: согласно закону Гюйгенса, центростремительная сила электрона массы m, движущегося со скоростью v по круговой орбите радиуса r равна $m\frac{v^2}{r}$

согласно закону Кулона, если заряд ядра E, а заряд электрона e, сила эта равна $\frac{Ee}{r^2}$;

Если допустить, что h соответствует одной группе силовых линий, то легко подсчитать, сколько таких групп соответствуют заряду электрона.
Число силовых линий равно

$$N = \frac{e}{h};$$

по Милликэну $e = 4{,}774.10^{-10}$, $h = 6{,}547.10^{-27}$, следовательно,
$N = \frac{4{,}774.10^{-10}}{6{,}547.10^{-27}} =$ приблизительно 73.10^{15}.

Замечательно то, что величина $\frac{e}{h}$ непосредственно определяется на опыте. В книге Милликэна на стр. 180 читатель найдет прямую, полученную при проверке ур-ия Эйнштейна. Наклон этой прямой в точности равен $\frac{e}{h}$; зная этот наклон, т.-е. $\frac{e}{h}$ и величину e, определяют h. Этим же путем была найдена величина $h = 6{,}26.10^{-27}$ и доказано появление постоянной h Планка (выведенной последним из законов излучения черного тела) в фотоэлектрическом эффекте, т.-е. сделан крупнейший шаг в квантовой теории света.

7. Д. А. Гольдгаммер о квантах света.

Вышеизложенное об'яснение природы световых квант не является нашим единоличным изобретением. Насколько нам известно, к такому же выводу пришли два выдающихся физика П. Ленард и Д. А. Гольдгаммер. О Ленарде мы узнали из речи Гольдгаммера, произнесенной в 1914 году на 1-ом Всероссийском с'езде преподавателей физики, химии и космографии в С.-Петербурге (см. XV том «Физического Обозрения»: «Теория квант и лучистая энергия»).

В разделе: «Откуда берутся кванты энергии» Д. А. Гольдгаммер пишет: «Еще H. Hertz около четверти века тому

следовательно, $\frac{Ee}{r^2}$ равняется $m\frac{v^2}{r}$, откуда кинетическая энергия электрона $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{Ee}{2r}$. Предположим теперь, что электрон, находясь на бесконечно большом расстоянии, перешел на орбиту r. Обозначим через P_1 потенциальную энергию электрона на бесконечном расстоянии; через P_2 на расстоянии r; при переходе из бесконечности на орбиту r электрические силы совершили работу, равную потенциалу на расстоянии r, т.-е. $\frac{Ee}{r}$, так что $P_2 = P_1 - \frac{Ee}{r}$ или $\frac{Ee}{r} = P_1 - P_2$. Следовательно, $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{Ee}{2r} = \frac{1}{2}(P_1 - P_2)$, т.-е. при переходе электрона из бесконечности на орбиту r его кинетическая энергия равна половине потенциальной энергии, потерянной при этом переходе. Вторая половина потерянной потенциальной энергии пошла очевидно на излучение. Так как излучение при каждом переходе на орбиту равно $h.\nu$ следовательно, $h\nu = \frac{1}{2}(P_1 - P_2) = \frac{1}{2}mv^2$, т.-е. $mv^2 = 2h\nu$, если обозначить угловую скорость (число оборотов в секунду) через n, то $v = 2\pi nr$ и, следовательно, $2\pi mvnr = 2\nu h$ или $mvr = \frac{2\nu}{2\pi n}h = \frac{k}{2\pi}h$. Остается, конечно, вопрос о том, почему $k = \frac{2\nu}{n}$ целое число; вопрос этот, правда, сложный, но принципиально ясный, той же, именно, природы, что и вопрос об устойчивости планетной системы, вопрос, разработанный Палласом в «Небесной Механике».

назад показал, что излучение электромагнитных волн идет очень своеобразно, хотя на эту своеобразность очень долго не обращали внимания, да и сейчас, повидимому, ею интересуются мало. Обратил внимание на эту своеобразность и поставил в связь с теорией квант совсем недавно P. Lenard».

Приведя рисунки, аналогичные рисункам Герца, выполненные Hack'ом для очень вытянутого эллипсоида вращения, Гольдгаммер говорит: «Что же дают нам эти чертежи, выполненные согласно теории электрических колебаний F. Hack'ом? Да ведь они показывают, что излучение электромагнитной энергии со стержня идет не непрерывно, а скачками, что эта потеря энергии наступает лишь тогда, когда оторвется хотя бы одна силовая линия, которая при том соответствует конечному количеству энергии. Может возникнуть однако вопрос, почему—конечное? Ведь в классическом учении об электричестве силовая линия есть линия, и соответствующая ей энергия бесконечно мала. Да, это верно, но неверна классическая теория [1]), ибо электричество само неделимо до бесконечности [2]), а слагается из электрических квант: отрицательное из электронов, а положительное из ионных же зарядов, каковы они у электронов, но зарядов положительных. И потеря энергии при излучении сводится к тому, что по крайней мере один «свободный» электрон соединяется с положительным атомом и нейтрализуется—это и соответствует отрыванию одной или группы силовых линий, связывавших электрон с атомом. И электрон нейтрализует свой заряд, очевидно, целиком, а не частями, а заряд его хотя и мал, но конечен! Итак, процесс электромагнитного излучения идет не непрерывно, а ведь это и является одним из подтверждений теории квант».

Гольдгаммер вычисляет значение кванты излучения для случая колебания в металлическом шаре (рис. 6) и получает величину $H\nu$, где H зависит от формы излучающего проводника и начального заряда. Гольдгаммер заключает: «Таким образом форма и строение моллекулярных (атомных) вибраторов, вероятно, обусловливает собою и величину h, а одинаковость этого строения у всех тел об'яснит и универсальность h. Потеря энергии квантами при электромагнитном излучении оказывается, как

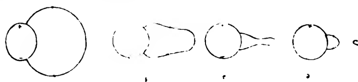


Рис. 6.

[1]) Это место представляет собой недоразумение, ибо основатель классической теории Фарадей и его ученик Максвелл всегда разумели под силовой линией нечто физическое, т.-е. конечное, а не математическую фикцию. Здесь верно лишь то, что толкователи классической теории старались и стараются до сих пор физическое учение Фарадея—Максвелла превратить в чисто математическое. Весь смысл нашей статьи в том, чтоб показать это искажение.

[2]) Гольдгаммер обнаруживает в этой фразе непонимание диалектики познания. Но это не лишает его рассуждения общей (временной) правильности.

мы видим, простым следствием электронной структуры электричества. При этом и вся электрическая энергия заряженного тела всегда пропорциональна p^2, где p есть целое число (p—число электронов или, что то же, элементарных силовых трубок. *З. Ц.*), т.-е. энергия может быть или a, или $4a$, или $9a$, или $16a$ и т. д. Она слагается из целого числа своего рода квант».

8. Новая теория Дж.-Дж. Томсона.

После появления теории Бора, мы были твердо убеждены в том, что сам Дж.-Дж. Томсон согласует свою теорию с выводами теории Бора, т.-е. даст в той или другой форме выше развитый нами синтез. Наши ожидания не оказались напрасными. В октябре 1924 г. в журнале «Philosophical Magazine» появилась, наконец, работа Томсона: «A Suggestion as to the structure of Light», в которой автор развивает взгляды, хотя несколько отличные в частностях, но в основном аналогичные вышеуказанным.

Томсон прежде всего отмечает, что с одной стороны оптические свойства света с большим совершенством подтверждают гипотезу волновой природы света; с другой стороны, электрические свойства как будто показывают, что энергия сконцентрирована повсюду в дискретных центрах и что фронт волны, вместо того, чтобы быть однообразно освещенным, представляет собой ряд широких пятен на темной основе. Иначе говоря, электрические свойства света указывают на корпускулярное, согласно Ньютону, строение света, в то время, как оптические—на непрерывно волновое.

Томсон указывает далее, что он давно уже предложил теорию, базирующуюся на понятии электрических силовых трубок, которая, по его мнению, пригодна для примирения (синтеза) оптики и электричества.

Мы видели выше, что это действительно так, что теория волокнистого эфира Томсона представляет собою синтез волновой и квантовой теорий излучения. Новая теория Томсона посвящена согласованию его старых воззрений с теорией Бора. Томсон рисует прежде всего картину образования электромагнитного кольца, не упоминая, однако, почему-то о том, что картина эта по существу соответствует картине, данной Г. Герцем в его теории вибратора. Картина Томсона такова. Пусть у нас имеется силовая линия PE (рис. 7-а), соединяющая ядро P с электроном E; пусть вследствие полученного толчка электрон занял положение E (рис. 7-в); новое положение электрона вызывает следующие процессы: а) конец силовой трубки с электроном E притягивается противоположной точкой E, вследствие чего образуется кольцевая петля (рис. 7-с; б) кольцевая петля отталкивается от укороченной силовой трубки PE, отрывается от нее, образуя электромагнитное кольцо, движущееся со скоростью света.

Пусть теперь, наоборот, подобного рода кольца движутся по направлению к силовой трубке PE (рис. 8). Здесь возможны 3 случая: 1) энергия кольца достаточна для разрыва трубки: в этом случае выделяется электрон, согласно вышеуказанному закону Эйнштейна; кванта энергии кольца идет на сообщение ко-

первых, оторванному электрону некоторой кинетической энергии ($\frac{1}{2}mv^2$), а, во-вторых, на работу разрыва силовой трубки (p);

2) второй случай тот, когда энергия кольца недостаточна для разрыва силовой трубки, но достаточна для приведения электрона в другое положение равновесия, т.-е. на другую возможную орбиту. В этом случае происходит следующее: пусть у нас имеется один электрон во втором, считая снаружи, слое электронов, окружающих атомное ядро; первый слой электронов будет находиться в состоянии равновесия до тех пор, пока энергия разрушившегося кольца (см. схему процесса разрушения кольца на рис. 8) не перебросит электрона со второго слоя на первый; раз-

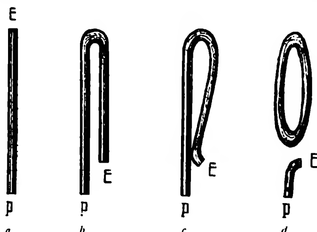


Рис. 7.

рушение кольца и переброска электрона на новую орбиту означает поглощение (абсорбцию) энергии; при таком поглощении нарушается равновесие второго слоя и через некоторое время электрон падает на свою старую орбиту, при чем происходит характеристическое излучение согласно схеме, указанной на рис. 7.

3) Если энергия кольца недостаточна для приведения электрона на новую орбиту, то хотя поглощение кольца отбрасывает электрон от ядра (P), но действующие силы скоро останавливают электрон, движение делается обратным, кольцо восстанавливается и вырывается из молекулы, о которую оно ударило. В этом случае нет поглощения. Таким образом, смерть кольца рождает или большой скорости электрон, или характеристическое излучение.

Томсон подчеркивает, что теория кольца находится в согласии с результатами, полученными Barkla, а именно: если лучи Рентгена полностью поглощаются газом без эмиссии характеристических лучей, то число электронов большой скорости не зависит ни от рода газа, ни от его физического состояния.

Теория излучения Томсона, как видим, по существу построена на том же основании, что и вышеуказанная. Томсон дает, однако, иное об'яснение постоянной h и числу колебаний ν, т.-е. происхождению электромагнитных волн. Согласно Томсону, бол-

ны порождаются не колебаниями электрона, как мы это предположили, а колебаниями кольца. В тот короткий промежуток времени, пока кольцо находится еще внутри атома и не выброшено еще наружу, внутриатомное электрическое поле быстро меняется. Это изменение поля вызывает колебания кольца, а последние порождают электромагнитные волны, излучаемые наружу. Частота этих волн та же, что и частота колебаний кольца. Передвигающееся кольцо, по Томсону, также окружено системой электромагнитных волн, тождественных с теми, которые излучаются извнутри атома.

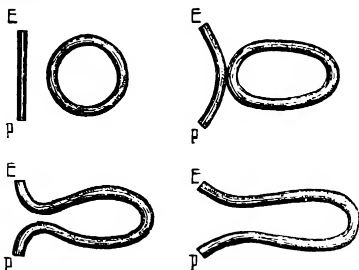


Рис. 8.

Энергия этих волн мала сравнительно с энергией кольца, так как совокупная потеря энергии в атоме приблизительно равна разнице между потенциальной энергией электрона в положении E и E^1 (см. рис. 7).

На основании этого воззрения Томсон дает об'яснение явлений интерференции, диффракции, поглощения и резонанса. Мы не будем на этом останавливаться, не будем также критически сравнивать теорию Томсона с теорией вибратора, так как все это выходит за пределы нашей темы. Обратим только внимание читателей на замечательное Томсоновское вычисление постоянной Планка.

Вычисление это очень просто. Из теории электричества известно, что энергия силовой трубки равна:

$$E = 2\pi \times f^2 \times \text{(об'ем трубки)},$$

где f — так назыв. диэлектрическое смещение или, по Томсону, «поляризация». Смысл понятия «поляризация», введенного Томсоном[1]), таков: «пусть A и B две соседних точки диэлектрика, пусть плоскость, площадь которой равна единице, расположена перпендикулярно к линии, соединяющей точки A и B; тогда поляризация по направлению AB равна разности между числами

[1]) См. «Recent Researches in Electricity and Magnetism», изд. 1895, стр. 6.

фарадеевских силовых трубок, проходящих через единицу площади от А к В и от В к А». В нашем случае поляризация выражает просто число силовых трубок, проходящих через единицу площади поперечного сечения силовой трубки, соединяющей ядро с электроном (см. рис. 7).

Обозначим эту площадь через ω; тогда $f \times \omega = p \times e$, где p—число равное или меньшее единицы в зависимости от того, все ли силовые линии сосредоточены в поперечном сечении ω, e—заряд. Действительно, согласно основному положению теории силовых трубок, каждая единица положительного электричества связана трубкой с каждой единицей отрицательного электричества. Следовательно, общее число таких единичных трубок будет равно e, т.-е. числу единичных зарядов. Отсюда ясен смысл вышеприведенного уравнения. Если ω означает поперечное сечение кольца, то, обозначив через r — радиус кольца, а через b—радиус сечения, получим:

$$E = 2\pi x f^2 \times (\text{об'ем кольца}) = 2\pi \left(\frac{pe}{\omega}\right)^2 . 2\pi r . \omega = 4\pi^2 p^2 e^2 . \frac{r}{\omega} =$$

$$= 8\pi^2 p^2 e^2 \frac{r^2}{b^2} \cdot \frac{1}{2\pi r} \cdot$$

Если кольца подобны, то $\frac{r}{b}$ = постоянной; частота волн та же, что и частота колебаний кольца; в геометрически подобных кольцах длина волны пропорциональна длине кольца ($2\pi r$), следовательно из указанного уравнения энергии вытекает, что энергия обратно пропорциональна длине волны. Это и есть закон Планка: $E = h\nu$, ибо ν частота колебаний, как известно, обратно пропорциональна длине волны.

Томсон предполагает далее, что период колебания кольца равен времени, которое употребляет свет для прохождения окружности кольца, т.-е. $T = \frac{2\pi r}{c}$, где c скорость света. Частота $\left(\frac{1}{T}\right)$

$$\nu = \frac{c}{2\pi r} . \text{ Следовательно: } E = 8\pi^2 p^2 e^2 . \frac{r^2}{b^2} \cdot \frac{\nu}{c}$$

e—заряд электрона равен $4{,}8 . 10^{-10}$

c—скорость света, равна $3 . 10^{10}$

$$E = 6{,}2 . 10^{-20} \frac{p^2 r^2}{b^2} \nu$$

Если положить $\frac{p^2 r^2}{b^2} = \pi$, то $E = h\nu$, где h будет с очень большой степенью приближения равняться постоянной Планка, т.-е. $6{,}55.10^{-27}$.

Самое замечательное в этом выводе то, что $\frac{p^2 r^2}{b^2}$ оказалось равным числу π. Если считать, что все силовые линии кольца проходят через поперечное сечение, обозначенное нами через ω, иначе говоря, если считать, что имеем дело с действительным кольцом строго геометрической фигуры, то p необходимо положить равным единице. Тогда $\frac{r^2}{b^2} = \pi$ и мы получим следующее замечательное предложение:

силовое кольцо, играющее основную роль в лучистых процессах, таково, что отношение площади кольца к площади его поперечного сечения в точности равно числу π.

Всякий человек, хоть несколько склонный к философскому размышлению, не может не поразиться таким результатом. Число π играет основную роль в геометрии и постольку, поскольку геометрия связана с физикой, и в физике. Случайно ли это число характеризует природу реальных силовых колец? Если не случайно, то вывод отсюда может быть один: вышеизложенная теория квантового излучения несомненно истинна. Здесь перед нами поразительный образец диалектического развития науки. Вообразим, что какой-либо мощный ум разработал бы теорию излучения на основе теории вихрей (из следующего § мы увидим, что электромагнитные силовые кольца не что иное, как вихревые образования в эфире). Положив отношение $\frac{r^2}{b^2}$ равным π и пользуясь опытной величиной e, он получил бы **теоретически** постоянную Планка[1]). Факт этот доказывает тесную связь геометрии с физикой, точнее Евклидову природу нашего пространства, ибо теория вихрей есть физика Евклидова пространства.

В заключение своей статьи Томсон пишет: «С изложенной нами точки зрения появление кольца обусловлено деформацией электрических силовых трубок при быстром изменении потенциальной энергии. Возможно, однако, вообразить электрические волны без кольца; так, если электрон движется с постоянной скоростью по окружности, в центре которой имеется положительный заряд, появляются электрические волны, частота которых равна частоте обращения электрона, но волны эти не сопровождаются кольцом».

Отрывок этот замечателен в том отношении, что Томсон силой фактов самой науки пришел к диалектической точке зрения. Он отвергает абсолютные формулировки. Законы электродинамики не нарушаются, но приложение их необходимо рассматривать во всей конкретности. Мы видели выше, как об'ясняется факт незначительного внешнего излучения при движении реального электрона по орбите. Метафизики поспешили об'явить о полном отсутствии всякого излучения, о нарушении законов электродинамики. Томсон, не соглашаясь с этим утверждением, остался на старой точке зрения, дополнив ее, однако, новыми соображениями применительно к конкретной обстановке.

9. Теория квант и классическая механика.

Особенно яркий свет бросает на все вышеизложенное связь теории квант с классической механикой, точнее, с гидродинамической теорией вихрей. В 1858 году появилась работа Гельмгольца: «Об интегралах уравнений гидродинамики, соответствующих вихревым движениям».

Этим было положено начало научному развитию вихревой теории материи, сущность которой нами подробно освещена на

[1]) Вильям Томсон очень близко подходил к вопросу, изучая колебания вихревого кольца (см. статью В. Томсона, «П. З. М.» № 10—11 за 1924 г.).

страницах этого журнала. Так как наше освещение не носило популярного характера, то мы еще раз изложим здесь вкратце смысл этого замечательного учения.

Представим себе, что у нас на столе стоит ящик цилиндрической формы (см. рис. 9), внутренняя стенка которого сделана из холста. Ящик разделен перегородками на ряд отделений, при чем каждому отделению соответствует небольшое отверстие на внешней поверхности ящика. Пусть отделения наши наполнены дымом. Если теперь одновременно ударят по задним стенкам каждого из отделений, то из отверстий ящика будут вылетать замкнутые вихревые кольца воздуха, видимые благодаря дыму. Перед нами нечто аналогичное вибратору Герца или, — лучше – нечто аналогичное тому, что рисует Томсон в своей теории излучения. Основное свойство вихревых колец воздуха то же, что и свойство электрических и магнитных силовых линий, а именно: вихревая нить, образующая кольца воздуха, отличается инерцией и упругостью подобно электрической и магнитной силовой линии. Вот почему при растяжении или сжатии кольца стремятся вернуться к первоначальной форме; сталкиваясь между собой, кольца отскакивают подобно резиновым шарам и дрожат (колеблются), как дрожит упругое твердое тело от удара.

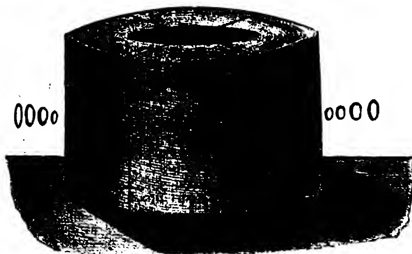


Рис. 9.

Вообразим теперь, что все мировое пространство наполнено однородной, несжимаемою, без трения жидкостью. В этой жидкости существует бесчисленное множество вихревых колец, единичных или сплетенных друг с другом тем или иным способом.

Вихри взаимодействуют друг с другом, притягиваясь или отталкиваясь, в зависимости от их характера, движения как их самих, так и окружающей жидкости. Возможны также и вторичные вихревые образования в первоначальной вихревой среде. Словом, согласно этой вихревой теории, отчетливо формулированной В. Томсоном в 1867 году, все физические силы являются следствием вихревых движений. Но В. Томсон, разрабатывая

теорию вихрей, впал в обычную метафизическую ошибку. Он именно предположил, что реальные атомы представляют собою системы первичных вихревых колец. На самом же деле вихревые нити необходимо рассматривать, как модели физических сил, т.-е. как детали механизма природы. Действительность бесконечно сложнее такой модели. Но значение модели в том, что она дает нам чрезвычайно важные руководящие указания. Так, несмотря на то, что В. Томсон ошибся, полагая, что вихревые кольца непосредственно являются реальными физико-химическими атомами, его теория колебания вихревого кольца нашла свое приложение в косвенной форме: как мы видели из теории Дж.-Дж. Томсона, излучение действительно вызывается колебаниями колец, но эти кольца не являются атомами, а порождаются атомами, вследствие движения электронов.

Другое руководящее значение вихревой теории материи заключается в следующем:

Ньютон из закона падения тел Галилея построил модель материи, как состоящей из совершенно однородных (первичных, по Томсону—ультрамировых) атомов. Но было бы ошибкой считать химические атомы или электроны физики первичными. Атом и электрон бесконечно сложны, и человек познает эту сложность лишь постепенно. Тем не менее закон падения тел Галилея доказывает, что материя по существу действительно однородна. Гольдгаммер справедливо поэтому обосновывает конечную однородность строения материи постоянной Планка. С точки зрения вихревой теории эта однородность сводится к ультрамировым вихревым образованиям. Каков же смысл постоянной Планка с точки зрения этой теории? Мы видели выше, что как в теории, исходящей от вибратора Герца, так и в теории Томсона постоянная Планка представляет собой энергию электрической силовой трубки, умноженной на некоторый коэфициент: в теории вибратора коэффициент этот равен единице, т.-е. h это энергия, соответствующая группе силовых трубок, образующихся в результате одного колебания около положения равновесия электрона; в теории Томсона это энергия силовой трубки, деленная на частоту ($h = \frac{E}{\nu}$). Но что такое электрическая силовая трубка? Максвелл не без основания полагал, что это не что иное, как вихревое образование. Изучая теорию вихрей, нельзя не поразиться аналогией, существующей между формулами этой теории и формулами электромагнитной теории Максвелла. Одна из замечательных глав трактата Максвелла («Электричество и магнетизм»), связанная с электромагнитной теорией света, глава, именно посвященная выяснению действия магнитов на свет, базируется на теории молекулярных вихрей. Максвелл ссылается на работы по теории вихрей Томсона, Ранкина и Гельмгольца. Математический анализ вопроса (§ 822) исходит из формул теории Гельмгольца.

Глава заключается следующими словами (§ 831): «Следующие результаты теории, как мне кажется, имеют величайшее значение:

1. Магнитная сила—действие центробежных сил вихрей.

2. Электромагнитная индукция токов — эффект сил появляющихся при изменении скорости вихрей».

Остальные два пункта касаются электродвижущей силы и электрического смещения.

В своем очерке, посвященном значению теории вихрей («П. & М.», № 10—11 за 1924 г.), мы подробно выяснили связь этой теории с учением об электромагнитных явлениях. Теория квантового излучения и теория Бора блестяще подтверждают общую правильность наших воззрений на значение теории вихрей. Гольдгаммер справедливо замечает в «Итогах науки», что «нельзя не согласиться с Максвеллом, возлагавшим на теорию вихрей громадные надежды, что понять молекулу и атом можно лишь, как вихрь, или, говоря вообще, лишь как часть некоторой среды, отличающейся от остальной среды своим состоянием движения».

Диалектический подход к вопросу, именно правильное понимание значения физической модели, мы уже отметили выше. Подчеркнем еще раз, что теория вихрей не что иное, как учение о «деталях» механизма природы. Природа бесконечно сложна, но ее сложные детали—это непрерывная материя в движении как поступательном, так и вращательном, в частности вихревом. Неудивительно поэтому, что теория вихрей одерживает все большие и большие победы на фронте физики.

10. Электромагнитная теория света и опыт Майкельсона.

В заключение коснемся одного интересного, хотя и выходящего за предел нашей темы вопроса, об отношении вышеизложенной теории к опыту Майкельсона.

В нашей статье о «теории относительности» мы указали, что неудача опыта Майкельсона является благоприятным аргументом в пользу физики, как науки о всеобщем движении материи. Несколько неудачно сформулированный нами тезис вызвал критику со стороны А. К. Тимирязева. Пользуемся случаем, чтобы как следует осветить вопрос.

Станем прежде всего на точку зрения первоначальной теории Томсона. Если световые колебания распространяются вдоль силовых линий, связывающих источник колебаний с внешними предметами, то очевидно, что опыт Майкельсона должен дать отрицательный ответ, так как силовые линии участвуют в движении лаборатории, в которой производится опыт (ср. со звуком, распространяющимся в воздушной оболочке земли).

Точно так же, если свет—это кванты Герца, то, будучи в конечном счете материальными образованиями той же природы, как и обычные материальные тела, они должны подчиняться установленному в механике принципу относительности движения.

Этот принцип установлен Ньютоном на основании опыта Галилея, опыта, утверждающего конечную однородность материи. Эта однородность, повидимому, обусловлена вихревой природой материи и постольку, поскольку свет—явление той же природы, и должен подчиняться тому же закону. Опыт Майкельсона с точки зрения теории квант может быть об'яснен еще так: опыт производился в «материальной атмосфере» (земля, вещество приборов, воздух), пронизанной силовыми линиями, которые представляют собою эфирные образования, не имеющие «определенных» границ (что ясно из вихревой теории), т.-е. существование этих линий связано с определенными движениями эфира вокруг этих

линий. Иначе говоря, земля имеет определенную «эфирную оболочку». Отсюда ясно, что световые кванты, распространяясь в этой оболочке, должны подчиняться принципу относительности. Возможно также, что удаление воздуха из лаборатории или производство его на высоте [1]) должно влиять на результат опыта.

Здесь необходимо отметить характерную метафизическую ошибку, которая имеет место в рассмотрении опытов, связанных с теорией относительности. Смешивают в одну кучу опыты аберрации и спектроскопического смещения двойных звезд с опытами Физо и Майкельсона. Первые два опыта совершенно иного, однако, характера (свет приходит от весьма отдаленных от земли тел), чем два последних (свет получается от земных источников и распространяется всецело в земной «атмосфере»). Можно показать, что разбор упомянутых опытов в их конкретности может примирить допущенную в теории Лоренца независимость скорости света от движения источников с результатами опытов Физо—Майкельсона; этим путем можно избежать несколько искусственных сокращений «длин и времен», принятых в теории относительности.

Таким образом диалектика отрицает всякие догматические утверждения, касающиеся опыта, и требует рассмотрения предмета в его конкретности.

С этой точки зрения т. Тимирязев вполне прав. Но мы сформулировали наш тезис об опыте Майкельсона только в смысле наибольшей вероятности.

11. Выводы.

Итак, мы ответили на все основные вопросы, поставленные академиком Хвольсоном. Не знаем, насколько вразумительным покажется наш ответ проф. Хвольсону, но всякий читатель, действительно заинтересованный в прогрессе науки, не сможет не оценить величайшего научного значения физической интерпретации теории квант. Эта интерпретация требует еще разработки. Недаром Томсон назвал свою работу «наброском (A Suggestion—намек). Теория вихрей представляет большие математические трудности и полное ее проведение в физику требует крупных математических сил. Но ведь и идеи Фарадея были с точки зрения современной научной формы лишь наброском физической теории; они нашли, однако, Максвелла, который выразил их в строго научной математической форме. Физическая теория квант, надеемся, также дождется своего Максвелла, который намечающийся сейчас физический эскиз превратит в мощную строго математическую физическую картину.

Цель нашей статьи в том, чтобы направить внимание совершенно нового, невиданного в мире поколения ученых, формирующегося сейчас в наших ВУЗ'ах из недр рабоче-крестьянских масс по правильному руслу. К сожалению, наши учебные заведения и издательства переполнены лицами, которые едва ли могут и даже хотят обучать молодежь подлинному знанию. Общераспространено убеждение, что если общественные науки носят классовый характер, то зато «чистое» естествознание, особенно физика,

---

[1]) См. опыты Дейтон-Миллера, о которых говорит А. К. Тимирязев («П. З. М.» № 8—9 за 1924 г.).

[illegible]ины. Вот почему у нас возможны такие факты, как издание Государственным Издательством вышеупомянутой книги Хвольсона и других подобных без единого редакционного примечания, уясняющего то ложное и искажающее (а такового не мало), которое содержится в таких книгах. Мы не говорим, что не следует печатать, напр., работ, подобных работе Хвольсона. Пролетариат еще слишком беден для того, чтобы пренебрегать такой интеллектуальной силой, как Хвольсон. Но эту силу надо умело использовать, подобно тому, как человек использовывает враждебные ему силы природы:

К сожалению, этого нет, и головы рабоче-крестьянской молодежи забиваются и отравляются мистическим хламом под видом последних выводов современной науки». Признаемся откровенно, что немалую отрицательную роль играет здесь пресловутая теория относительности Эйнштейна. Мы с известных точек зрения защищали эту теорию, но ее формализм и специфический характер, обусловленный историей ее возникновения, представляет большую схоластико-идеалистическую опасность. Вот почему т. Тимирязев в известном смысле прав, утверждая, что теория Эйнштейна направлена (едва ли руками самого Эйнштейна, как говорит т. Тимирязев, а скорее руками учеников и последователей) к тому, чтобы «вытравить из физики все последствия революционного переворота, начатого Фарадеем, Максвеллом и заменить физику математически-махистским описанием». К счастью, мир есть диалектическое движение. И подобно тому, как формализм эпохи Ньютона—Ампера—Вебера имел свое определенное положительное значение, формализм Эйнштейна сыграет свою положительную роль. Тем более, что сам Эйнштейн (и это признает т. Тимирязев, говоря в «Кинетической теории материи» о Броуновском движении) умеет, как мы это видели из его теории волокнистого эфира, становиться на точку зрения Фарадея—Максвелла. Эйнштейн все время эволюционирует и эволюционирует в направлении материализма, так что по закону диалектики он может вернуться к исходной точке зрения школы Фарадея—Максвелла, но вернуться обогащенным. Быть может, этот мыслитель еще даст нам подлинную физическую теорию квант, разработку которой он начал одновременно со схоластическим специальным принципом относительности.

Наследственность и отбор у человека[1].

(По поводу теоретических предпосылок евгеники).

Вас. Слепков.

Евгенику, прикладную науку об улучшении человеческого рода, один из пионеров и виднейших пропагандистов российского евгенического движения проф. Филипченко определяет как «дисциплину, изучающую те влияния, которыми могут быть улучшены врожденные качества будущих поколений человечества» [2]. «Ее (евгенику. *В. С.*) не только главный, но и единственный об'ект есть человек». Уж это одно определение сущности и об'ема евгеники указывает на то, что она не может быть только биологической дисциплиной. Тот же проф. Филипченко (биолог) отмечает, что раз об'ект евгеники человек—это «в значительной степени удаляет ее от многих других более общих биологических дисциплин и приближает, напротив, к так называемым гуманитарным наукам» [3].

Но волею исторических судеб евгеника со всеми ее теоретическими основаниями оказалась в руках типичных биологов. Это мы видим в Европе и Америке, это является характернейшим моментом и нашего евгенического движения. Два евгенические журнала, издающиеся в Москве и Ленинграде, порядочное количество статей и брошюр на русском языке (среди них на первом месте в смысле полноты и систематичности изложения нужно поставить вышецитированную книгу Филипченко)—вся эта литература на все 100% пишется биологами и, к сожалению, читается тоже, по преимуществу, биологами.

Коль скоро практической евгеники по причинам, на которых мы остановимся ниже, в наше время еще не существует ни у нас в СССР, ни за границей—биологи-евгенисты занимаются пока разработкой ее теоретических предпосылок. На основных пунктах их теоретических построений в настоящих статьях мы и остановимся.

Теоретическая евгеника зиждется, по мнению наших евгенистов, на двух китах: на учении о наследственности у человека и об отборе в человеческом обществе. «Ев-

---

[1]) Примечание редакции. В одном из ближайших номеров редакция поместит статью тов. Б Завадовского, трактующую тот же вопрос с несколько иной точки зрения.

[2]) Филипченко, Пути улучшения человеческого рода—евгеника, стр. 10.

[3]) Там же, стр. 11.

геника основывается на двух основных для нее предпосылках: на наследственности и на подборе»,—читаем мы в «Русском евгеническом журнале» (т. II, стр. 20). Кроме этого, очень большое значение имеет теоретический разбор причин ухудшения многих качеств человека, или, как говорят, «вырождения» современного человечества.

Два обстоятельства: 1) что все эти проблемы относятся к социологии или, как выражается Филипченко, к «гуманитарным наукам» (человек, человеческое общество) и 2) что занимаются ими только биологи, как правило в марксистской социологии «не нуждающиеся»—заставляют нас отнестись к теоретической евгенике с большим вниманием. Прежде всего остановимся на первой предпосылке евгеники—наследственности у человека.

1. Наследственность у человека.

Никто не станет утверждать, что передача признаков, особенно морфологических, не свойственна человеку, как и прочим живым существам. Мало найдется охотников, нам думается, оспаривать и то установленное положение, что эта наследственность в основной схеме совершается по законам, установленным Менделем и его последователями (Нельсон—Эле—Морган). Но вместе с тем у всякого непредубежденного читателя нарастает чувство протеста по мере того, как он читает следующую («чрезвычайно хорошую», по мнению Филипченко) фразу из Плате: «Красивы ли мы,—пишет он,—или безобразны, долго ли сохраняем на своей голове волосы, или же на ней рано появляется лысина, велика или мала общая продолжительность нашей жизни, свойственен ли нам оптимистический взгляд на вещи или глубокое пессимистическое настроение, обладаем ли мы большими духовными дарами или же только преклоняемся перед талантами других—все это зависит... от строения и состава тех ничтожных наследственных масс, которые когда-то были скрыты в ядрах половых клеток, из слияния которых мы произошли». Беспросветным фатализмом веет от этих строк, написанных незаурядным генетиком [1]). Ведь человек со всеми его морфологическими, физиологическими свойствами определен теми наследственными массами, которые заключены в половых клетках родителей. В них предустановлены и наша красота, и наши лысины и кудри, наши настроения, и оптимистические и пессимистические, и наша талантливость, и наша бесталанность. Рок наследственности тяготеет над каждым из нас—и красивые слова Плате ярко выражают всю силу этого рока и беспомощность человеческих усилий ему противостоять. Этот рок так силен, что бесполезны не только сознательные усилия человека изменить свою врожденную природу, но также безрезультатны и все те воздействия внешней среды, которым подпадает человек с первого дня своего рождения. Безрезультатны влияния географических и климатических условий, безрезультатны воздействия социальной среды, в которой человек живет, безрезультатно, наконец, и воспитание, которым окружают его с малых лет. Все это касается только «поверх-

[1]) Генетика — наука, изучающая физиологию изменчивости и наследственности.

ности» человека, самое же основное в нем зависит от «строения и состава» половых клеток, из которых он произошел, т.-е. от **внутренних факторов**, в нем заложенных. «Рожденный ползать—летать не может»—эта образная фраза Горького, взятая в абсолютном значении и в применении к человеку, могла бы послужить теоретическим девизом нашим евгенистам, разделяющим точку зрения Плате. Весь человек—это оплодотворенное яйцо, а внешняя среда—это не созидатель чего-либо принципиально-нового, а условие, которое дает яйцу «развернуться». Это же самое пренебрежительное отношение к внешней среде привело проф. Филипченко в его эволюционных взглядах к учению, которое он назвал **автогенезом**. Автогенез—это эволюция на основе внутренней, имманентной живым организмам изменяемости, без участия внешней среды. Изменчивость организмов независима от посторонних влияний, опыты Иоллоса, Тоуэра, Каммерера и др. неубедительны—вся наследственная изменчивость родится «изнутри», от внутренних «побуждений» живого вещества. Всякому, знакомому с современными течениями в биологии сразу бросится в глаза удивительное сходство автогенеза с насквозь идеалистическим «номогенезом» или «телеологенезом», как удачно назвал его Новиков,—другого профессора—Берга. Как там, так и здесь эволюция идет помимо всяких влияний внешней среды, на основе мистической внутренней закономерности, присущей живым существам. К такому же автогенезу с неумолимой логикой ведут и наши биологические евгенисты, когда они анализируют человеческую природу по Плате—совершенно независимо от влияния социальной среды, в которой, как известно, человек рождается, пребывает всю жизнь и умирает.

Перейдем к фактам. Прежде всего о морфологических признаках человека. Добытые при помощи генеалогического метода данные о наследовании цвета глаз, волос и кожи, о наследовании роста и некоторых аномалий—все эти данные со стороны фактической никакому оспариванию подлежать не могут. Точно так же нельзя возражать против закономерностей, по которым это наследование происходит (расщепление по Менделю, однозначные факторы Нельсона—Эле). В этом смысле антропогенетика есть прямое и непосредственное продолжение генетики. Но нам мыслится **методологически** недопустимым, анализируя морфологические признаки человека, как наследственные—упускать из виду формообразующее, изменяющее наследственные признаки влияние внешней, социальной среды. Морфологический человек не есть нечто раз данное в половых клетках родителя, а результат **взаимодействия** его наследственной основы с влияниями внешней среды. И нет в человеке такого признака, на котором бы эти влияния внешней среды—прямые или косвенные—так или иначе не сказались. Благодаря этому совершенно невозможно без предварительного точного анализа отдиференцировать из всего человека его наследственную основу или генотип, как выражаются генетики. **Условная**[1]) граница между полученным от родителей и благоприобретенным в человеке может быть проведена только тогда, когда поняты и нашли соответствующее место—вне

[1]) Мы подчеркиваем **условность** этой границы, ибо наследственность, развитие и вообще жизнь—вне среды есть не больше, чем голая абстракция.

организма лежащие формообразующие причины (пища, температура, свет, профессиональные условия и др.). Породила ли социальная среда и процесс трудового воздействия человека на природу в его морфологической организации что-либо новое, по сравнению с данными наследственности? Отрицание наследственно-изменяющего влияния внешней среды (автогенез), голый генетический анализ человека на наследственные факторы («гены»)—со стороны евгенистов дает прямой отрицательный ответ. Человек—комплекс «изнутри» изменяющихся признаков—говорят они. Совсем не так смотрят на дело мыслители, признающие материалистическую причинность, и, следовательно, наследственно-изменяющееся влияние внешней среды. Энгельс в статье «Роль труда в процессе развития обезьяны в человека» пишет: «В известном смысле труд создал самого человека» (стр. 45)[1]. Так например,—пишет дальше Энгельс «рука не только орган труда, но и продукт его». «Только благодаря этому процессу человеческая рука, наконец, достигла той высокой степени совершенства, на которой она смогла создать чарующие нас картины Рафаэля, статуи Торвальдсена и музыку Паганини» (стр. 47)[2]. Морфологический человек с этой точки зрения представляет собой природу беспрерывного взаимодействия его наследственной основы и среды его окружающей. Влияния среды создают в человеке наследственные изменения (не важно—по типу ли соматической или параллельной индукции, выражаясь терминами генетики) качественно, принципиально изменяют его наследственную природу. И основания для подобных утверждений, кроме авторитетных указаний Энгельса, можно найти в опытах Каммерера с саламандрами (отчасти взятых теперь под сомнение), с жабой повитухой и др., в опытах Тоуэра и Иоллоса, доказавших возможность появления наследственных изменений под влиянием внешней среды у инфузорий и жуков и пр.

В общем мы утверждаем, в противоположность нашим евгенистам, все внимание сосредоточившим на наследственности у человека, что эта наследственность сама по себе далеко не способна об'яснить нам морфологической человеческой природы. Нужно сугубо и сугубо учесть внешнюю среду, как необходимое условие развития наследственных свойств и мощный фактор, качественно изменяющий и в конечном итоге образующий в живом взаимодействии с наследственной основой природу человеческого организма. И только тогда наследственные признаки и их гены превратятся из метафизически-закоснелых абстракций в диалектически-живые сущности. Указания на изменяющее морфологическую природу влияние внешней среды находим мы и в «Теории исторического материализма» Бухарина, когда он обсуждает вопрос об изменяющем влиянии профессии на анатомо-физиологические признаки человека.

Все это евгенисты из виду упускают, для них внешняя, социальная среда—какой-то туман, напущенный неведомо откуда и только мешающий им изучать «истинную», «наследственную» природу человека, первоначально заключенную в наследственных массах половых клеток. А делать это—значит отрываться от жи-

[1]) Ф. Энгельс, От обезьяны к человеку, изд. «Гомельский Рабочий», 1924 года.

[2]) Там же.

вой действительности и пускаться в море спекуляций, которые к хорошему, конечно, не приведут. В общем—при генеалогическом анализе наследственности методологически недопустимо игнорировать природную и социальную среду, как фактор формообразования, даже и в том случае, если порождаемые ею изменения ненаследственны. Методологически недопустимо механически разделять человека на истинную» природу—«генотип»[1]) и неистинную—«фенотип»—или внешнее зависящее от влияния среды выявление генотипа. Необходимо всего человека рассматривать, как результат живого взаимодействия его и внешней среды, и только после этого можно истолковать и его всего и его наследственную природу[2]). Но совсем нехорошо получается у наших евгеников, когда они начинают говорить о наследовании духовных способностей человека. Плоды, которые дает здесь «автогенетическое» игнорирование среды, особенно обильны. Мы уже знаем из цитаты Плате, что «духовные дары», «настроения» и пр. психические качества получаются человеком в готовом виде уже в половых клетках родителей. Эта крайне выраженная мысль в основном разделяется и проф. Филипченко, и другим русским видным евгенистом проф. Кольцовым. В уже не раз цитировавшейся книге пр. Филипченко немногочисленные страницы, посвященные наследованию духовных способностей человека, говорят о наследовании разных специальных талантов, об однозначных факторах (генах), которые эти таланты определяют, о наследовании темперамента,—но ни одного слова о способствующем, формирующем, или, наоборот, угнетающем влиянии социальной среды. Человек с его духовными данными от нее отрывается и рассматривается, как комплекс затвердевших, ко всему «безучастных» наследственных зачатков или генов. Кольцов в статье «Генетический анализ психических особенностей человека»[3]) полагает «разложить психические особенности на отдельные наследственные элементы—гены и для каждого человека определить более или менее точную и более или менее полную генетическую формулу его психики» (стр. 253). Кольцов разделяет всю «психогенетику» человека на 2 группы явлений: 1) химико-психические особенности (темперамент, эмоции, влечения), 2) нервно-психические особенности (безусловные рефлексы и части условных рефлексов—по Павлову). Первые особенности создаются под влиянием гормонов (выделений—возбудителей) внутрисекреторных желез (щитовидной, надпочечников, гипофиза и др.), вторые—локализуются в нервной системе и зависят от свойственной ей от природы возбудимости. И те и другие особенности наследственны и каждой из них соответствуют группы генов в половых клетках родителей. В случаях химико-психических особенностей «мы встречаемся с тем очень большим затруднением, что фенотипное (внешнее. *В. С.*) проявление генотипных (представленных генами. *В. С.*) свойств темперамента в высокой степени зависит от случайностей внешней обстановки, которая, конечно, для каждого отдельного человека складывается совершенно

[1]) Генотип—наследственный «состав» человека из генов.

[2]) Об учете влияний среды немало говорит в статье «Методы изучения наследственности у человека» В. Бунак («Русский Евгенический Журнал», т. I), но практически этого учета у наших евгенистов, как правило, нет.

[3]) «Русский Евгенический Журнал», т. I, вып. 3—4.

своеобразно» [1]). Это вскользь брошенное замечание нисколько не мешает Кольцову и в предыдущем и в последующем изложении рассматривать химико-психическую деятельность (разные темпераменты, влечения голода, материнства, к активной деятельности, к странствованиям, к власти и пр.), как комплекс конституционно-наследственных свойств, подлежащих анализу на гены. Что собою, например, представляет влечение к власти? Это есть самое сложное из органических влечений»—отвечает Кольцов (стр. 266). Мы замечаем эту особенность главным образом у многих крупных животных,. преимущественно у самцов»,—читаем мы дальше (стр. 263).

У знаменитого М. В. Ломоносова «несомненна наличность влечения к власти», ибо «без известного (наследственного. *В. С.*) честолюбия, которое побуждало его выдвинуться из окружающей среды, он, конечно, не мог бы продвинуться вперед, несмотря на все его выдающиеся способности». Что это влечение действительно наследственно, об этом свидетельствует будто бы наличие его и у отца Ломоносова: «в своем селе отец М. В. был первым церковным старостой и ходоком по мирским делам» (!!) [2]). А в каких экономических условиях и социальных влияниях жили Ломоносов и его отец? Не было ли чего-либо в обстановке их окружающей, что сделало их такими «властными», какими изображает нам их история? Об этом Кольцов не думает и не говорит. Для него «несомненна» здесь наличность биологического фактора—наследственность, который ему все об'ясняет. Все же остальное—среда и всякие ее влияния—это «туман», лишь заслоняющий ясные биологические схемки и перспективы. Для него ясно одно: живи они на Новой Земле или на Суматре, в любом месте и в любое время, их наследственные «властные» влечения взяли бы свое и выдвинули бы их из окружающей среды. Пусть на несколько менее «властный» пост, чем пост церковного старосты и ходока, но безусловно выдвинули бы. Или еще одно «меткое определение», которое, по уверениям Кольцова, высказывалось «в русской коммунистической прессе» (?): «В истории развития партии разница между большевиками и меньшевиками сказывалась не столько в теоретических разногласиях, сколько в темпераменте лиц (!!), распределявшихся по обеим фракциям». Здесь имеется в виду прежде всего влечение к власти»,—пишет он дальше [3]). Все очень ясно и понятно. Вся причина их раскола в 1903 году и дальнейших расхождений—в разных темпераментах: одни имели врожденное стремление к власти, другие его не имели. Большевики унаследовали от своих родителей гены, соответствующие влечению к власти,—и поэтому взяли власть в октябре. А меньшевики—«с роду уроды»—их родители «властными» генами не наделили и этим об'ясняется их трусливая, половинчатая политика в революции. Вся эта безграмотная ахинея покоится на поистине чудовищной халатности «ученых» профессоров по части марксистской научной социологии.

Для них социальный человек—биологически-наследственная особь, и вся закономерность его поведения есть «закономерность»

[1]) Там же, стр. 273.
[2]) Там же, стр. 266.
[3]) Там же, стр. 266 и 267.

проявления врожденных, наследственных свойств. Социальные категории без зазрения научной совести производятся в биологические, да еще с добавлениями «несомненно», «безусловно». Что такое, напр., партия? Это «прежде всего» группа биологических генотипов, об'единенных общностью своих наследственных свойств (напр., темпераментов). И вся марксистская социология с ее закономерным развитием общественной жизни, закономерным образованием общественных классов и партий, как сознательных авангардов этих классов, вся закономерная история партийных течений, обусловленная социально-экономическим развитием—все это оказывается за бортом. Зачем утруждать свой мозг такими трудными вещами, когда все так просто можно об'яснить врожденной человеческой природой! Бедные «ученые» и не знают о том, что хороший полуграмотный рабочий в наше время мог бы вывести всю их безграмотность на чистую воду и по пунктам об'яснить, в чем эта их безграмотность заключается. Если, конечно, этот рабочий не махнет безнадежно в их сторону рукой.

Ряд градаций в основной тенденции сходных с вышеуказанным найдет читатель в разборе других влечений, эмоций и темпераментов человека. Гены—альфа и омега человеческого существа, а все остальное—от лукавого. От лукавого мощное, созидательное или, наоборот, отрицательное воздействие социальной среды во всех ее проявлениях. От лукавого сила медицины, практически применяемая, изменять наш наследственный инкреторный аппарат органотерапевтическими влияниями. Давая с пищей или вводя непосредственно в кровь вытяжки из разных желез внутренней секреции, удаляя части гипертрофированных желез и всаживая части к железам недоразвитым, человек приобрел силу—в самом непосредственном смысле этого слова—изменять свою природу, изменять свой «химико-психический» аппарат. И в данном случае факт изменяющего вмешательства человека представляет собой частный случай изменений, порождаемых внешней средой в широком смысле этого слова.

На человека воздействует не только человек своим сознательным вмешательством в процесс его развития—на него воздействует и его социально-экономическая среда, классовые, профессиональные условия его жизни и многое другое. Вся психика человека, в том числе и внутрисекреционная, родится в результате взаимодействия его с этой средой. Барин-помещик со всеми свойственными ему влечениями к пьянству, к безделию, к путешествиям по «заграницам», с извращенным родительским инстинктом, с патологической сексуальностью, со всеми его деликатными и неделикатными эмоциями и даже темпераментностями—этот барин создался таким не в силу наследственности, а в первую очередь и по преимуществу благодаря воспитательным воздействиям, окружающим его с малых лет, если брать выражение «воспитательные воздействия» в самом широком смысле слова. Точно так же разные литературные типы с ярко выраженной при биологическом подходе «химико-психической конституцией» (напр., гончаровский Обломов, гоголевские Ноздрев, Собакевич и многие другие)—есть типы, свойственные определенным периодам в развитии общественной жизни, ее социально-идеологическим особенностям. Эти типы создаются по преимуществу именно под влиянием этих особенностей и в другие периоды истории

не встречаются. И можно себе представить, сколько беспросветной чепухи нагородят наши евгенисты, когда они доберутся до «генетического анализа» Собакевичей и Обломовых!

Немного стоит этот «анализ», если мощное влияние, оказываемое социальной средой на наследственную конституцию, не находит в этом анализе подобающего места.

Совсем не лучше обстоит дело с нервно-психическими процессами. В этой области, больше, чем где-либо, твердо установлено, что психика формируется «воспитательными» воздействиями окружающих условий социальной жизни. Еще Сеченов в «Рефлексах головного мозга» писал, что $^{99}/_{100}$ всего содержания психической жизни человека определяется «воспитанием в самом широком смысле слова»[1]). В наше время школа проф. Павлова физиологическими исследованиями деятельности головного мозга дала ряд ценных подтверждений этой же мысли. По определению Павлова, вся нервная деятельность животного представлялась в виде... двух форм рефлекса: обыкновенного, давно уже изучаемого, названного нами безусловным, и нового, под которым разумелась вся остальная нервная деятельность и который мы назвали условным»[2]). «Один рефлекс готовый, с которым животное родится, чисто проводниковый рефлекс, а другой рефлекс постоянно, беспрерывно образующийся за время индивидуальной жизни, совершенно такой же закономерности, но основанный на другом свойстве нашей нервной системы—на замыкании»[3]). «Функция высшего отдела (нервной системы. *В. С.*) есть образование новых временных рефлексов, а это значит, что нервная система представляет собой не только проводниковый, но и замыкательный прибор»[4]). «В спинном мозгу мы эту рефлекторную деятельность... застаем уже сделанною, готовой». В головном мозгу «мы видим самый процесс образования этого отраженного акта» (рефлекса. *В. С.*)[5]). Очень важно, что этот «процесс образования рефлекса» покоится на безграничной способности нервной системы вступать в связь с любыми раздражителями. «Можно любое явление внешнего мира сделать временным сигналом, раздражающим слюнные железы об'екта»[6]), т.-е. условным раздражителем—стоит только его несколько раз совместить во времени с раздражителем безусловным. Эта крайняя пластичность нервной системы в пространстве («любое явление») соответствует большой пластичности и во времени. В лаборатории Павлова удалось добиться у собак образования условных рефлексов, а не безусловных, как это обычно бывает. Таким образом были выработаны условные рефлексы второго и даже третьего порядка. Образование условных связей за время индивидуальной жизни происходит, так сказать, не только в горизонтальном направлении (способность связаться с любым раздражителем внешнего мира), но и в направлении вертикальном (надстройка на уже построенных условных связях).

Учение Павлова об условных рефлексах дает нам физиологи-

---

[1]) Сеченов, Рефлексы головного мозга, 1866 г., стр. 182.
[2]) Павлов, Двадцатилетний опыт и пр., 2 изд., стр. 75.
[3]) Там же, стр. 288
[4]) Там же, стр. 258.
[5]) Там же, стр. 180.
[6]) Там же, стр. 52.

ческую характеристику процессов, на которых основана, оборотной стороной которых является жизнь суб'ективно-психическая. Новые связи в нервной системе—это об'ективное выражение мысли об ассоциативных связях психологии, это об'ективное выражение процессов развития человеческой психики. И величайшая заслуга Павлова заключается в том, что он в виде ясного механизма условного рефлекса дал то звено, из сочетания массы которых образуется сложнейшая цепь нервно-психической деятельности человека. И что для нас особенно важно—все эти звенья не являются наследственно-полученными, все они образуются за время индивидуальной жизни человека, как механизм утонченного согласования с внешней средой, приспособления к ней—в процессе жизненного «воздействия» на нее. Этого факта о ненаследовании условных связей отрицать никак нельзя, ибо на нем построено все учение об условных рефлексах. Его не отрицают и наши евгенисты. «Но эта непередача потомству условных рефлексов отнюдь не исключает возможности говорить о врожденной способности образовывать те или иные группы рефлексов»—заявляет в разбираемой нами статье Кольцов[1]). Эта способность, как выясняется дальше, определяется передачей по наследству следующих аппаратов нервной системы: 1) рецепторных (воспринимающих), 2) эффекторных (производящих действия), 3) синтезаторских центров (замыкателей. *В. С.*) и 4) конституционных межцентровых связей.

Если относительно наследования первых двух видов нервных аппаратов (с теми оговорками относительно модифицирующего влияния внешней среды, которые у автора имеются) ничего сказать против нельзя, то далеко не так следует относиться к синтезаторам и наследственным межцентровым связям. Здесь следует констатировать все тот же, ни на чем не основанный перегиб в сторону наследственности. Кольцов признает, что условные рефлексы образуются за время индивидуальной жизни под влиянием внешней среды (системы раздражителей). Но вместе с добавочными построениями он сужает эту мысль до крайних пределов. Хоть условные рефлексы и не наследственны, но наследственны «врожденные способности» их образовать. Условные связи при рождении в готовом виде не имеются, но имеются особые «синтезаторские центры», при чем «не подлежит сомнению», что емкость (?) синтезаторов каждого отдельного мозга... строго ограничена наследственным типом строения мозга»[2]). Наконец, условные замыкания, согласно Павлову, образуются под влиянием внешней среды, но это не мешает Кольцову утверждать, что существуют наследственные «межцентровые связи» (?) и в общем итоге даже «конституционные типы высших познавательных способностей». Мысль о наследственной закрепленности условных рефлексов, изгнанная через дверь, при помощи добавочных построений о «врожденных способностях» протаскивается сразу через несколько окон. Г. Плеханов в своей статье «Нечто об истории» пишет, что идеалисты и эклектики ухитряются «перекраивать старую теорию врожденных идей... в том смысле, что людям стали приписывать врожденную тенденцию развиваться в

---

[1]) «Русский Евгенический Журнал», т. I, стр. 281.

[2]) Там же, стр 292.

умственном отношении именно так, а не иначе» [1]). Путей таких эклектиков и идеалистов держатся и наши евгенисты. У человека существуют «врожденные способности образовывать те или иные группы рефлексов». Врожденная «емкость» синтезаторов—речевого, математических, музыкального и пр., врожденные «межцентровые связи»—заставляют человека «в умственном отношении развиваться так, а не иначе», ставят его развитию непреходимые никакими воспитательными воздействиями границы. Как пример ограниченной «емкости» самого главного—речевого синтезаторского центра—приводится случай с одной прислугой, которая 25 лет прожила «в культурной патриархальной семье», сразу же была обучена грамоте и в течение *всех* 25 лет ежедневно (?) и по нескольку часов (?) читала Толстого, Тургенева, Гончарова и др. и ежемесячно бывала в театре. И результат в подкрепление соображений Кольцова получился «блестящий». Через 25 лет она по-прежнему по складам (?) писала каракулями, «ее язык оставался чрезвычайно бедным, элементарным». Причина в том, что емкость ее центра речи была очень низка и заполнилась в самом начале обучения»! [2]).

Бедной прислуге не суждено было от самой ее природы пойти дальше каракулей и «бестолковых, мало связанных, бедных фраз»—такими уж бесталанными генами наградили ее родители. Не вдаваясь в рассуждения о самом случае Кольцова,—ибо ни о патриархальной семье, ни об их прислуге, ни об условиях воспитания этой прислуги сравнительно с «более талантливыми» детьми ее хозяев, мы не осведомлены,—считаем необходимым отметить, что концепция автора о наследственно-ограниченной «емкости» центра речи обоснована им *только* этим «фактом» с прислугой. До этого и после этого читатель находит рассуждение «вообще» о нужности исследований в этом направлении и пр., но ни одного серьезного факта в подтверждение мысли об ограниченности емкости речевого центра. И это несмотря на то, что «богатство речи является *наиболее ярким мерилом* богатства синтезаторских центров» [3]). «Наиболее яркое мерило и так плохо обосновано! Не по-ученому выходит у проф. Кольцова! Точно так же совершенно неудовлетворительными представляются рассуждения о наследственной емкости других синтезаторских центров—математических, музыкального и др. Много разговоров на общие темы и поразительно убогое количество убедительных фактов и ссылок на точные экспериментальные данные. Благодаря этому *такая* трактовка наследственности психических способностей может быть обязательной только для ее автора, но совершенно необязательна для читателя. Основываясь на работах Павлова, автор позволяет себе делать выводы, просто противоречащие павловским работам. Чему учит школа Павлова?

1) Тому, что «условный рефлекс—*постоянно, беспрерывно образуется* за время индивидуальной жизни» человека.

2) Тому, что «любое явление внешнего мира» можно сделать условным раздражителем, что в этом смысле нервная система

---

[1]) Плеханов, Сочинения, том XIII. стр. 229.
[2]) «Русский Евгенический Журнал», т. I, стр. 293.
[3]) Там же, стр. 293.

практически обладает безграничными способностями образовывать новые связи.

3) Тому, что нервная система человека способна образовывать связи не только на основе врожденных, но и на основе приобретенных условных рефлексов, что еще больше расширяет ее потенциальные возможности.

А к чему в противоположность этому «растет» «учение» о наследственной ограниченности мозговых центров? С «неумолимой логикой» оно ведет к ограничению всех этих положений физиологии нервной системы жесткими границами «врожденного», к недопустимому игнорированию созидательной деятельности внешней среды, для приспособления к которой служит нервная система. Центр тяжести с воспитательных, в широком смысле слова, воздействий среды переносится на «генотипную емкость» мозговых центров, основная тенденция—тенденция об'яснить психику только врожденными, наследственными данными. Эта тенденция у того же Кольцова реализуется не только в установлении мысли о «емкости» центров, но и в еще более необоснованных утверждениях о наследовании «межцентровых связей» и, наконец, даже о «конституционных типах высших познавательных способностей». Начиная с идеи о «емкости» центров и кончая «конституционными типами», Кольцов строит свои собственные гипотезы, серьезными исследованиями не обоснованные. Нам представляется «все это спекулятивными упражнениями генетика-евгениста, оторвавшегося от твердой почвы фактов и опытов, во славу и процветания так милой его сердцу наследственности. И что действительно перед нами голая спекуляция—об этом говорят «факты» самого же проф. Кольцова. «Вид грозовой тучи,—читаем мы в разбираемой статье Кольцова, у разных людей вызывает разные токи межцентральных нервных процессов, которые отчасти определяются наличностью тех или иных образовавшихся в прошлом условных связей, а отчасти конституционным устройством всего мыслительного аппарата. У земледельца нервный ток направится по центрам: «туча — дождь—сено—убрать»; у домовладельца: «гроза—молния—пожар» и далее «страховка» или «громоотвод» или «постройка каменного дома». Ученый метеоролог при взгляде на тучу будет думать о мельчайших каплях воды, из которых она составлена, об условиях равновесия в коллоидальной системе: вода—воздух и может быть построит новую аналитическую теорию образования тучи»[1]). Разница между изображенными типами людей отчасти определяется «конституционным устройством всего их мыслительного аппарата». Мыслительный аппарат у земледельца и домовладельца генотипически, наследственно отличается от мыслительных аппаратов ученых метеорологов—и те и другие представляют собою разные биологические типы. И «экономические» мысли, которые при взгляде на тучу родятся в головах первых и научные теории в головах вторых, «отчасти» об'ясняются наследственным типом их «межцентровых связей». Такими их произвели на свет родители. Проф. Кольцов ученый-биолог и, вернее всего, вслед за метеорологом, глядя на тучу, станет размышлять «об условиях равновесия в коллоидальной системе:

[1]) Там же, стр. 299.

... Нас интересует: остался бы он верен этому своему «отчасти конституционному» свойству, если бы непосильная судьба сделала его с малых лет не биологом, а земледельцом? Раз свойство «отчасти конституционно»—значит, проф. Кольцов остался бы и продолжал бы, размышляя о туче, искать ответа на вопросы если не о «коллоидальной системе», то о чем-либо принципиально сходном. Нервный ток не побежит у него по центрам «дождь—сено—убрать», а, в силу биологической необходимости, обусловленной генами, побежит, напротив, в «ученом направлении: «туча—вода—воздух—вода» и пр. Вот один из «фактов» Кольцова, питающих его «наследственно-психическую концепцию. Не искушенный в «гуманитарных» науках, вооруженный «самостоятельными» гипотезами и смелый на заключения,—он берется «об'яснить» наследственностью всю «настоящую» природу человека. Почему у земледельца преобладают мысли о покосе, о сохранении от дождя хлеба и сена, о коровах и лошадях и прочие хозяйственные мысли? И почему «как раз наоборот» у ученого? Действительно ли, как нас уверяет Кольцов, здесь орудует биологическая необходимость (хоть и «отчасти»), представленная врожденными свойствами? Если бы Кольцов хоть немного разбирался в социологических вопросах, он тогда бы знал, что «бытие определяет сознание» человека, что условия общественной жизни, условия производственной деятельности—определяют психическую жизнь общественного человека. Крестьянин думает о туче по-своему, по-крестьянски, именно в силу условий своей производственной деятельности, которая заставляет его думать о сене, о хлебе, о коровах и пр. хозяйственных вещах. Никакой биологической необходимости за этим не скрывается, но неминуемо об этом же самом стали бы думать и «конституционные мыслители, философы и ученые» [1]), если бы их с малых лет сделать земледельцами. Нашему евгенисту никак не понять этих трудовых мыслей; ему кажется много «нормальнее и «понятнее», если подвести подо все наследственный базис. Совершенно так же, думается нам, что домовладелец совсем не будет думать по схеме «гроза—молния—пожар», как только дом не станет его собственностью, вместе с тем у большинства людей, испытавших в жизни пожары от молнии, невольно возникают подобные мысли. Не к чему приплетать здесь «конституционные» свойства, когда они в разбираемых случаях не играют никакой роли. И наоборот—очень не мешало бы нашим евгенистам научиться социологической грамоте, чтобы не совать биологические факторы и куда нужно и куда не нужно. Нужно бы им знать, как говорит Маркс, «материалистическое учение о том, что люди представляют собою продукт обстоятельств и воспитания, и что, следовательно, изменившиеся люди являются продуктом изменившихся обстоятельств и другого воспитания» [2]). Эту мысль ярко выражает Плеханов следующими словами: «Отнимите у австралийца его бумеранг, сделайте его земледельцем, и он по необходимости изменит весь свой образ жизни; все свои привычки, весь свой

---

[1]) «Русск. Евген. Журнал», т. I, стр. 298.
[2]) Маркс, Тезисы о Фейербахе.

образ мыслей, всю свою «природу» [1]). Нужно нашим биологам-евгенистам понять, что разговор здесь идет не о какой бы то ни было биологической необходимости, а о необходимости общественной, обусловленной экономическими причинами, окружающими человека. И после этого будет понятно, что и плехановский австралиец, и земледельцы, и ученые, и домовладельцы, о которых говорит Кольцов—есть категории ни в малой степени не биологические, «наследственные», а целиком и полностью социальные, благодаря чему попытки истолковать их «природу» биологическими факторами только доказывают социологическую безграмотность авторов этих попыток, евгенистов. Как бы им не мешало почаще вспоминать о «приближении», как говорит Филипченко, евгеники «к так называемым гуманитарным наукам», поскольку об'ектом ее является человек.

Никакого такого «приближения» к гуманитарным наукам практически мы не видим. Человек представляет собою биологическую особь, комплекс наследственных свойств и все «об'яснение» человека должно заключаться в выяснении его «генотипической» природы, в разложении его на гены. Благодаря этому учение о наследственности превращается в универсальную, всего человека об'ясняющую дисциплину, па манер учения о «человеческой природе» начала прошлого столетия. Взять ли морфологию человека или физиологию и поведение,—все «об'ясняется» наследственностью. И коротко и, самое главное, просто. Разве не такой «простотой» веет от следующей фразы Кольцова: «Было бы интересно проследить потомство от брака между типичным точным мыслителем (наследственным. *В. С.*) и супругой из семьи с ярко выраженным иррационализмом; при обычной гетерозиготности большинства доминантных признаков у человека мы уже в первом поколении и (?) могли бы рассчитывать на менделевское расщепление» [2]). Совсем так же, как на горохах у Менделя—скрестил и вышло расщепление! «Конституционный мыслитель—философ или ученый»—это один признак, «иррационализм» жены—второй признак и результат их брака—дети, у которых распределение этих признаков по Менделю—часть «ученых» и часть «иррационалистов». До такой явной нелепости договариваются наши евгенисты. Берется, как данное, что «мыслитель»—наследственен, «иррационализм», как и «рационализм»,—наследственны, а откуда это известно,—один господь бог знает. Главное—просто и понятно. Никаких сложных влияний внешней среды, никаких мудрствований—все гены. «Нет ничего легче,—писал Плеханов в своих «Очерках по истории материализма»,—как избавиться от всяких затруднений, приписывая любое сложное явление деятельности... врожденных, унаследованных свойств» [3]). Не трудно видеть, что именно так поступают наши евгенисты, сталкиваясь с разными сложными вопросами психологии общественного человека. Они апеллируют к наследственной природе, к конституционным расовым особенностям и, в конечном счете, к спасительным генам, которые им все об'ясняют». Так, например, Филипченко пишет, что северная раса обладает

[1]) Плеханов, Сочинения, том VII: К вопросу о развитии и проч., стр. 163.

[2]) «Русск. Евген. Журнал», т. I, стр. 299.

[3]) Плеханов, Сочин., т. VIII, стр. 165.

...психологическими чертами, доставившими ей во многих местах преобладание над другими расами[1]. Причины этого преобладания в благоприятных генах. Но Филипченко далеко отстал от своего соредактора по «Русскому Евгеническому Журналу»—от Кольцова. «Об'ясняя» историю человеческой культуры, этот последний вещает: «Каждая из трех культур (античная, арабская, западно-европейская. *В. С.*) создавалась самостоятельно, благодаря выступлению на арену истории (откуда?) новых, молодых, биологических рас». «Новая культура слагалась со всеми ее особенностями, зависящими, в первую очередь, от генетических особенностей психики, входивших в состав молодого народа наиболее одаренных для данной эпохи (?) рас. И когда выдающиеся генотипы, руководившие историей своей культуры, вымирали в борьбе с другими, иначе одаренными народами, а еще более от внутренней борьбы и добровольного отказа от размножения (!?)—вместе с ними гибла и созданная ими культура». «Характеристика каждой отдельной культуры является характеристикой того конституционного типа нервно-психических способностей, который сыграл главную роль в создании соответствующей культуры»[2]). Вот что такое учение о человеческой наследственности. Это самая простая и самая универсальная теория. Она разлагает всю человеческую природу на ряд наследственных признаков и при помощи этого с легкостью «об'ясняет» морфологические и физиологические особенности человека, его психическую жизнь во всей сложности ее проявлений и, наконец, просто, «не мудрствуя лукаво», создает свою историческую теорию, на основе тех же наследственных свойств. Все пружины человеческого существования видны, как на ладони. Дайте, например, нам характеристику античной культуры. Ее характеристика есть характеристика того «конституционного типа нервно-психических способностей», который эту культуру создал. Следовательно, если вы хотите знать, что такое античная культура—«углубитесь» в половые клетки ее генотипов, ее созидателей—и при удачном анализе эти половые клетки обнаружат в себе надлежащие «античные» гены, и вы получите ответ. Вам тогда, полагает Кольцов, будет ясно, что такое античная культура. Или вопрос: что вызвало к жизни арабскую культуру? А очень просто—«самостоятельно» «выступили на арену истории» соответствующие «арабские» нервно-психические типы людей—и культура была создана. А что вызвало гибель? Тоже просто—«вымерли генотипы (между прочим, от «добровольного отказа от размножения»), которые этой культурой руководили—ну, натурально, культура и погибла! Задайте эти вопросы об античной, индийской, китайской и др. культурах и на все вы получите трогательный в своей наивной простоте ответ: «были генотипы—была культура, вымерли генотипы—погибла культура. Так «об'ясняют» историю наши «мудрые» евгенисты, усердно подводя под все и вся наследственную основу. С их «универсальной» точки зрения вся человеческая история есть последовательная смена одного генотипа другим,—и ничего больше. Каждую культуру создает свой

[1]) Филипченко, Пути улучшения человеческого рода, стр. 124.
[2]) «Русский Евгенический Журнал», т. I, стр. 302 и 303.

биологический тип человека, так сказать, «по образу и подобию своему». Эти геркулесовы столбы социологической безграмотности далеко не являются оригинальным изобретением наших евгенистов. О таких же тенденциях сваливать все на «врожденную природу человека» немало писал в свое время Плеханов. По поводу подобной «расовой» исторической теории мы читаем у него поучительные строки: «Может быть племенные свойства и имели некоторое влияние на историю (данного народа. *В. С.*). Но это гипотетическое влияние, наверное, было так неизмеримо мало, что в интересах исследования лучше признать его равным нулю и рассматривать особенности, замечаемые в развитии того или другого народа, как продукт особых исторических условий, в которых совершилось это развитие, а не как результат влияния расы. Разумеется, нам немало встретится случаев, в которых мы не в состоянии будем указать, каковы же именно были условия, вызвавшие заинтересовавшие нас особенности. Но то, что сегодня не поддается средствам научного исследования, завтра может уступить им. Ссылки на расовые свойства неудобны тем, что они прекращают исследование как раз там, где оно должно было бы начаться. Отчего история французской поэзии не похожа на историю поэзии в Германии?—По очень простой причине: темперамент французского народа был таков, что у него не могло быть ни Лессинга, ни Шиллера, ни Гете. Ну, благодарим за об'яснение,—иронически кончает Плеханов,—теперь мы все поняли» [1]). Эти строки, направленные против уклона Лабриолы,—слишком мягки по отношению к нашим евгенистам, хоть и попадают им не в бровь, а в самый глаз. Ведь их историческая концепция тем и умопомрачительна, что они не только «ссылаются» на расовые свойства, но «просто» строят на них всю человеческую историю.

В расовых свойствах, которые Плеханов рекомендует «признать равными нулю», они видят единственную причину всех особенностей разных ступеней человеческой культуры. А марксистское утверждение, что эти особенности представляют собою «продукт особых, исторических условий, в которых совершалось развитие» данного общества,—это утверждение «не про них писано». Для них совершенно нереальна та закономерность в развитии общественной жизни, которую установил Маркс и которая классически формулирована им в известном месте из предисловия «К критике политической экономии»: «Способ производства материальной жизни обусловливает собою процесс жизни социальной, политической и духовной вообще. Не сознание людей определяет их бытие, но, напротив, общественное бытие определяет их сознание». И что печальнее всего, это их «убеждение» происходит совсем не от серьезного анализа, и критики марксовых построений (о Марксе у них ни слова), а от «врожденной» большинству биологов «принципиальной» безграмотности в социологических вопросах.

Наследование разных признаков человеком устанавливается евгенистами путем изучения родословных, интересных в отношении каких-либо признаков людей. Так, наследование талантов

[1]) Плеханов, Сочин., т. VIII, стр. 256.

иллюстрируется генеалогиями Дарвина, Толстого и др. Наследование морфологических признаков особенно поучительной родословной Габсбургов (характерная нижняя челюсть и нижняя губа), некоторыми родословными, в которых имеются указания на наследование морфологических аномалий (напр., короткопалость и многопалость) и др. Для выяснения методологии евгеники очень показательны генеалогии многих преступных семей, напр., дурная линия Калликаков, родословная W. W., Зеро, Чиль и др. Как на примере, остановимся на американской родословной ряда W. W. Перед нами таблица, на которой изображено распределение нескольких «преступных» признаков в ряде поколений одного семейства. В родословной мы видим постоянное появление воров, убийц, шулеров, хулиганов и сексуалов. Начиная с исходной пары—мужа и жены—эти признаки в разных сочетаниях постоянно встречаются у особей следующих поколений. Глядя на эту генеалогию, антропогенетики заявляют: «дурные» исходные формы порождают родословное дерево, которое постоянно дает «дурные» ветки. Здесь перед нами иллюстрация наследования ряда «духовных» признаков, ибо при разработке этой родословной схемой, руководящей мыслью является мысль о наследовании их признаков, на которые обращено внимание. Все пять вышеупомянутых признаков должны рассматриваться, как наследственные, передающиеся из поколения в поколение, может быть, по Менделю и их обладатели невольно, врожденно вступают в преступную стезю. Так и только так должна комментироваться данная генеалогическая таблица, если она имеет для антропогенетиков хоть какой-нибудь смысл. Так наши евгенисты и поступают. Генеалогия W. W. является для них выразителем истинной наследственности, в основе которой лежат соответственные гены. В этой генеалогии обращает на себя внимание прежде всего сама сущность рассматриваемых признаков. Можно ли их рассматривать, как признаки биологические? Не нужно много думать, чтобы сказать—нет. Здесь мы имеем ту же картину, что и с домовладельцем и земледельцем. И воровство, и хулиганство, и шулерство, и убийства—есть категории ни в малой степени не биологические и на все 100% социальные. Они порождаются «особыми историческими условиями», свойственны людям особой исторической эпохи, когда существует собственность, общественное неравенство и порождаемые им ужасы нищеты. Кто такой вор?—Это не биологический тип, созданный наследственностью, а «социальный человек», сделанный вором средою, нищетою, безработицей, воспитанием и пр. социальными влияниями. Это определенный социальный тип. Говорить об этих категориях, как о биологически-конституционных, нет абсолютно никаких оснований. Врожденных убийц, шулеров, хулиганов нет—точно так же, как не существует врожденных идей и убеждений. Глядя на генеалогическую таблицу, некоторые осторожные евгенисты уже не пытаются под каждый из рассматриваемых признаков «подвести» соответственный ген или группы генов, а говорят об одном общем патологическом признаке, напр., слабоумии, являющемся врожденным. И на этом органическом, врожденном свойстве социальная среда уже после рисует свои узоры, создавая из одного человека карманного вора, из другого—кровожадного убийцу. Так поступает, напр., Филипченко, отделяя орга-

нические «зачатки» от «социальной стороны», которую изображает генеалогия («нищие, воры, проститутки, пьяницы и т. д.») [1]. Но все-таки,—говорит Филипченко,—наследование «зачатка слабоумия и дефективности» «несомненно». Точно так же несомненно для евгенистов наследование дефективных зачатков и генеалогии W. W. Этот органический порок передается в виде генов по наследству и в силу *необходимости* предопределяет будущее новорожденного человека, предоставляя социальной среде лишь *отлить форму*, в которой этот порок выявится». Но этот единственно спасительный для составителей генеалогии и евгенистов выход—практически тоже лишен прочного основания. И причина этого в следующем. Когда анализируют данную человеческую генеалогию, нельзя удовлетвориться только биологически-генетическим анализом. Нужно постоянно помнить, что человека с малых лет окружает *создающая его* социальная среда. И, рассуждая о каждом члене данной генеалогии, совсем недостаточно рассуждать о *возможном* наследовании им исследуемого признака, *возводя это возможное в действительное*, а необходимо сугубо и сугубо учесть те *реально-существующие* социальные влияния, которые его создавали. Факты воспитания членов генеалогии в одинаковой среде, быть может, могут нам целиком об'яснить их будто бы врожденное свойство. Так, например, в отношении *ненормальной сексуальности*, встречающейся в ряде поколений родословной W. W., можно *предполагать* передачу этого признака по наследству, но определенно *утверждать* это можно будет только после того, как будет доказано, что причина здесь *не* в одинаковых условиях воспитания данных членов генеалогии. Для ответа на вопрос нужен тщательный и внимательный анализ социальной среды данного человека, памятуя, что «люди представляют собою продукт обстоятельств и воспитания» (Маркс). Для того, чтобы об'яснить генеалогию W. W., недостаточно сразу и без разбору валить все на наследственную человеческую природу, а нужно сделать анализ условий жизни и воспитания ее членов. И тогда *может выясниться* (но далеко не обязательно), что для истолкования ее участие биологии совершенно не требуется и все будто бы наследственные свойства являются всецело продуктом среды и воспитания. Этого анализа у евгенистов совершенно нет. Прирожденная человеческая природа целиком занимает их внимание, для них «несомненно», что во всех их родословных решающую роль играет наследственность. Их методология есть методология узко-биологическая. А для всякого непредубежденного совершенно ясно, что положительные результаты относительно человеческой наследственности мы получим только тогда, когда будет привлечена *методология исследования социального человека*. Чтобы лишний раз проиллюстрировать антропогенетическую методологию наших евгенистов, коротко остановимся на руководящей статье Серебровского «О задачах и путях антропогенетики» [2]). Прежде всего при чтении этой статьи бросается в глаза полное игнорирование образующего действия социальной среды. Как и у всех евгенистов, человек мыслится системой на-

---

[1]) *Филипченко*. Пути улучшения человеческого рода, стр. 134 и 135.
[2]) «Русский Евгенический Журнал», т. I, вып. 2.

[illegible] зачатков, в выделении которых заключается основная задача исследования человеческой природы. «Первой задачей,—читаем мы у Серебровского,—для каждого народа представляется выяснение генетического типа национального гения, выяснение генетических формул созидателей его духовной культуры». Такова первая задача антропогенетики. А каков путь для разрешения этой задачи? «Достаточно допустить, что «талант», а тем более «гений», есть более или менее сложное сочетание ряда генов» (однозначные факторы. *В. С.*), чтобы это в общем об'яснило нам все многообразие наблюдавшихся случаев наследования или ненаследования талантливости и гениальности. Правда,—меланхолически добавляет Серебровский, — подобное трактование проблемы гения—пока лишь чистая гипотеза, основанная, главным образом, на генетике окраски и длины ушей у кроликов, и поэтому имеет значение убедительности лишь для самих менделистов» [1]). Эти цитаты очень характерны для наших евгенистов. Задачи исследования «в выяснении генетических типов», пути исследования—«допущение» существования «предполагающихся» генов. И без трудного анализа формирующего влияния среды,—на основе изучения «генетики окраски и длины ушей у кроликов»—перед проницательным взором евгенистов вырисовывается картина психологии «гения» и «таланта». Все люди, гении и таланты, «созидатели духовной культуры»,—это наследственные категории прежде всего и больше всего, а внешняя среда тут совсем не при чем. Она только мешает «исследованию». Воистину рассуждения евгенистов могут иметь значение «убедительности только для самих менделистов». Можно утверждать определенно, что с узко-генетическим подходом природы общественного человека (а не общественного человека не существует) не об'яснишь, а только извратишь ее, чего, как мы имели случаи выше убедиться, евгенисты благополучно добиваются. Они рассматривают наследственность как универсальный принцип «исследования человеческой природы. Наследственностью об'ясняются его морфологические признаки, его темперамент, его эволюции и влечения, его высшие познавательные способности, его историческая роль и значение, наконец, наследственными генотипами «создается духовная культура» и «новые, молодые, биологические расы» творят культурные эпохи, которые кончают существование, как только «выдающиеся генотипы, руководившие историей своей культуры, вымирали... от добровольного отказа от размножения». «Мощный взмах мыслей» евгенистов-генетиков дал им возможность открыть единый, универсальный принцип об'яснения человеческой жизни, «синтезировать» в единый биологический узел и природу, и индивидуального человека, и природу общества, и историю человеческой культуры. Этот узел — наследственность. Как-то невольно вспоминается не менее «великое» и «универсальное» учение Енчмена о «15 анализаторах», так просто «монистически» «об'яснившее» всего общественного человека.

Так расценивают роль человеческой наследственности наши евгенисты, рассматривая ее, как нечто самодовлеющее и неза-

[1]) Статья Серебровского, стр. 114 и 115.

висимое от внешней среды. Эта концепция представляется вредной как биологически, так и социологически в методологическом отношении. Биолог-материалист не мыслит себе жизненных явлений, протекающих во всех организмах, как что-то самодовлеющее, независимое от внешней среды. Вся жизнь, все развитие и образование организмов протекает не на основе какой-то «предустановленности», извнутри действующей, не на основе только внутренних факторов, а прежде всего под воздействием внешней среды, которая беспрерывно на эти организмы воздействует. Рассматривать наследственные признаки вне среды, им позволяющей развиться, их изменяющей и образующей,—значит орудовать голыми и беспочвенными абстракциями. Стоит взять любое свойство живого организма и весь организм в целом и на минутку представить их себе вне воздействий внешней среды, чтобы понять всю абсурдность этой «артогенетической» методологии. Что такое, напр., нервная система?—По нашим евгенистам это генетический комплекс, который можно и нужно разложить на отдельные гены. Но это определение страдает безусловной однобокостью и не выражает жизненной об'ективной характеристики нервной системы. Она не представляет собою просто комплекса наследственных свойств, но является образованием, создавшимся только в результате воздействий внешней среды, начиная с эмбрионального периода и кончая периодом полного развития. Человеческая нервная система развивается в утробе матери под безусловным влиянием внешних по отношению к ней явлений—выделений и давлений других органов, пищи и кислорода, доставляемых материнским организмом, и разных процессов, протекающих в материнском теле. Точно также изменяется и образуется нервная система после рождения человека на свет. Нервная система получает извне, и не может не получать, питательные вещества и кислород, выделяет продукты диссимиляции, одним словом, имеет с внешней средой обмен веществ, от которого она целиком зависит. Она беспрерывно «образуется», как аппарат приспособления к внешней среде, создавая под ее влиянием новые условные связи. И достаточно лишить ее пищи или кислорода, чтобы она умерла, достаточно лишить ее внешних раздражителей, чтобы она «уснула». Ибо ее деятельность совершенно немыслима помимо внешней среды. Все влияние этой последней является необходимым компонентом развития и действия, образующейся из наследственной основы нервной системы. Именно поэтому узкогенетический уклон в общей биологии нужно считать методологически вредным. Всякий организм не комплекс «просто» наследственных свойств, а «результат взаимодействия его наследственной природы и факторов внешней среды, в виде климата, пищи, почвы, температуры и пр.». Как и всякий организм, человек тоже не представляет собою какой-то метафизической наследственной сущности. Человек,—пишет Маркс,—для поддержания своего существования воздействует на природу вне его и тем изменяет свою собственную природу. Значит, эти изменения человека родятся в результате живого взаимодействия с внешней средой, а не «извнутри» его наследственной природы. Он изменяется морфологически под влиянием природных, профессиональных, бытовых и пр. условий. Он особенно сильно изменяется психически, при

что все развитие его психики есть постоянное нарастание качественно-новых элементов, определяющих ее содержание и направление. «С самого рождения социальная среда овладевает человеком и образует его мозг, представляющий лишь пригодный для восприятия всех впечатлений мягкий воск»,—пишет Плеханов в «Очерках по истории материализма». Социально-экономическая среда и воспитание формируют потенции, и, по преимуществу создавая на основе этих потенций практически безграничный комплекс новых связей, в конечном итоге «образуя его мозг», составляя его психическую жизнь.

Материалисты-диалектики говорят, — пишет Плеханов в статье «Нечто об истории»,—что «свойства» исторического человека, его привычки и стремления, его воззрения и идеалы, его симпатии и антипатии — изменяются вместе с ходом общественного развития, которое обусловливается причинами, лежащими не в самом человеке, а вне его [1]). Это изменяющее влияние причин, лежащих вне человека, нужно понять, и только после этого человеческая природа, «как она есть», станет нам понятной. А беспардонно валить все в одну метафизическую кучу «врожденного», как это делают наши евгенисты,—значит отказываться от действительного исследования человеческой природы, забивая головы читателей их произведений вздорным или бесполезным вымыслом. Из этого, конечно, не следует, что наследования определенных психических потенций у человека не имеется. Еще Плеханов, рассуждая о роли личности в истории, писал, что, конечно, мы никогда не сумеем об'яснить влиянием среды всю индивидуальность гения» [2]). Точно также мы никогда не об'ясним средою и любого другого человека. Но суть вопроса совсем не в том, чтобы, так сказать, «свести» человека к внешней среде. Этого никто и никогда делать не пытался. Задача заключается в том, чтобы об'яснить человека в целом истинными причинами его формирующими (для евгенистов это особенно важно потому, что на этом они строят свою евгеническую практику!). Но для всякого непредубежденного ума должно быть ясно, что на первом месте и по силе воздействия и по результатам этого воздействия—стоит социальная среда. Человек не есть комплекс генов, он не есть просто—«выросшее» оплодотворенное яйцо,—он прежде всего и больше всего продукт, как говорит Сеченов, «восприятия в широком смысле этого слова», принципиально, качественно изменяющего его природу с первых же лет его существования. И всякому, кто желает выяснить, отдифференцировать наследственную природу, «генотип» индивидуального человека, на котором социальная среда разворачивает свою творческую деятельность—должно начать с главного—с изучения условий «воспитания» человека, его «фенотипических», выражаясь генетически, признаков, порожденных этим «воспитанием». Только после этого перед исследователем могут выясниться наследственные задатки человека. А итти по пути наших евгенистов—начинать наследственностью и ею кончать—значит никуда не итти, значит стоять на месте. Человеческая природа превращается ими в ка-

[1]) Плеханов. Сочин., т. VIII, «Нечто об истории», стр. 228.
[2]) Там же, т. VII, стр. 222.

кую-то мистически-метафизическую сущность, причины развития и образования которой выбрасываются из поля нашего зрения. Человек нечто «изнутри» данное, сумма наследственно-закрепленных свойств, которые при индивидуальном развитии разворачиваются, «растут», не изменяясь качественно, не приобретая ничего принципиально-нового. А это безусловная метафизика, противоречащая общепризнанным представлениям о развитии, об эволюции. «Нужно заметить,—пишет Плеханов,—что метафизики умеют искажать и самое учение о развитии». «Когда они говорят о возникновении какого-нибудь явления или учреждения, они представляют дело так, как-будто это явление или учреждение было когда-то очень маленьким, совсем незаметным, а потом постепенно подрастало. Когда речь идет об уничтожении и пр.[1]). На путь такой метафизики твердо стали наши евгенисты. Все развитие социального человека, под воздействием причин, лежащих вне его, они рассматривают как рост, постепенное проявление «изнутри» данных, генами представленных свойств. Человек психически развивается, но это развитие есть простое «заполнение» его синтезаторских центров и закрепление уже существующих межцентровых связей. Его развитие безусловно существует, но оно предначертано «конституционным типом» его «высших познавательных способностей», тем комплексом ген, которые заключаются в половых клетках, из которых человек развился. На человека среда, конечно, влияет, но это влияние касается только «поверхности», не изменяя самого существа—врожденной, наследственно-данной природы. И, наконец, эта метафизика воспроизводится в совсем уродливых формах, когда евгенисты кончают говорить об исторической роли наследственных генотипов — людей, «характеристикой» которых является «характеристика каждой отдельной культуры». В этой метафизике заключается самая квинт-эссенция теоретических построений наших евгенистов.

Социально-экономическая среда прямо или косвенно (через труд) изменяюще влияет на природу человека, формируя его психику—влечения, интеллект, даже отчасти эмоции, темперамент и морфологические признаки. Наследственная генотипическая природа человека в свете этой мысли играет роль только активного субстрата, в котором внешняя среда разворачивает свою творческую деятельность. Какое биологическое выражение дать этому субстрату, как реально представить себе эту наследственную основу, точно охарактеризовав заложенные в ней потенции,—мы решать не беремся: слишком мало точных данных имеется в распоряжении современной генетики. Во всяком случае, никчемные спекуляции об ограниченной «емкости» центров, о конституционных межцентровых связях, о неподатливых для влияния внешней среды генах и генотипах—удовлетворить совершенно не способны.

---

[1]) Плеханов, К вопросу и т. д., т. VII, стр. 121.

К вопросу об особенностях исторического развития России.

М. Покровский.

I.

О пользе не быть профессором, с некоторыми историческими замечаниями о природе русского самодержавия.

Года два назад один профессор московского университета, поехав по командировке за границу, остался там и по истечении срока командировки, приглашенный на службу одним нашим, советским, заграничным учреждением, которое не могло обойтись без его услуг.

Когда он пожелал при таких условиях сохранить «звание» профессора, государственный ученый совет разъяснил ему, что в РСФСР профессор—не з в а н и е, а д о л ж н о с т ь, связанная с определенными функциями. Если человек без уважительных причин—командировка, болезнь—в течение г о д а не выполняет профессорских функций, он автоматически перестает быть профессором.

Я, помню, очень спорил с этим постановлением. Мне казалось, что лишение права называться «профессором» для человека, много лет носившего это имя и ничем себя не дискредитировавшего, есть незаслуженная обида, а по отношению к загранице есть бестактность. Но подсекция высших учебных заведений научно-политической секции государственного ученого совета (! Ну-ка, вы, разные там европейцы, есть у вас такие названия? То-то! Велика наша земля!..) была тверда. Не ведешь занятий, значит не профессор и больше никаких!

Думал ли я тогда, что через два года мне придется радоваться своему поражению? (вот настоящая-то диалектика истории, тов. Слепков!). В самом деле, подумайте, дорогой читатель: единственное учебное заведение, дававшее мне право на профессорский стул, это был ФОН 1-го МГУ. Я там не веду никаких занятий уже два года. Уже год, как я имею право, законнейшее

право, засвидетельствованное государственным ученым советом, **не называться профессором.**

Вы спросите, что же тут особенного? Вот то-то, что вы не профессор и наших «законов и обычаев» не знаете. Это значит, что я имею колоссальную привилегию, дьявольскую привилегию, какую могли для себя придумать только большевики: **признаваться в своих ошибках.**

Основное качество профессора, как и римского папы,—непогрешимость. Если рука профессора опишется и вместо «Иван» начертит «диван»—крышка: на долгие месяцы пойдет полемика, доказывающая, что это именно «диван», а не «Иван», вещь, а не лицо. Милюков в своей диссертации о государственном хозяйстве петровской России (превосходной для своего времени книге, между прочим) «увлекся» и использовал цифры одной петровской переписи, опороченные тогда же, в начале XVIII в. Красочные очень были цифры и вели как раз туда, куда нужно было Милюкову. «Ученые друзья» не преминули «осветить этот инцидент в печати». Вы думаете, Милюков признался в своем увлечении? Ничуть не бывало. Стали появляться статья за статьей, и в «Вестнике Европы», и в «Русской Мысли», доказывавшие, что с цифрами все обстоит совершенно благополучно, и что если им не верил Петр (умный был человек, даром, что Романов), то русские студенты конца XIX в. обязаны им верить безоговорочно. Напечатаны в профессорской книжке—а профессор непогрешим.

Красному профессору, тов. Слепкову, в его рецензии на мои «Очерки по истории революционного движения» («Большевик» 1924, № 14), посчастливилось открыть Америку, которая на проверку оказалась не марксистской, а троцкистской. Ему сие было раз'яснено («Под Знаменем Марксизма» 1924, № 12, статья пишущего эти строки). Так как самый вопрос (о социальной природе самодержавия) чрезвычайно элементарен и политическая география этих мест хорошо всем известна, то по существу дела спорить тут, действительно, трудно. Представление, будто в России самодержавие было, в начале XX века, первым предпринимателем и возглавляло промышленный капитализм, это представление нужно было тов. Троцкому, чтобы обосновать **его** теорию **перманентной революции**, и совершенно и низачем не нужно нам с тов. Слепковым. Наоборот, если бы **факт** был верен (ниже мы увидим, что и фактически картина не соответствует действительности), он был бы палкой в колесе большевистской концепции русского исторического процесса. Та роль, какую эта концепция отводит в процессе революционной борьбы деревне и крестьянину, совершенно не оправдывалась бы ничем, если бы самодержавие опиралось на промышленный капитал и его воз-

гианяю. Тогда самодержавие мог бы повалить только городской рабочий, и его одного было бы совершенно достаточно.

Все это столь просто и ясно, что, повторяю, спорить не о чем. Что положение т. Слепкова, когда ему раз'яснили, что именно он написал, было трудное—я не думаю отрицать. Лучше было бы, если бы рецензию посмотрел какой-нибудь компетентный товарищ до появления ее в печати. Но что ж поделаешь—слово не воробей, вылетит—не поймаешь. По совести говоря, я не могу придумать никакого способа самозащиты для т. Слепкова, кроме одного: попытаться заново переаргументировать, с фактами в руках, теорию тов. Троцкого,—выяснить, что в ней верно, что нет; ибо, несомненно, что-то представляется в ней тов. Слепкову верным—«на-ряду со многим неверным теоретически и политически т. Троцкий высказывал и многое верное», говорит он в своей последней статье [1]).

Когда т. Слепков это сделает,—посмотрим и поговорим. Пока же, перед нами типичное профессорское барахтанье на тему: «диван, а не Иван». «Не угодно ли», говоря словами т. Слепкова (и это Троцкий раньше вас сказал, т. Слепков!), полюбоваться на такой пассаж. Спор у нас с ним идет, как помнит читатель, о том, произошло ли к началу XX в. «социальное перерождение помещичьего государства», или это помещичье государство попрежнему было политической организацией старых, до-промышленных форм капитализма. И вот, т. Слепков с торжеством приводит такую цитату из одной моей статьи.

«Трудно найти лучший образчик исторической диалектики: помещичье имение вызывает к жизни железную дорогу, чтобы добраться до наиболее выгодного широкого европейского рынка; железная дорога родит металлургию, металлургия создает наиболее революционный отряд пролетариата, хоронящий прадеда всей системы—помещичье имение» («Правда» от 12/III—1924 г. Статья т. Покровского, 12 марта 1917 г.).

Что же из этого следует? Что я признаю диалектичность исторического процесса? Да когда же я ее отрицал? И какое отношение цитата имеет к нашему спору? Ведь, речь идет о социальном перерождении помещичьего государства. Что же, разве это помещичье государство, во главе пролетариата, похоронило помещичье имение? Разве это Николай, во главе рабочих-металлистов, совершил Октябрьскую революцию?! И где тут тень моего «согласия с т. Троцким», о котором (согласии) говорится на следующей странице статьи тов. Слепкова? Разве это Троцкий выдумал, что пролетариат был гегемоном рус-

[1]) А. Слепков. Не согласны!—„Большевик“ 1925 г., № 5-6 (21—22)

ской революции? Это было одним из основных положений большевистской концепции еще в те годы, когда т. Троцкий ничего общего с большевиками не имел.

Но это еще цветочки—ягодки впереди. Дальше идет цитата уже из тов. Ленина, по поводу временного правительства марта 1917 г.

«Это правительство не случайное сборище лиц. Это представители нового класса, поднявшегося к политической власти в России, класса капиталистических помещиков и буржуазии, который давно правит нашей страной экономически и который, как за время революции 1905—1907 г.г., так и за время контр-революции, за время 1907—1914 гг., так, наконец, и при том с особенной быстротой, за время войны 1914—1917 г.г. чрезвычайно быстро организовался политически, забирая в свои руки и местное самоуправление, и народное образование, и с'езды разных видов, и думу, и военно-промышленный комитет и т. д. Этот новый класс почти совсем был уже у власти к 1917 г.» (Ленин, Собр. соч., т. XIV, часть 1: «Первый этап первой революции», стр. 9—10).

Тут уже совсем ничего не поймешь (не в словах Ленина—они великолепны и исторически вполне правильны, а ничего не поймешь у т. Слепкова). Что же, эти «капиталистические помещики и буржуазия» были опорой самодержавия, что ли? Ведь, перед февралем эти «капиталистические помещики и буржуазия» устраивали заговор против самодержавия, с целью заменить самодержавие парламентской монархией, т.-е. типичной политической организацией промышленного капитала. Зачем же это понадобилось промышленному капиталу сбрасывать Николая, коли он и без того представлял именно этот самый промышленный капитал? Ведь вся эта предварительная организация «капиталистических помещиков и буржуазии» проходила, как организация оппозиции против самодержавия. Что же, значит, тут «своя своих не познаша», что ли?

Как видит читатель, об'яснение от профессорского барахтания—самое выгодное для тов. Слепкова. Ибо иначе пришлось бы предположить, что обе цитаты рассчитаны на «дурачков», как любил выражаться покойник Ильич,—рассчитаны на то, чтобы запугать читателя словами, в надежде, что до смысла этих слов он не доберется. Второе предположение было бы слишком уже не лестно для тов. Слепкова (не лестно для его ума, прежде всего: ведь, он же не в пустыне ораторствует, у него собеседники есть, и те могут об'яснить даже и «дурачкам», в чем дело, ибо дело до крайности просто).

Лучше, приятнее для автора этих строк, и менее обидно для тов. Слепкова предположить, что тут просто опасается профессорское самолюбие. «Диван, а не Иван!» Но в конце концов все-таки Иван—и перед тов. Слепковым, в этом вопросе, одна альтернатива: или признаться, что нечаянно у него написалось не то, что думалось, или стать новым апологетом исторических теорий тов. Троцкого.

Я не буду останавливаться на ответе тов. Слепкова тов. Рубинштейну,—но не могу пройти молча мимо одной особенности этого ответа: его тона. Какое величественное презрение «профессора» к «студенту»! (т. Рубинштейн еще не окончил курса Института Красной Профессуры). По существу т. Рубинштейн сумеет за себя сам ответить. Обращаю его внимание на то, что в вопросе о купце и помещике кое-чему т. Слепков от нас с ним научился. Он уже говорит о «торговом дворянстве». Как же это так, тов. Слепков: ведь «купец и помещик играют различную роль в процессе производства» и их «никак нельзя об'единять в одну категорию» («Большевик», № 14, стр. 114—115)? Правда, в этой, цитированной сейчас, статье тов. Слепков признает, что помещик был, кроме того, и торговцем». Но тогда почему же весь шум против тов. Рубинштейна?

* * *

Но оставим профессорские самолюбия и профессорские привычки,—которых, очевидно, одним прилагательным «красный» не истребить. Инцидент с тов. Слепковым, должен сказать, не первый—и не самый плохой—образчик того, как эти привычки быстро и легко укореняются. Все это, однако, интересно лишь, как образчик прочности переживаний: а из этих переживаний самое прочное—и гораздо более интересное для нас—то, которое отказывается признавать тов. Слепков, закоченевшее почти без перемен до XX столетия и сложившееся в XVI—XVII в.в. русское самодержавие.

Никакие, самые совершенные, методы консервирования не могли бы дать лучшего эффекта. В первой четверти XVI века опальный боярин Берсень-Беклемишев, жалуясь Максиму Греку на «новые порядки», т.-е. на зарождавшийся абсолютизм, так их определял: «ныне государь наш, запершись сам третей у постели, всякие дела делает».

Перечитайте теперь переписку 1915—1916 г.г. Александры Федоровны с Николаем: разве не буквально так же, «запершись сам третей», Николай, Александра и Распутин, «все дела делали»? Четырех веков как будто и не бывало! И как Василий Иванович (отец Грозного), к которому относилась характеристика Берсеня, прогонял сказавшего ему неугодное в думе боярина словами:

«ступай, смерд, вон, ты мне ненадобен!», так Николай II встречал фразой о «бессмысленных мечтаниях» людей, которых он только подозревал, что они хотят сказать что-то, ему не угодное.

Быть может, это сохранение методов, не только методов выражаться, но и методов действия, самое характерное изо всего. Почитайте у Штадена описание методов действия опричнины Ивана Грозного: это погром [1]). Кому бы пришло в голову, что в начале XX века это будет все еще любимый метод действия абсолютизма в борьбе с противниками? И при этом так же пытали и так же вешали. Правда, не сажали на кол и не жарили на сковороде. Но к этому только и сводилась вся «динамика социального содержания» русского абсолютизма. В остальном на протяжении 4 веков он оставался верен себе.

Эту закоченелость политической формы, конечно, нельзя принять, как нечто, само собою разумеющееся. Как ни много нехорошего можно сказать об Англии лорда Керзона, но сказать, что Керзон, хотя бы и с некоторым смягчением, воспроизводил методы управления Генриха VIII [2]), никак нельзя. В Англии за четыреста лет произошло, действительно, радикальное «перерождение» политической верхушки [3]). А вот у нас, в России, нет.

Шаблонное, банальное, обывательское об'яснение этого мы знаем: Россия—отсталая страна, она развивалась крайне медленно, и т. д. и т. д. Теперь, после ряда марксистских работ, исторических или ставших историческими (написанные в конце XIX столетия «Наши разногласия» или «Развитие капитализма в России», теперь такие же исторические книжки, как «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса) мы знаем, что между Россией и Западом в этом резкого расхождения нет. Экономически, в новое время Россия развивалась даже быстрее Западной Европы. Крепостное право в Англии ликвидировано в незапамятные времена, во Франции последние его остатки смела революция конца XVIII в., а в России его остатки—и очень почтенные—дожили до XX столетия: и, тем не менее, Россия перед революцией была страной промышленного капитализма, начинавшего переходить в финансовый. По концентрации производства Россия начала XX в. стояла выше Германии (у нас в предприятиях более, чем с 1.000 рабочих было занято 24% всех рабочих, в Германии 8%), а по абсолютным цифрам выше даже Америки (в 1914 г. в предприятиях с 1.000 рабочих и более в России

---

[1]) См. Генрих Штаден. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. М., изд. Сабашниковых, 1925. Особ. стр. 143 сл.

[2]) Английский Иван Грозный, XVI столетия.

[3]) Мы говорим, конечно, о самой Англии, а не о колониях—как и сейчас мы говорили о самой России.

было занято 1.300 тыс. человек, в Соединенных Штатах 1.255 т., при чем на каждое русское предприятие приходилось 2.490 рабочих, а на американские 1.940; но тут, конечно, нужно иметь в виду американскую машинизацию). Господство банкового капитала носило резко выраженные формы: в руках банков у нас было 86% всей добычи нефти, 76,9% всей добычи каменного угля, 85,8% всей металлургии.

По темпу своего роста русская металлургия за последние десятилетия перед войной занимала первое место в мире, что видно по следующей таблице выплавки чугуна:

ГОДА.	Соединенные Штаты.	Англия.	Германия.	Франция.	Россия.
	Миллионы тонн.				
1890. . .	9,2	7,9	4,6	1,9	0,9
1913. . .	30,9	10,2	19,2	5,2	4,7
1913 г. в % к 1890 г. . . .	336	129	418	273	522

Русская металлургия выросла за 24 года слишком в 5 раз, тогда как даже германская выросла лишь в 4 раза, американская в 3⅓. По количеству веретен русская прядильная промышленность уже в 1891 занимала первое место на континенте Европы (6 миллионов; Франция 5,04, Германия 5—остальные страны материковой Европы менее 3; на первом месте шла Англия с 44 миллионами веретен).

Легенду об «отсталости» и «медленном росте» приходится оставить. А политические методы Ивана Грозного остаются на своем месте. И можно понять искушение, в которое впали тов. Троцкий и его последователи: а не произошло ли какого-нибудь «сращения» этих методов с этой бурно развивающейся капиталистической индустрией? Не промышленный ли это капитал в шапке Мономаха расстреливал петербургских рабочих и латышских крестьян, громил кишиневских и одесских евреев и пачками вешал русских студентов за найденный в кармане браунинг?

Чтобы ответить на этот вопрос, возьмем один документ, вышедший из-под пера одного из самых сознательных слуг самодержавия конца XIX века. Читатель, вероятно, знает, каких поистине чудовищных размеров достиг русский протекционизм, русские таможенные пошлины в конце XIX в. Я об этом привожу данные в своих «Очерках», ставших предметом критики

тов. Слепкова [1]). Об'яснение, которое я там даю,—изображая эти пошлины, как вещь, исключительно характерную для развития в России империализма,—неверно. Империализм может развиваться как в странах с высокими таможенными тарифами, вроде Соединенных Штатов, так и в странах умеренного протекционизма, вроде Германии или Франции, и даже в странах свободной торговли, какова Англия. Но одно остается всецело в силе: без этих чудовищных таможенных пошлин не было бы того бурного роста русской крупной промышленности, о котором говорилось выше.

Казалось бы, русские государственные люди эпохи Александра III должны были придавать громадное значение таможенной тарифной политике—ведь на этом держалось все хозяйство, шутка ли! И вот перед нами секретная, не для публики, записка Бунге, бывшего министром финансов при Александре III, человека очень образованного, даже ученого,—он был долгие годы профессором политической экономии в Киеве и умер членом академии наук. В его записке 137 печатных страниц. На них говорится обо всем, о чем угодно—и о национальной политике, и о еврейском вопросе, и о переобремененности занятиями министров, и об остатках подушной подати в Сибири: и во всем этом винигрете на долю таможенных пошлин приходится пять строчек. Вот они: «Таможенные пошлины требуют серьезного пересмотра: надо упростить систему,—разумнее установить покровительство, сохранив за ними тенденцию для предоставления перевеса отпуска над привозом, для облегчения земледелия и потребления беднейших классов». Немножко меньше, чем дано остаткам подушной подати (ей отведено 10 строк)—раз в 100 меньше, чем уделено еврейскому вопросу... А протекционизм начал расцветать именно в министерство Бунге.

Решительно, евреями министры Александра III интересовались больше, чем таможнями. Несомненно, что отношение к евреям является одной из характерных черт социального содержания данной политической системы. Ни в одном государстве промышленного капитала вы не найдете никаких правоограничений для евреев. Тогда как во всех государствах торгового капитала они были. И вот, Бунге твердо стоит на том, что «предоставление евреям права повсеместной оседлости в России в настоящее время (1895 год!) было бы преждевременным». Это для него «не подлежит сомнению». А Бунге из министров Александра III считался либералом, и промышленно-капиталистическая оппозиция, в лице «левых земцев» и их прессы («Русские Ведомости», «Вестник Европы») относилась к нему мягко. О том

[1]) „Очерки", стр. 119—120

ва, что не только думали, а делали тогда по этому вопросу и либералы, сам Бунге не мог писать без содрогания [1]).

Обзор «всеподданнейших» докладных записок русских министров финансов 1880 годов привел недавно одного молодого исследователя к выводу, что эти министры смотрели на таможенные пошлины только с фискальной точки зрения, видели в них только источник государственных доходов: т.-е. что до Витте протекционизма, «покровительственной системы» в России никто сознательно не применял. В такой форме это утверждение, конечно, не верно—доказательством служат не только цитированные слова Бунге, где прямо говорится о «покровительстве», но и кое-какие письма и слова еще Александра I и Николая I. Но в такую ошибку легко впасть: так мало звучали интересы промышленного капитала в русской финансовой политике последней четверти XIX века.

И из слов Бунге видно, что суть дела для него была не в покровительстве, а в «перевесе отпуска над привозом», т.-е. в активном торговом балансе. Если искать непосредственной материальной опоры последних самодержцев, то ею будет именно этот активный баланс. Активный баланс был царем и богом последних десятилетий императорской России. С ним падали и возвышались министры. Когда он ухудшался и грозил стать пассивным, цари ворочались ночью на своей постели, а если ухудшение шло «всерьез и надолго», у них вырывались истерично фразы, что теперь ничего не остается, как взяться за меч. Когда Сазонов доказывал Николаю II, в ноябре 1913 года, необходимость войны с Германией из-за Константинополя, он аргументировал от торгового баланса.

Согласно об'яснительной записке министра финансов к проекту государственной росписи доходов и расходов на 1914 год, торговый баланс России в 1912 году был на 100 миллионов менее в сравнении со средним активным сальдо за предыдущие три года. Причиной этого министерство признает недостаточно удовлетворительную реализацию урожая; затруднение в вывозе хлеба, помимо стихийных причин, произошло вследствие временного закрытия Дарданелл для торговых судов всех наций. В связи

[1]) См. то, что он говорит об изгнании еврейских ремесленников из Москвы Сергеем Романовым. Мимоходом, он выбалтывает кое-что любопытное об отношении „образованного общества" к еврейству. „С разрешением получать высшее образование почти во всех учебных заведениях наравне с христианами, евреям по закону сделались доступными все отрасли государственной службы. Если поступление на последнюю было для них затруднено, то лишь потому, что некоторые начальствующие лица не сочувствовали наплыву евреев в администрацию, а университетские коллегии не избирали евреев на места преподавателей".

тов. Слепкова [1]). Об'яснение, которое я там даю,—изображая эти пошлины, как вещь, исключительно характерную для развития в России **империализма**,—неверно. Империализм может развиваться как в странах с высокими таможенными тарифами, вроде Соединенных Штатов, так и в странах умеренного протекционизма, вроде Германии или Франции, и даже в странах свободной торговли, какова Англия. Но одно остается всецело в силе: без этих чудовищных таможенных пошлин не было бы того бурного роста русской крупной промышленности, о котором говорилось выше.

Казалось бы, русские государственные люди эпохи Александра III должны были придавать громадное значение таможенной тарифной политике—ведь на этом держалось все хозяйство, шутка ли! И вот перед нами секретная, не для публики, записка Бунге, бывшего министром финансов при Александре III, человека очень образованного, даже ученого,—он был долгие годы профессором политической экономии в Киеве и умер членом академии наук. В его записке 137 печатных страниц. На них говорится обо всем, о чем угодно—и о национальной политике, и о еврейском вопросе, и о переобремененности занятиями министров, и об остатках подушной подати в Сибири: и во всем этом винигрете на долю таможенных пошлин приходится **пять строчек**. Вот они: «Таможенные пошлины требуют серьезного пересмотра: надо упростить систему,—разумнее установить покровительство, сохранив за ними тенденцию для предоставления перевеса отпуска над привозом, для облегчения земледелия и потребления беднейших классов». Немножко меньше, чем дано остаткам подушной подати (ей отведено 10 строк)—раз в 100 меньше, чем уделено еврейскому вопросу... А протекционизм начал расцветать именно в министерство Бунге.

Решительно, евреями министры Александра III интересовались больше, чем таможнями. Несомненно, что отношение к евреям является одной из характерных черт социального содержания данной политической системы. Ни в одном государстве промышленного капитала вы не найдете никаких правоограничений для евреев. Тогда как во всех государствах торгового капитала они были. И вот, Бунге твердо стоит на том, что «предоставление евреям права повсеместной оседлости в России в настоящее время (1895 год!) было бы преждевременным». Это для него «не подлежит сомнению». А Бунге из министров Александра III считался либералом, и промышленно-капиталистическая оппозиция, в лице «левых земцев» и их прессы («Русские Ведомости», «Вестник Европы») относилась к нему мягко. О том

[1]) „Очерки", стр. 119—120

за, что не только думали, а делали тогда по этому вопросу не-либералы, сам Бунге не мог писать без содрогания [1]).

Обзор «всеподданнейших» докладных записок русских министров финансов 1880 годов привел недавно одного молодого исследователя к выводу, что эти министры смотрели на таможенные пошлины только с фискальной точки зрения, видели в них только источник государственных доходов: т.-е. что до Витте протекционизма, «покровительственной системы» в России никто сознательно не применял. В такой форме это утверждение, конечно, не верно—доказательством служат не только цитированные слова Бунге, где прямо говорится о «покровительстве», но и кое-какие письма и слова еще Александра I и Николая I. Но в такую ошибку легко впасть: так мало звучали интересы промышленного капитала в русской финансовой политике последней четверти XIX века.

И из слов Бунге видно, что суть дела для него была не в покровительстве, а в «перевесе отпуска над привозом», т.-е. в активном торговом балансе. Если искать непосредственной материальной опоры последних самодержцев, то ею будет именно этот активный баланс. Активный баланс был царем и богом последних десятилетий императорской России. С ним падали и возвышались министры. Когда он ухудшался и грозил стать пассивным, цари ворочались ночью на своей постели, и если ухудшение шло «всерьез и надолго», у них вырывались неминуемо фразы, что теперь ничего не остается, как взяться за меч. Когда Сазонов доказывал Николаю II, в ноябре 1913 года, необходимость войны с Германией из-за Константинополя, он аргументировал от торгового баланса.

Согласно об'яснительной записке министра финансов к проекту государственной росписи доходов и расходов на 1914 год, торговый баланс России в 1912 году был на 100 миллионов менее в сравнении со средним активным сальдо за предыдущие три года. Причиной этого министерство признает недостаточно удовлетворительную реализацию урожая; затруднение в вывозе хлеба, помимо стихийных причин, произошло вследствие временного закрытия Дарданелл для торговых судов всех наций. В связи

[1]) См. то, что он говорит об изгнании еврейских ремесленников из Москвы Сергеем Романовым. Мимоходом, он выбалтывает кое-что любопытное об отношении „образованного общества“ к еврейству „С разрешением получать высшее образование почти во всех учебных заведениях наравне с христианами, евреи по закону сделались доступными все отрасли государственной службы. Если поступление на последнюю было для них затруднено то лишь потому, что некоторые начальствующие лица не сочувствовали наплыву евреев в администрацию, а университетские коллегии не избирали евреев на места преподавателей“.

с этим весною последовало также повышение Государственным банком учета на $\frac{1}{2}$% для трехмесячных векселей. Таким образом временное закрытие проливов отразилось на всей экономической жизни страны, лишний раз подчеркивая все первостепенное для нас значение этого вопроса. Если теперь осложнения Турции отражаются многомиллионными потерями для России, хотя нам удавалось добиваться сокращения времени закрытия проливов до сравнительно незначительных пределов, то что же будет, когда вместо Турции проливами будет обладать государство; способное оказать сопротивление требованиям России?»

А когда война была уже в виду, и Николаю до зарезу нужна была формальная гарантия Англии,—продолжавшей играть с последним Романовым в кошки и мышки,—он говорил (в апреле 1914 г.) Бьюкенену: если возобновятся враждебные действия между Грецией и Турцией, турецкое правительство закроет проливы. К этой мере Россия не может остаться равнодушной, так как это подорвало бы одинаково и ее торговлю, и ее престиж. «Чтобы вновь открыть проливы,—сказал Николай,—я прибегну к силе».

На карту было поставлено все—из-за интересов торговли. Тов. Троцкий может сколько угодно повторять обо мне, что я струвианец, бюхерианец и тому подобное,—с упрямыми историческими фактами я ничего не могу поделать. Война 1914 г. была для России ближайшим образом торговой войной, и это совершенно сознательно ставилось ее официальными кругами. В записке, представленной Николаю в ноябре 1914 года, на другой день после разрыва с турками, ее автор, Базили (он потом сочинял в ставке отречение Николая), повторив знакомую нам аргументацию Сазонова от торгового баланса, заканчивает: «Свобода морского торгового пути из Черного моря в Средиземное и обратно является таким образом необходимым условием правильной экономической жизни России и дальнейшего развития ее благосостояния. Примером того, как давно сознается эта истина, могут служить следующие слова, написанные французским публицистом Фавье в 1773 году. «Война России с Турцией является прежде всего торговой войной, ибо для России черноморская торговля имеет столь же важное значение, как для Франции, Испании и Англии торговля американская».

Русский абсолютизм не только об'ективно был «политически организованным торговым капитализмом», он и мыслил себя, как таковой. В последнем он мог ошибаться, скажет читатель: но, во всяком случае, такая закоченелость идеологии (на этот раз от времен Екатерины II до XX века) не менее характерна, чем закоченелость «формы правления» и способа выражаться правителей. Посмотрим, однако же, были ли у этой веры в свою «тор-

гости» какие-нибудь об'ективные основания. Для этого нам придется на минуту заняться божеством последних Романовых, торговым балансом.

Для ясности даем табличку.

Русский торговый баланс, по пятилетиям с 1861 по 1906 год, по годам с 1908 по 1913 (+ активный—пассивный).

	Миллионы руб.	
1861—1865 г.	+ 19,1	
1866—1870 „	—	— 0,4
1871—1875 „	—	— 95,1
1876—1880 „	+ 9,6	
1881—1885 „	+ 55,7	
1886—1890 „	+ 238,6	
1891—1895 „	+ 158,0	
1896—1900 „	+ 90,8	
1899—1903 „	+ 192,8	
1904—1908 „	+ 335,7	
1909 „	+ 581,3	
1910 „	+ 431,4	
1911 „	+ 491,3	
1912 „	+ 391,3	
1913 „	+ 200,4	

Первое, что эти ряды цифр показывают, это, что торговый баланс и внешняя политика последних Романовых не впервые связались в 1914 году. Мы имеем до этого два крупных спуска кривой баланса—в первый раз «ниже нуля» в пятилетие 1871—1875 гг., второй раз почти до нуля в 1896—1900 годах (в наших пятилетних средних этот второй спуск скрадывается: на деле сальдо в пользу России в 1899 г. упало до 7,2 милл. з. р.; в то время это многие считали предвестием падения Витте). В первый раз мы вслед за этим имеем русско-турецкую войну 1877—1878 гг.; второй раз после этого начинается подготовка к войне с Японией (1900 год—завоевание Маньчжурии, в 1901 г. Николай впервые заговаривает о возможной войне с Вильгельмом II). Каждый раз падение баланса вызывало пароксизм империалистской лихорадки у Романовых. Конечно, было бы непростительным «упрощенством» сводить все к этому. Нигде закон множественности причин не сказывается с такой силой, как в вопросе о возникновении войн. В частности, участие России в войне 1914 года об'ясняется гораздо более общими, мировыми причинами, нежели местными [1]). Но поскольку в этих войнах

[1]) См. мою статью „Как возникла война 1914 года?“ в „Пролетарской Революции“.

был и «национальный» момент, он был связан в первую голову именно с торговлей—с промышленностью лишь во вторую очередь.

И это, прежде всего, потому, что и русская промышленность зависела от активного баланса—и, быть может, не меньше, чем Романовы и их казна. Чтобы видеть это, достаточно беглого взгляда на состав русского ввоза. Возьмем, для примера, импорт 1913 года, последнего предвоенного [1]). В этом году общая цифра привоза достигла 1.220,5 милл. руб. Из них почти половина, 570 миллионов, приходится на промышленное сырье и полуфабрикаты, на машины и металлы не в деле, т.-е. материал для машиностроения,—наконец, на каменный уголь и кокс: почти наполовину наш импорт обслуживал промышленность. Быстрый темп развития нашей промышленности нельзя себе представить без этого подвоза средств производства из-за границы. Активное сальдо 1913 года, как мы знаем, не превышало 200 милл. руб. Русской промышленности пришлось приплатить за необходимые ей вещи 370 милл. рублей. Представьте себе, что это повторялось бы в течение ряда лет, и вы поймете, что этой промышленности пришлось бы сжиматься, пришлось бы урезывать себя,—и скоро от ее роскошного темпа развития ничего бы не осталось, кроме приятных воспоминаний.

Между тем, самый баланс от промышленности зависел в весьма ничтожных размерах. Правда, под конец рассматриваемого нами периода Россия вывозила порядочное количество хлопчатобумажных тканей (до 41 милл. р. по азиатской границе в 1913 г.) и немного рельс (до 7,7 милл. рублей в 1909 г.), но для общего итога это была капля в море. От промышленной кон'юнктуры баланс нисколько не зависел, и даже имел странную тенденцию становиться к ней в обратную пропорцию. Начало 80-х годов отмечено кризисом, а баланс резко повысился. В 90-х годах мы имеем бурный под'ем промышленности, а сальдо к концу этого десятилетия резко падает. И самое колоссальное сальдо, неслыханное, почти в 600 милл. руб., падает на 1909 год, последний год длинного промышленного кризиса начала XX столетия. Когда русская промышленность была при последнем издыхании, русская торговля имела более румяные щеки, чем когда бы то ни было.

Эта зависимость нового от старого, промышленного капитала от торгового (что и тот, и другой начали уже свое перерождение в финансовый, что и торговля, и добрая доля промышленности сосредоточивалась в руках банков, дела не меняет, ибо специфические функции промышленного и торгового капиталов сохра-

[1]) Ст. „Народное Хозяйство в 1913 г.“, изд. министерства финансов. Для всех подробностей отсылаю читателя туда.

шются и в период финансового капитализма [1]), а у нас они имели каждый и свою специфическую базу, см. ниже), об'ясняет нам основные особенности нашей социально-политической истории этого периода. Только при свете этих фактов становится конкретной истиной фраза первого манифеста Р. С.-Д. Р. П., что буржуазия, чем далее на восток, тем подлее. Это не было каким-то сверх'естественным свойством этой буржуазии. Это вытекало из того материального факта, что промышленная буржуазия у нас должна была еще итти на поводу у торговой. Только эта последняя всецело стояла на своих ногах, первая же зависела не только от иностранного капитала, что все давно и хорошо знают, но и от торгового баланса, что менее известно, при чем первая зависимость усиливала вторую: если мы возьмем не торговый, а платежный баланс предвоенной России, т.-е. приложим к пассиву % по заграничным займам (в 1913 г. почти 200 милл. руб.),— от якобы активного сальдо ничего не остается.

Было более чем достаточно оснований, таким образом, чтобы в России конца XIX века, а с поправками на все возрастающее влияние мирового финансового капитала, и в начале XX—торговый капитал играл первую скрипку, а промышленный лишь вторую. После 1907 года это и находило себе политическое выражение в той приниженной, но все же активной роли, которую играла государственная дума, где имели голос и промышленные капиталисты с обслуживавшей их интеллигенцией. Социально этот компромисс выразился в столыпинском законодательстве, которое подробно рассмотрено в моих «Очерках». Нам более или менее ясно теперь, почему торговый капитал еще и в это время мог играть роль хозяина, а промышленный являлся как бы гостем, притом нельзя даже сказать, чтобы гостем почетным, а таким, которого пускают в комнаты по необходимости, но по уходе его зовут прислугу, чтобы она открыла форточки и изгнала запах неприятного посетителя. Отношение Александры Федоровны к Гучкову является тут очень хорошей иллюстрацией. Но если этого достаточно для об'яснения роли Гучкова, то этим еще не об'яснишь Распутина. Что позволяло торговому капитализму не только учить и командовать, но и являться в таком дезабилье, в котором ни в одной стране буржуазного мира он и подумать не посмел бы? Почему у нас была не просто бюрократическая монархия с фиговым листком куцой конституции, а самый настоящий азиатский деспотизм, вводивший наиболее экспансивных наблюдателей в искушение и все историческое развитие России зачислить по азиатскому департаменту? Почему гегемония торгового капитала сохранила у нас до XX века формы московского самодер-

---

[1]) См. Гильфердинг, Финансовый капитал, пер. Степанова, стр. 370.

жавия? На это один анализ торгового баланса ответа еще не дает. Надо, прежде всего, посмотреть, на чем этот баланс держался.

Торговый капитал сам по себе еще не обладает чудотворной силой творить самодержавие. Опорой абсолютизма он является на определенной ступени экономического развития, в определенной конкретной обстановке. Вывоз сельско-хозяйственного сырья для Соединенных Штатов конца XIX в., позже для Австралии, Канады, Аргентины играл не меньшую роль, чем для царской России. Но перечисленные страны вывозили продукты капиталистического сельского хозяйства—и хлебный вывоз не мешал им быть странами промышленного капитализма. В русской литературе есть некоторая склонность преувеличивать значение сельско-хозяйственного капитализма в России перед революцией. Но даже авторы, этой склонностью страдающие, должны признать, что на 21 милл. десятин пашни, обрабатывающейся при помощи наемного труда, в тех же районах Европейской России было 47 милл. дес. крестьянской надельной пашни: даже если считать всякое хозяйство, пользовавшееся наемным трудом, за капиталистическое, площадь капиталистического земледелия в России начала XX века составляла всего 30% всей пашни [1]). Но нет сомнения, что батраков нанимали и полукапиталистические, и лишь на четверть капиталистические хозяйства. С другой стороны, не-капиталистическое хозяйство не ограничивалось крестьянской надельной землей: другими его формами являлись отработочная аренда, испольщина и т. п. По данным другого исследователя (проф. Кондратьева) из всего хлеба, поступавшего в начале XX века на рынок, внутренний и внешний, 78,4% шло с крестьянских полей—и лишь 21,6% давало крупное, капиталистического типа, сельское хозяйство.

Торговый баланс романовской России держался не только на сельско-хозяйственной продукции, но на определенном типе этой продукции, на мелком хозяйстве. И это по той простой причине, что в России не только в 1830 году, когда об этом писал отец Муравьева-Виленского, а и 50 лет спустя отработочный крестьянин—прямой социальный потомок крестьянина барщинного—обходился дешевле наемного работника. Если мы возьмем стоимость всей пищи в год в рублях, с одной стороны, для батрака Орловской губернии, с другой—для однолошадного крестьянина соседней Воронежской, то первая цифра будет 40,5, а вторая лишь 27,5 [2]). Между тем, однолошадные и безлошадные крестьяне в черноземной полосе составляли

[1]) См. А. Шестаков, Капитализация сельского хозяйства России, стр. 41.

[2]) Ленин, Собрание сочинений III, стр. 126.

большинство крестьянского населения (для Орловской губ. 64,4%, см. Ленина там же, стр. 77). Главная масса нашей хлебной продукции опиралась не на эксплоатацию сельско-хозяйственного пролетария, а на эксплоатацию деревенской бедноты в тесном смысле этого слова, т.-е. деревенского паупера. Что этот паупер с 1861 года был юридически свободен (заплатив за это еще большей пауперизацией), это был, конечно, шаг к капиталистическому сельскому хозяйству, но только лишь первый шаг. И кон'юнктура на хлебном рынке сложилась такая, что для второго шага потребовалась революция 1905 года.

Что после этой революции абсолютизм существовал у нас в качестве факта, а не права, что между 1905 и 1917 годами у нас юридически был компромиссный, ублюдочный режим, только с преобладанием торгового капитала, об этом достаточно говорится в моих «Очерках», и повторяться я не буду. Этот компромисс в «Очерках» скорее преувеличен, нежели преуменьшен—и только волчьему аппетиту «теории перманентной революции» могло показаться, что и этого мало. Увы! На самом деле было меньше. На самом деле пред-военная Россия была более страною торгового капитала, нежели изображено у меня в «Очерках».

Прежде всего, еще один факт из чисто экономической области. Один из цитированных выше авторов, проф. Кондратьев, приводит любопытную табличку ссуд под хлеб, выдававшихся Государственным банком в 1910—1913 гг. Из этой таблички следует, что на 57,4 милл. рублей ссуды, выданных сельским хозяевам, т.-е., главным образом, помещикам—за эти годы пришлось 135,3 милл. р. ссуды, выданной хлебным торговцам: купец более, чем в два раза пожалован был щедротами царского Государственного банка, сравнительно с дворянином. И это, не считая 263,5 милл. р. ссуды, выданной тем же банком под дубликаты накладных, т.-е., опять-таки, тем же купцам [1]). Настолько торговый капитал выколачивавший хлеб из мелкого производителя, пользовался большим вниманием правительства Николая II, чем крупный сельский хозяин-предприниматель.

Но для того, чтобы выполнять свою функцию выкачивания прибавочного продукта из мелкого производителя, торговому капиталу мало было непосредственно торгового аппарата. Во всех странах и во все времена он прибегал для этой цели, в широчайших размерах, к внеэкономическому принуждению. Сохранение остатков внеэкономического принуждения в деревне составляет, быть может, характернейшую черту русского абсолютизма начала XX века. Как и антисемитизм, если даже не больше,

[1]) См. Шестаков, цит. соч., стр. 27.

это своего рода стигмат, «печать антихристова», штемпель, по которому безошибочно можно угадать тип данного государственного образования, даже не зная его экономической базы.

Мы совсем забыли о земском начальнике, с тех пор, как он перестал быть нам нужен для агитационных целей. Для людей возраста тов. Слепкова он, вероятно, даже сливается в одну общую кучу со всей царской администрацией, губернаторами, полицеймейстерами, исправниками и т. п.

Это совсем несправедливое и исторически неправильное к нему отношение. Губернаторы и полицеймейстеры имеются во всяком бюрократическом государстве. Им подчинены, в известном отношении, все «подданные» такого государства. Земский начальник есть сословная крестьянская власть. Ему были подчинены только крестьяне, но зато во всех отношениях. Функции земского начальника так хорошо забыты, что для многих молодых читателей полезно будет посмотреть в конкретном виде, на чье место стала в деревне советская власть.

«Широте круга обязанностей, возложенных на з. н., соответствует полнота вверенной им власти. Все сельские учреждения и должностные лица им подведомы и от них зависят. З. н. может распорядиться о созыве сельского схода, он назначает сроки для собрания волостного схода, имеет право дополнить представляемые ему списки дел, назначенных к рассмотрению на волостном сходе, подвергает взысканию лиц, участвовавших в составлении приговоров сельского или волостного схода по предметам, их ведению не подлежащим, останавливает исполнение приговоров волостных или сельских сходов, постановленных несогласно с законами, клонящихся, по его мнению, к явному ущербу сельского общества или нарушающих законные права отдельных членов сельского общества, утверждает в должностях волостных судей и старшин, равным образом, в случае признания незаконными выборов сходами других должностных лиц, он распоряжается о производстве при себе новых выборов; от него зависит устранение от должности сельских и волостных писарей в случае признания их неблагонадежными; ему принадлежит право подвергать должностных лиц сельских и волостных управлений за маловажные проступки по должности, без формального производства, денежному взысканию и даже аресту до 7 дней, а за более важные нарушения временно устранять их от должности и входить с представлениями в уездный с'езд о совершенном увольнении их от службы. Кроме того, до высоч. указа 5 окт. 1906 г. з. н. мог, по ст. 61 Полож. о з. н., подвергать, без всякого формального производства, и частных лиц, подведомственных крестьянскому общественному управлению, в случае неисполнения ими его законных распоряжений и требований, аресту до

трех дней или денежному взысканию не свыше шести рублей. Так как законным должно было считаться всякое распоряжение или требование з. н., которое могло быть оправдано соображениями о хозяйственном благоустройстве и нравственном преуспеянии крестьян, то ст. 61 Полож. должна была получить и действительно получила чрезвычайно широкое применение» [1]).

Даже для того, чтобы только обкарнать несколько власть земского начальника, понадобилась революция 1905 года. Пал же окончательно этот институт только вместе с самодержавием, в феврале 1917 года. Цитированные выше строки вышли ровно за год до этого события—меньше десяти лет тому назад.

Меньше десяти лет тому назад деревенская Россия, 85% русского населения, управлялась **д в о р я н а м и**. Ибо, по крайней мере теоретически, по букве закона, земский начальник был всегда из дворян местной губернии. На практике дворян с соответствующим образовательным цензом (не ниже кадетского корпуса) уже давно не хватало, и в корпус земских начальников все сильнее и сильнее просачивалась разночинная струя. Но это не было новостью для абсолютизма: дьяки XVI—XVII веков, «птенцы» и прибыльщики Петра I, лейб-кампанцы его дочери Елизаветы, гатчинские майоры и капитаны Павла I тоже не всегда могли показать свою родословную: и даже у более щепетильного и чопорного младшего сына Павла, Николая I, бывали министры из купеческих приказчиков (Канкрин) и из крещеных евреев (статс-секретарь Позен). Абсолютизм брал свое добро, где находил. Для него важна была не чистота крови, а чистота системы. Дворянин или нет, земский начальник обеспечивал внизу сохранность тех остатков крепостного строя, без которых не мог орудовать торговый капитал. Это было главное. Внизу тщательно оберегались те добрые вотчинные порядки, к которым так «привык» русский крестьянин. Со свойственным ему практическим здравым смыслом последний и не думал маскировать этих порядков, предоставляя это профессорам государственного права. Земского начальника крестьянин по-просту называл «**б а р и н о м**». Это и было, действительно, то, что осталось в деревне от барина и вотчинника после 1861 года [2]).

Но вотчинная власть внизу сама собою предполагала вотчинные порядки и наверху. Лучше всего и закончить это маленькое исследование о социальной природе русской государственности перед 1917 годом характеристикой, данною ей не каким-нибудь оппозиционным публицистом, а последним ее слугою, последним

---

[1]) Взято из словаря Гранат, том 42. Статья проф. Н. Полянского.

[2]) Предшественником земского начальника был, как известно, **м и р о в о й п о с р е д н и к**, созданный именно реформою 1861 г. Но тот был слегка замаскирован в попечителя об **и н т е р е с а х** крестьян: режим Александра II еще старался соблюдать „европейские“ формы.

министром внутренних дел Николая II, Протопоповым. Когда его допрашивали в чрезвычайной следственной комиссии временного правительства, между ним и председателем комиссии Муравьевым произошел следующий диалог:

«Протопопов.—Вот как было обыкновенно. Когда государь уезжал в Ставку, он говорил: «Если вам что нужно передать, то скажите государыне». Государыня же говорила: «Напишите Анне Александровне» [1]). Вот каким образом этот путь был несколько предуказан. Верно это, верно вы изволите выражаться, что если что-нибудь хочешь сказать, или ту или другую мысль выразить, то и напишешь ей. Это верно.

Председатель.—Я бы понял эту формулировку, если бы бывший император сказал так А. Д. Протопопову: «Если вы хотите что-нибудь передать, то пишите моей жене». Жена могла сказать: «Пишите близкому мне человеку». Но как мог министр внутренних дел пользоваться этим путем? Ведь вы были член официального правительства? Есть председатель совета министров, возбуждается серьезный вопрос, а вы пытаетесь провести свою точку зрения каким-то таким не формальным путем.

Протопопов.—Г. председатель, я понимаю; но я вас уверяю, этот путь не мной выработан. Это есть обычай. Этот обычай давно велся. Конечно, теперь я почувствовал, в чем была главная ошибка и мой грех. Но что было неправильно в корне, так это отношение к империи, как к вотчине.

Председатель.—Отношение к империи, как к вотчине?

Протопопов.—Вотчинное начало... И я в этот хомут вполне вошел. Мне надо было против этого спорить, а я влез туда и все время эволюционировал не в ту сторону, куда нужно» [2]).

Другими словами Протопопов высказал ту же мысль, что и Берсень-Беклемишев. Только тот смотрел на это с ужасом, как на валящуюся на голову гору, а этот с ужасом, как на пропасть, разверзшуюся у его ног. Один хотел спастись от нее в прошлое, другой в будущее. Но будущего у системы не было, и никуда она «эволюционировать» не могла.

Если бы могла, не понадобилось бы не только двух русских революций, 1905 и 1917 г.г., но и одной из них. Идея о «социальном перерождении» русского абсолютизма делает обе революции необ'яснимой загадкой. Зачем они были нужны, если не считать их (для 1917 года имеется в виду февраль) двумя недоконченными взрывами начинавшейся социалистической революции, октябрьской революции 1917 года?

Одного призрака такой эволюции бывало достаточно для того, чтобы на много десятков градусов охладить температуру

[1]) Вырубова.
[2]) „Падение царского режима", т. II, стр. 298.

буржуазной революции в России. Первый раз призрак появился в 1861 году,—и русская буржуазия бросила Герцена. Второй раз он стал бродить, довольно упорно, в 1890 годах: если бы эра Витте не кончилась крахом, ее можно было бы счесть за начало «социального перерождения». И, весьма выразительно, на конец этой «эры» падает разгул экономизма. Но оба раза «эволюция» натыкалась на непереходимый барьер—необходимость сохранить внеэкономическое принуждение в деревне, без которого не мог обходиться торговый капитализм [1]).

Таким образом, было совершенно достаточно внутренних причин, мешавших «социальному перерождению» «помещичьего государства». Но если бы мы ограничились внутренними причинами, картина была бы не полна. Во весь рост абсолютизм встанет перед нами лишь, когда мы привлечем к делу ту колоссальную внешне-политическую работу, какую он выполнял в интересах все того же торгового капитала. Но это настолько большой сюжет, что ему придется посвятить особую статью.

(Продолжение следует).

[1]) Для эры Витте особенно характерно крушение „комитетов о нуждах сельско-хозяйственной промышленности", на котором она оборвалась.

О книге Розы Люксембург „Введение в политическую экономию".

А. Тальгеймер.

1. К истории возникновения книги.

Сведения, сообщаемые редактором об истории возникновения этой книги Розы Люксембург, весьма скудны. Он сообщает, что книга возникла из лекций, читанных ею в социал-демократической партийной школе; что книга незакончена; что нельзя установить, осталась ли она недописанной автором, или же части рукописи были украдены агентами Носке, ворвавшимися в квартиру Розы. Часть книги, сообщает редактор, написана еще до войны, остальное—в первую половину войны.

Итак, книга представляет собой фрагмент, вернее—фрагмент фрагмента. Этого не следует забывать.

То, что мы имеем, обнимает следующие главы:

1) «Что такое политическая экономия?»—разбор взглядов буржуазной политической экономии на историческую сущность, возникновение и исторические границы экономической науки;

2) две об'емистые главы, посвященные истории возникновения, различным формам и разложению первобытного коммунизма и, далее, средневеково-феодальному хозяйству;

3) глава о товарном производстве;

4) глава о законе заработной платы;

5) глава о тенденциях капиталистического хозяйства.

Весь тот обширный круг вопросов, которые исследуются Марксом в трех книгах «Капитала»,—процесс производства и обращения капитала и капиталистический процесс в целом, — частью лишь бегло затронут, частью не рассматривается вовсе.

Из текста книги как будто обнаруживается, что Розой Люксембург было написано больше, чем опубликовано в настоящем издании. Так, на стр. 291 мы читаем:

«Отсюда, как мы видели, вытекает неизбежность промышленных и торговых кризисов» и т. д. Между тем, в предлагаемой книге эта тема вовсе не затрагивается. Однако приведенная фраза сама по себе еще не доказывает, что Роза Люксембург и писала об этом вопросе. Наша книга имеет форму лекций. В курсе, читавшемся ею в партийной школе, Роза Люксембург обычно излагала в лекционной форме только историю докапиталистического хозяйства. Затем следовало чтение «Капитала» (I тома) в форме семинарских упражнений. Об этих упражнениях

у ее бывших учеников сохранилось самое блестящее воспоминание благодаря суверенному владению материалом, несравненной живости, остроте мысли и педагогическому мастерству, проявлявшимся при этом Розой Люксембург. Настоящая книга, как бы блестящи ни были отдельные ее части, является все-таки лишь слабым отблеском ее живого преподавания. Впрочем, наверное, существует еще целый ряд записей ее лекций бывшими учениками партийной школы. Эти записи следует собрать и обработать для восполнения настоящей книги.

Из сказанного следует, что приведенная выше ссылка на прежнее рассмотрение вопроса о торговых кризисах не должна непременно относиться к литературной обработке предмета; она может иметь в виду и его обсуждение во время семинарских упражнений.

Относительно позднейшего срока, когда могло быть начато составление книги, дает указание следующее место:

«Так, во Франции для борьбы с социалистическими профсоюзами основываются так называемые желтые профсоюзы, а в России самые сильные взрывы нынешних революционных массовых стачек пошли от «желтых», преданных правительству профсоюзов» (стр. 275).

Этим устанавливается 1905 год, как позднейший срок для начала написания книги.

С другой стороны известно, что Роза Люксембург работала над этой книгой еще во время войны, в тюрьме. Составление книги заняло, таким образом, десять лет слишком.

Как мы узнали, Роза Люксембург оставила краткое письменное указание, какие части книги она считает вполне законченными и готовыми к печати, и какие нет. Этого указания редактор, очевидно, не видел, иначе он наверное упомянул бы о нем.

Что касается работы редактора, то она оставляет желать многого. Редактор обязан дать читателю возможно более точные сведения об обстоятельствах, при которых была написана книга, о характере имевшихся в его распоряжении материалов, и т. д. Как мы видели, сведения, сообщаемые им на этот счет, весьма недостаточны. Далее, мы были бы вправе ожидать тщательно проработанного текста. Но уже при первом беглом прочтении бросаются в глаза некоторые опечатки или описки, легко поддающиеся исправлению.

На стр. 4 мы встречаем, например:

«Что неясное определение сущности политической экономии в самом деле является спорным вопросом, в этом можно убедиться на основании одного внешнего обстоятельства».

Здесь, конечно, должно стоять «ясное».

На стр. 38 английские изобретатели Arkwright и Cartwright искажены в Cerkwright и Cartright.

На стр. 81 эпоха Юлия Цезаря определяется словами: «тысячу лет тому назад».

На стр. 100, по поводу исследований Моргана, говорится:

«Таким образом революционным устремлениям к будущему протягивала руку аристократическая традиция седого прошлого» и т. д. «Аристократическая»—здесь явно не годится.

На стр. 175 мы читаем следующую цитату из «Капитала» Маркса:

«Простой производительный организм этих самодовлеющих коллективных существ, которые постоянно воспроизводят себя в одной и той же форме и, случайно погибнув, восстанавливаются снова в том же месте и под тем же названием, дает ключ к тайне непонятности азиатских обществ» и т. д. Очевидно, вместо непонятности должно стоять «неизменности».

На стр. 241, где идет речь об особенности товара, представляемого рабочей силой, напечатано «Besonderlichkeit» вместо «Besonderheit».

На стр. 244 Humboldt превращен в Humpoldt'a.

Это, конечно, только наиболее яркие примеры. Вместе с остальными ошибками они по меньшей мере доказывают, что редактор, каковы бы ни были его гражданские права на выпуск книги, мало думал о том, имеет ли он на это дело научные права.

Ясно также, что он ни в малейшей мере не сознавал, что революционный дух, которым веет от каждой буквы этой книги, должен был бы именно его заставить отказаться от роли человека, до известной степени знакомящего Розу Люксембург с рабочей публикой.

Читатель не должен ждать от книги Розы Люксембург простой популяризации политико-экономических учений Маркса. Книга дает одновременно и меньше и больше. Меньше, поскольку она обнимает только часть марксовой экономической теории; больше, поскольку она содержит и нечто новое—самостоятельные исследования по истории хозяйства в духе и при помощи методов марксизма. Те отделы, в которых излагается ход мысли самого Маркса, оставляют позади себя все, сделанное до сих пор в этой области, остротой и глубиной взгляда и диалектическим блеском изложения. По сравнению с этим «Экономические учения» Карла Каутского—топорная и плоская работа, местами прямо вводящая в заблуждение, настоящая вульгаризация. Доступность для пролетарских читателей достигается у Розы Люксембург, в противоположность Каутскому и другим, не за счет глубины мысли, а тем, что теоретические соображения она связывает с повседневным опытом рабочего и с фактами экономической истории, делая, таким образом, теорию наглядной. Р. Люксембург превосходно умеет, далее, выявить революционную сторону исторической диалектики, сделать ее близкой и понятной революционному чувству рабочего. Пролетарский читатель книги чувствует себя затронутым в том, что составляет интимнейшую суть его классового сознания, и чувствует в то же время, как это его сознание приобретает строгую и ясную форму научности.

Само изложение повсюду свидетельствует о несравненном даре живого художественного изображения.

Перейдем теперь к рассмотрению того нового и оригинального, что дает изложение Розы Люксембург.

2. Исторический характер политической экономии.

Роза Люксембург начинает с исследования вопроса: «Что такое политическая экономия?»

Не есть ли это, мог бы спросить иной читатель, «ученое» отцеживание комара? Почему не прямо приступить к «самому»

делу», не задерживаясь так долго у порога,—к чему эта возня с определением понятия экономической науки?

Астроном исследует небесные светила, ботаник растения, зоолог животных,—все это совершенно просто.

Но не так просто обстоит дело в политической экономии. Почему?

Потому, что определение характера и предмета политической экономии теснейшим образом связано с основным взглядом на характер капиталистического хозяйства, другими словами — с классовой установкой по отношению к капитализму.

Классическая буржуазная политическая экономия, созданная еще революционной буржуазией, наивно полагает, что законы капиталистического хозяйства, это—открытые, наконец, вечные естественные законы всякого хозяйства вообще, т.-е. законы, общеобязательные для всех времен, подобно закону тяготения и т. д. До сих пор эти законы не были познаны, теперь наконец разум открыл их; с ними и должно быть сообразовано действование. То, что несовместимо с этими законами, есть заблуждение, которое нужно устранить.

Это воззрение на политическую экономию совпадает с общим мировоззрением, которое лежит в основе революционной идеологии буржуазии XVIII века и которое нашло свое классическое выражение в так называемом «просвещении» во Франции и Англии. Согласно этому воззрению, буржуазное общество, с его нормами и законами, есть нормальное общество, его нормы и законы суть нормы и законы человеческого разума вообще. Буржуазное общество, в эпоху его борьбы с феодализмом за политическую власть и в первое время после завоевания власти, пока оно еще не встретило политического противника в лице пролетариата, было проникнуто неизбежной наивной иллюзией, что оно представляет собою достигнутую наконец цель истории, окончательную форму человеческого общества вообще. Его представление о самом себе было, следовательно, неисторично.

Неизбежной эта иллюзия была потому, что исторический характер буржуазного общества обнаруживается впервые лишь тогда, когда оно уже осуществилось, и когда в его недрах начинают развиваться внутренние противоречия, классовые антагонизмы. Эта иллюзия была также неизбежно связана с ролью буржуазии, как вождя всех угнетенных классов народа в борьбе против феодализма: чтобы быть способной к этой роли, буржуазия должна была питать иллюзию, что она несет свободу всем угнетенным классам, что она созидает гармонический общественный строй.

Это воззрение означало самую крайнюю революционную позицию по отношению к феодальному обществу, которое резко противоречило идеалу буржуазного разума.

Но смысл этого воззрения превращается в свою противоположность, как только буржуазный строй оказывается установленным, как только его внутренние противоречия начинают проявляться в войнах и экономических кризисах, как только обнаруживается, что буржуазное общество приносит с собой не благосостояние всех, а небывалую массовую нищету трудящихся классов, как только появляются первые признаки пролетарской классовой борьбы. Тогда неисторический взгляд на буржуазное

общество и его политическую экономию теряет как свою наивность, так и свой революционный характер. Классическая школа политической экономии (Адам Смит, Рикардо) разлагается и превращается в реакционную защиту буржуазного общества против пробуждающегося к сознанию своей исторической роли пролетариата.

Свой вечный и «разумный» характер политическая экономия утверждает теперь уже не против феодального общества, не против прошлого, а против грядущего социализма, она фальшиво подменяет исполненный противоречий, дисгармоничный, анархический характер капиталистического хозяйства другим, гармоническим и стройным, не считаясь с тем, что теперь уже этому чудовищно противоречат факты.

Заблуждение классической политической экономии было научным заблуждением. Ее представители были свободными исследователями. Заблуждение позднейшей политической экономии другого рода. Во всех основных вопросах своей области она уже перестала быть бескорыстным научным исследованием, превратившись в заинтересованную апологию капиталистической эксплоатации. К действительно научным выводам буржуазная политическая экономия приходит еще только во второстепенных вопросах, поскольку научные данные необходимы для практики эксплоатации.

В противоположность этому научный социализм начинает как раз с того места, где обрывается классическая политическая экономия. Его *исходным пунктом* является *исторически преходящий характер* капиталистического хозяйства. Этот исходный пункт дан ему фактом развития противоречий внутри самой капиталистической системы. Но этот исходный пункт, превращающий политическую экономию в *историческую науку* и само капиталистическое хозяйство в преходящее явление, возможен только для научного сознания того класса, который призван быть могильщиком буржуазного общества,—он возможен только для пролетариата.

Политическая экономия становится отныне не наукой о «хозяйстве» вообще, а *исторической наукой о капиталистической системе хозяйства*. Ее законы суть исторически-диалектические законы, т.-е. законы возникновения данной хозяйственной формы из предшествующих форм, ее роста и ее разложения.

Исторически-диалектический характер этих законов проявляется в двух направлениях. Во-первых, как превращение законов товарного производства в законы капиталистического производства и, во-вторых, как превращение капиталистического производства в социалистическое.

Особенно ясно вскрывает Роза Люксембург исторически-диалектический характер марксистской экономии, подвергая критическому разбору—столь же острому, сколь исполненному юмора—положения немецких буржуазных экономистов, всех этих Рошеров, Шмоллеров, Бюхеров, Зомбартов. Соответствующие места книги являются блестящими образцами полемики и имеют не только теоретическое, но и практическое значение. Во-первых, из всей этой профессорской путаницы кое-что проникло в Германии даже в популярные изложения марксистской экономии. Назвать при-

мы было бы нетрудно. Во-вторых же, вся буржуазная интеллигенция, поскольку она вообще занимается политической экономией, барахтается в сетях этой путаницы. Острая, как лезвие ножа, критика Розы Люксембург может кое-кому помочь выпутаться из этих сетей.

Некоторые пункты этой полемики, опирающейся на обширный экономический и исторический материал, следует особенно отметить.

Против застывшего, популярного противоположения «промышленного» и «аграрного» государства, составляющего согласно Бюхерам и К° (и не в меньшей мере согласно Каутским) кардинальный пункт и движущий нерв мировой торговли и империализма, Роза Люксембург пишет, ссылаясь на торговые и хозяйственные сношения между Англией, Германией, Соед. Штатами и Россией:

«Полярная противоположность между промышленностью и сельским хозяйством, составляющая будто бы единственный источник международного обмена, сама оказывается, таким образом, чем-то текучим; она все больше оттесняется от центра современного культурного мира к его периферии» (стр. 22).

На основе подробного статистического материала она доказывает далее, что мировое хозяйство не есть, как то представляют себе Бюхеры и К°, система «народных хозяйств», по существу независимых друг от друга и восполняющих собственные «пробелы» путем внешней торговли, вывозящих свои «излишки» и т. д., но что мировое хозяйство есть связанное всесторонними взаимоотношениями и систематическим разделением труда органическое целое, части которого определяются всем целым.

Путем сопоставления с первобытным коммунизмом, с хозяйством, основанным на рабском труде, и с феодальным хозяйством она освещает, далее, анархический, бесплановый, бессознательный характер капиталистической системы.

«Между тем как бесчисленные отдельные части,— а отдельное частное предприятие, даже самое гигантское, только частичка тех хозяйственных уз, которые охватывают всю землю,— между тем как отдельные части организованы строжайшим образом, целое так называемого «народного хозяйства», т. е. капиталистического мирового хозяйства, остается совершенно неорганизованным. В целом, обнимающем океаны и различные части света, не обнаруживается никакого плана, никакого сознания, никакого регулирующего начала; слепое господство неведомых, неукрощенных сил капризно играет хозяйственной судьбой людей. Правда, необычайно могущественный властелин управляет еще и поныне трудящимся человечеством: имя ему—капитал. Но форма его правления не деспотизм, а анархия... Понять и высказать, что анархия есть жизненная стихия капитализма, это значит заодно уже произнести ему смертный приговор, это значит сказать, что его дни сочтены. Теперь ясно, почему официальные научные заступники капитализма пытаются всяческими словесными ухищрениями завуалировать предмет, отвлечь взор от сущности к внешней оболочке, от мирового хозяйства к «народному хозяйству»... С этим первым вопросом, каким бы абстрактным и безразличным для социальных битв современности он ни казался на первый взгляд, уже устанавливается особая связь между политической

экономией, как наукой, и современным **пролетариатом, как революционным классом»** (стр. 62, 63).

Отсюда вытекают определенные выводы насчет исторического возникновения политической экономии и ее конца.

О ее возникновении Роза Люксембург говорит:

«Наука, имеющая своей задачей вскрыть законы анархического капиталистического способа производства, не могла, конечно, возникнуть раньше, чем самый этот способ производства, не могла появиться, пока в результате политических и хозяйственных сдвигов, совершавшихся веками, не создались постепенно исторические условия для классового господства современной буржуазии» (стр. 64, 65).

Политико-экономические поборники капитализма охотно становятся ныне в позу блюстителей «беспредпосылочности», беспартийности своей науки в противовес тенденциозной, «партийной» экономии Маркса.

Перед лицом этого обмана весьма важно указание Розы Люксембург на то, что, пока буржуазия еще занималась политической экономией свободно и непредвзято, она тоже пользовалась этой наукой, как революционным оружием против феодализма.

«До того, как она (буржуазия) вдребезги разбила феодализм в Великую Французскую революцию, она подвергла его основательной критике: новая наука политической экономии возникает, как одно из важнейших идеологических орудий буржуазии в борьбе против феодального государства. Конечно, завоевание политической власти доставило буржуазии условия ее господства. Но на-ряду с философскими, естественно-правовыми и социальными теориями эпохи просвещения политическая экономия (и она прежде всего) была средством самопознания буржуазии, формулировкой ее классового сознания и, как таковая, предпосылкой и побудительницей к революционному действию» (стр. 67, 71).

Зародышевой формой политической экономии был, как известно, меркантилизм, названный так потому, что по этому воззрению «национальное богатство» заключается в золоте или деньгах и создается т о р г о в л е й (XVI и XVII века).

О социальной и революционной зародышевой форме политической экономии Роза Люксембург метко замечает:

«Как ни грубо это учение, оно все-таки представляет собою первый резкий разрыв с понятиями феодального натурального хозяйства, первую критику этих понятий, первую идеализацию торговли, товарного производства и, в этой форме, капитала, — наконец, первую программу государственной политики в духе поднимающейся молодой буржуазии» (стр. 68).

Для нас еще важнее, чем вопрос о начале политической экономии, вопрос о ее к о н ц е.

По этому поводу Роза Люксембург пишет:

«Если мы теперь понимаем, почему политическая экономия впервые возникла около полутора столетий тому назад, то с этой же точки зрения нам становятся ясны и ее дальнейшие судьбы. Раз политическая экономия является наукой об особенных законах капиталистического производства, то ее существование и функция очевидно связаны с существованием последнего и теряют почву, как только перестает существовать этот способ производства. Другими словами: роль политической экономии, как науки, будет

страна, когда анархическое хозяйство капитализма уступит место планомерному хозяйственному порядку, организуемому и направляемому всем трудящимся обществом. Победа современного рабочего класса и осуществление социализма означают, таким образом, конец политической экономии, как науки» (стр. 71).

«Так учение о возникновении капитализма логически переходит в учение о его гибели. Наука о капиталистическом способе производства переходит в научное обоснование социализма, теоретическое орудие господства буржуазии—в орудие революционной классовой борьбы за освобождение пролетариата» (стр. 72).

Таково в особенности произведение Карла Маркса.

Это произведение Роза Люксембург характеризует следующим образом:

«Правда, изложенные Марксом законы капиталистической анархии и ее будущего исчезновения сами являются лишь продолжением политической экономии, как она была создана буржуазными учеными, но таким продолжением, которое в своих конечных выводах обращается самым резким образом против своих исходных пунктов. Учение Маркса—дитя буржуазной экономии, но дитя, рождение которого стоило жизни своей матери. В марксовой теории политическая экономия нашла свое завершение, но и свой конец, как наука. Дальнейшее развитие—кроме разработки марксова учения в подробностях—может заключаться только в претворении этого учения в дело, т.-е. в борьбе международного пролетариата за осуществление социалистического хозяйственного строя. Конец политической экономии, как науки, приобретает, таким образом, всемирно-историческое значение: он заменяет собою претворение в практику планомерно организованного мирового хозяйства. Последней главой политической экономии является социальная революция мирового пролетариата» (стр. 76—77).

Так ставила Роза Люксембург вопрос **до начала социалистической революции** в России.

Теперь нужно иначе его ставить и иначе на него отвечать, а именно ввиду тех вопросов, которые выдвигает развертывающаяся социалистическая революция. Экономическая теория Маркса представляет собою формулировку специфических законов капиталистического хозяйства, его возникновения, развития и гибели. Категории этой теории имеют исторический характер в двойном смысле. Во-первых, они описывают определенную форму хозяйства, имеющую историческое начало и исторический конец. Однако, как средства описания этой определенной формы, они имеют не только относительное и историческое значение, но и абсолютное—совершенно так же, как, напр., категории, с помощью которых геология описывает определенные периоды истории земли. В то время как буржуазная наука, в лице Риккерта и его единомышленников, старается вырыть пропасть между «законами» природы и историческими законами, а то и вовсе исключить всякую закономерность из области истории, в действительности дело обстоит, повидимому, так, что естественные науки сами находятся на пути с б л и ж е н и я законов природы с историческими законами. С распадением считавшихся до сих пор неразложимыми химических «элементов» сама материя приобретает историю. Даже астрономия все более приобретает историческое

лицо. Было бы, мне кажется, интересной задачей рассмотреть с этой точки зрения современное естествознание). Категории марксистской экономии в большей своей части (но не все!) приложимы только к капиталистической форме хозяйства и отчасти к простому товарному производству.

Уже основоположная полярная пара категорий—потребительной и меновой ценности—теряет смысл для всякого общества, не производящего товары. То же самое следует сказать о законе ценности, как регулирующем начале капиталистического хозяйства, а тем самым и о законах, определяющих заработную плату; об историческом законе народонаселения при капитализме, о законах конкуренции, воспроизводства и т. д.

Вообще отпадает особенный вид закономерности капиталистического хозяйства,—именно тот факт, что его ход регулируется законами, которые не входят в качестве норм в сознание и волю хозяйствующих суб'ектов. Недостаточно было бы сказать, что они просто не входят в сознание капиталистически хозяйствующих лиц. Если бы капиталисты и знали экономию Маркса, это ничего не изменило бы в ходе и характере капиталистического хозяйства. В нем нет регулирующего центра, который мог бы превратить это знание в руководящую норму поведения.

Социалистическое общество, в своем полном развитии, регулирует хозяйство планомерно. В нем нет места «слепым» законам, которые не прошли бы через сознание регулирующего центра, которые не служили бы руководящей нитью для непосредственно общественного действования.

Но когда исчезнут эти слепые законы, исчезнет ли тогда из нового общества закономерность вообще? Сможет ли оно обойтись без всякой экономической теории вообще, без экономической теории другого рода?

Без сомнения, нет.

Уже поскольку планомерность существует в отдельных частях капиталистического хозяйства, напр., на фабрике, она вызвала к жизни специальную науку, науку об организации производства, имеющую уже свои учебники, свои журналы, свои исследовательские институты и т. д.

Но разве это, может кто-нибудь спросить, действительная «наука»? Основной признак науки в том, что она представляет собою упорядоченную систему общеобязательных положений, выведенных из опыта,—в противоположность индивидуальным или единичным опытам, которые передаются индивидуально или в ограниченном кругу, без систематической связи, как, напр., ремесленный опыт. На наших глазах наука о производстве выросла из опытов отдельных предприятий, директоров фабрик и т. д. путем анализа, обобщения, установления систематической связи. В сущности всякая наука развивается, таким образом, из «ненаучного» ремесленного опыта и предания, не исключая даже математики, которая, как известно, берет свое начало в ремесленной практике древне-египетских и т. д. землемеров, которая становится «наукой», как только эти опыты подвергаются анализу и систематическому исследованию.

Различные формы первобытно-коммунистического, а также феодального хозяйства могли довольствоваться подобной ремесленной основой для своего общественного регулирования. Роза

Люксембург сама превосходно показывает, напр., как в первобытные времена нормы общественного регулирования хозяйства часто застывают в религиозные церемонии, культовые действия и т. д., т.-е. принимают потусторонние, фантастические формы, становятся иррациональными и непонятными.

(Было бы интересно исследовать этот процесс перенесения в потусторонность с его формальной стороны).

Ясно, что социалистическое общество не может превращать свои хозяйственные нормы в фантастические образы.

Возьмем, далее, античное хозяйство, основанное на рабском труде. Оно уже имеет свои учебники ремесленного типа, дающие сводку технических и экономических наставлений, извлеченных из опыта рабовладельцев,—таковы книги Катона Старшего, Варрона, Колумеллы и т. д. То же самое относится к феодальному хозяйству.

Социалистическое общество, конечно, не сможет искать основу для своего общественного регулирования в подобных ремесленных наставлениях. Будучи, на высшей ступени своего развития, мироб'емлющим, оно нуждается в насквозь рациональной систематической теории в строгом смысле слова.

Но в каком отношении находится эта последняя к экономии Маркса?

Маркс сам неоднократно противопоставляет экономические отношения в капиталистическом хозяйстве таковым же в будущем социалистическом хозяйстве, чтобы выявить определенные законы капитализма, как специфические формы всеобщих экономических законов (см., напр., отделы о воспроизводстве капитала). Так, напр., отношения величины в схеме простого и расширенного воспроизводства выражают некоторые необходимые количественные отношения между элементами производства, которые должны сознательно соблюдаться в планомерно регулируемом хозяйстве и которые определяют относительный об'ем и расположение элементов производства—сырья, орудий производства, рабочих сил, средств потребления и т. д. Вообще говоря: если отнять у марксовых законов капиталистической экономии их специфический характер, то останется не пустое место, а ряд всеобщих положений, отношений величины, дающих путеводную нить для общественного регулирования хозяйства, экономическую теорию для обоснования экономических норм, или, если угодно, науку о хозяйстве, которая является основой для искусства хозяйствования.

Экономия Маркса является исходным пунктом для этой науки. Если Роза Люксембург говорит о марксистской экономии, что в социалистическом обществе она упраздняется, то это надо понимать лишь в смысле диалектического отрицания, которое означает не уничтожение, а исчезновение ограниченной специфической формы и восстановление в новом, всеобщем, специфически ином образе. «Претворение в практику планомерно организованного мирового хозяйства», о котором говорит Роза Люксембург, есть не только практика, но одновременно и теория, руководящая практикой, и практика, проверяющая и расширяющая теорию.

Все это относится к вполне развитому социалистическому хозяйству.

Что же касается до социалистического хозяйства, которое еще только становится, еще только вырабатывается из недр капиталистического, еще вплетено в него, которое должно даже вступать в определенные отношения к простому товарному хозяйству и к различным формам натурального,—то оно, с своей стороны, обнаруживает специфическое смешение капиталистических форм с социалистическим содержанием. Теоретическое уяснение этой переходной формы является неотложным требованием практики, и работа в этой области уже началась. Без путеводной нити марксовой теории и здесь нельзя ступить ни шагу.

Все затронутые здесь вопросы были еще неуловимы до завоевания политической власти рабочим классом какой-нибудь большой страны. Только теперь они вошли в поле нашего зрения. Но отчетливое выявление своеобразного, особенного характера капиталистического производства и его законов, которое мы находим у Розы Люксембург, и является как раз необходимой предпосылкой для разрешения вопросов, выдвигаемых развитием самого социалистического хозяйства.

3. Анализ докапиталистических форм хозяйства.

Обе главы, посвященные истории хозяйства, являются самыми блестящими частями книги. Опираясь на громадный материал, Роза Люксембург впервые превращает хозяйственные формы первобытного коммунизма и феодализма из сухих застывших схем, или бессвязной груды фактов, в действительно живую историю докапиталистических форм хозяйства. То, что у Маркса и Энгельса часто лишь намечено немногими словами, получило здесь богатое развитие и пластическое выражение.

Роза Люксембург дает такую историю развития форм первобытного коммунистического хозяйства, которая проливает яркий свет на доисторические времена и древность, как бы играя, раз'ясняет целый ряд основоположных для исторического исследования вопросов и в то же время победоносно выступает против нынешнего тенденциозно-буржуазного искажения первобытно-коммунистического периода.

Гроссе, Липперты, Бюхеры и т. д., вся школа «новых» историков первобытного человечества (теперь в их ряды вступил и Г. Кунов), изо всех сил стараются либо доказать, что первобытного коммунизма не существовало вовсе, либо низвести его на степень незначительного эпизода истории. По их мнению, частная собственность должна была властвовать в истории и до капитализма.

В этом искажении истории выражается не только сознательное стремление подкопаться под соответствующую часть исторического фундамента марксизма и не только неспособность буржуазных ученых смотреть на докапиталистические хозяйственные формы иначе, как сквозь капиталистически-буржуазные очки, но и идейная подготовка условий для уничтожающей борьбы империализма против натурального хозяйства и простого товарного производства. Свободное и бескорыстное исследование давным давно прекратилось и в этой области (характерно, что английские антропологи и этнологи ведут сейчас в «Таймсе» энергичную кампанию за

учреждение антропологических и этнологических институтов, как вспомогательных средств для колониального управления и империалистической политики).

Роза Люксембург принимается прежде всего за господина Эрнста Гроссе [1]). Господин Гроссе страшный «материалист». Даже старику Энгельсу достается от него за то, что он недостаточно тверд в материализме. Энгельс, как известно, утверждал, что в первобытные времена, на-ряду с производством материальных благ, некоторую самостоятельную роль при развитии семейных отношений играло и производство людей. Эту формулировку Энгельса нельзя назвать удачной. Она формулировала временный пробел в нашем знании о первобытных временах, но вместе с тем она указывала на то, что в основе человеческой истории и в особенности истории семейных форм лежат определенные предпосылки из истории животного царства. Этот вопрос, по которому теперь накоплен колоссальный материал, неизвестный во времена Энгельса,—вопрос об очеловечении, о развитии орудий, языка, общественных форм, первоначальных семейных форм из зоологических предпосылок,—еще ждет своей марксистской обработки.

Но что делает Гроссе из первобытной истории? Грубую, плоскую, реакционную карикатуру на исторический материализм и его метод. Семейная форма в данную эпоху, заявляет он, есть всегда непосредственный продукт господствующих в эту эпоху хозяйственных отношений». Но что понимает Гроссе под «хозяйственными отношениями»? Не что иное, как старинную схему: охота, рыболовство, скотоводство, земледелие,—т.-е. основные для данной эпохи источники народного питания, при чем как раз то, что всякий раз составляет специфический характер «производственных отношений», смазывается в какую-то кашу.

По этому поводу Роза Люксембург вполне правильно замечает:

«Убеждение, что характер основного источника, из которого питается данный народ, имеет чрезвычайное значение для его культурного развития, составляет не столько новехонькое открытие господина Гроссе, сколько старинное досточтимое достояние всех ученых, занимавшихся историей культуры. Ведь именно это убеждение и привело к ходячему разделению народов на охотников, скотоводов и земледельцев, которое повторяется во всех историях культуры и которое, после стольких разговоров, применяет и сам господин Гроссе. Однако это убеждение не только весьма старо, но—в той упрощенной формулировке, в какой его перенимает Гроссе—и совершенно неверно. Пока мы знаем только то, что такой-то народ живет охотой, скотоводством или земледелием, мы еще не знаем о его производственных отношениях ровно ничего... Именно против такого грубого и примитивного «материализма», принимающего во внимание только внешние естественные условия производства и культуры и нашедшего свое лучшее и исчерпывающее выражение в английском социологе Бокле, восставали Маркс и Энгельс. Не внешний естественный источник питания является решающим

[1]) См. его книгу: „Die Formen der Familie und die Formen der Wirtschaft“ 1896 г.

для хозяйственных и культурных условий человеческой жизни, а те отношения, в которых люди находятся друг к другу в процессе работы. Общественные отношения производства отвечают на вопрос: какая форма производства господствует у данного народа? Только уяснив себе как следует эту сторону производства, можно понять определяющие влияния производства какого-либо народа на его семейные отношения, правовые понятия, религиозные представления, художественное развитие» (стр. 107—190. Подчеркнуто мною. *А. Т.*).

Схема Гроссе—это, в несколько модернизированном виде, та самая схема, которая восходит к «просвещению» XVIII века, которую во Франции развивал Руссо, а в Германии Гердер. Но если невнимание к специфическим формам производства в первобытные времена имело у писателей просвещения как теоретически, так и практически прогрессивно-революционный смысл, то у Гроссе и К°, пишущих после появления исторического материализма и после подбора громадного фактического материала, оно имеет смысл глубоко реакционный. «Первобытные времена» были для эпохи просвещения идеализированным и проэцированным в прошлое буржуазным обществом, полемически обращенным против общества феодального с его гнилостью и деспотизмом на одном полюсе, с его нищетой и скотской придавленностью—на другом. Это было напоминанием феодальному обществу, что на его челе напечатлено клеймо бренности, и что человек низведен в нем даже ниже уровня «дикаря». Теоретически же первобытная история эпохи просвещения есть первое, еще грубое звено той цепи, которая ведет к величественному буржуазно-революционному идеалистическому пониманию истории Гегеля и материалистически-диалектическому Маркса и Энгельса. У Гроссе и К° центр тяжести в противоположном: теоретически—в борьбе против революционной теории нашего времени, против марксизма, практически—в борьбе нисходящего капитализма, т.-е. империализма, против революционного рабочего класса, прокладывающего путь социализму, и против колониальных народов, его союзников в борьбе и жертв разрушительной деятельности империализма.

Маркс неоднократно потешается над неспособностью буржуазных экономистов различать разные формы производства. Напр., над каким-нибудь Торренсом, который называет палку «дикаря» первым видом капитала, или над Адамом Смитом, который фантастически превращает «дикаря» в производителя товаров. Эта грубость мысли, это неумение различать исторические формы производства есть неизбежный результат неспособности понять само капиталистическое производство, как особую, преходящую форму хозяйства, т.-е. результат буржуазной классовой ограниченности. Но если у Адама Смита и т. д. все это еще наивно, то у нынешней буржуазной экономии и т. д. это превратилось в сознательное, тенденциозное искажение.

Гроссе дает следующую схему связи между «формами» человеческого хозяйства и производства:

1) период охоты—отдельная семья и господство мужчин;

2) период скотоводства—отдельная семья и усиление господства мужчин;

3) период примитивного земледелия—отдельная семья со спорадическим господством женщин, но затем подчинение земледель-

цев скотоводам,—и, стало быть, снова—отдельная семья, в которой господствует мужчина.

Роза Люксембург указывает, что в этой схеме исчезают не только формы производства, но также формы семьи и их развитие, что разнообразие семейных форм сводится в ней к простой противоположности «господство мужчин—господство женщин», и что при этом отдельная семья представляется каким-то неподвижным полюсом в потоке явлений, началом, серединой и концом истории, чем-то таким, что в историческом процессе подвергается лишь незначительным вариациям. В основе самого понятия «отдельной семьи» лежит при этом типично буржуазное филистерское представление о конкуренции двух компаньонов, мужчины и женщины, участвующих в общем деле и пользующихся той или другой долей власти в зависимости от величины вклада.

«Горькая судьба женского пола такова, что только один раз в истории—на низшей ступени земледелия—он, в виде исключения, был источником пропитания семьи, но и тогда ему в большинстве случаев пришлось отступить перед воинственным мужским полом. Таким образом история форм семьи есть в сущности только история рабства женщины, при всех «формах производства» и вопреки всем формам производства» (стр. 112).

Не менее характерно для Гроссе тенденциозно-фальшивое умаление исторической роли родового союза («gens») по сравнению с отдельной семьей.

Гроссе старается, далее, показать, что общественное развитие человечества началось не с общинной, а с частной собственности, и что чем глубже мы уходим в первобытную историю, тем исключительнее властвует «индивидуум» со своим «индивидуальным имуществом». Чтобы получить этот удивительный результат, ниспровергающий все исторические факты (как то подробно показывает Роза Люксембург), Гроссе поступает так: он берет масштабом «недвижимость» и «движимость», т.-е. категории, взятые из обществ, основанных на частной собственности, затем смотрит, какая из этих двух категорий «играет большую роль» и, таким образом, повсюду открывает преобладание «частной собственности», так что даже общества с ясно выраженной общинной собственностью на землю вычеркиваются им из ряда коммунистических форм.

Ясно, что таким путем мы повсюду в истории найдем «частную собственность». Рассуждая так, можно и «капитал» отнести ко времени эолитов, самых грубых каменных орудий.

Роза Люксембург иронически замечает по этому поводу:

«С этой глубокомысленной точки зрения какое-нибудь товарищество нищих (какие нередки на востоке), которое собирает подаяния в общую мошну и сообща ими пользуется, или шайка воров, солидарно потребляющая пакраденное, оказываются «коммунистическим хозяйственным товариществом» в самом чистом виде. Наоборот, сельская община, которая сообща владеет и сообща обрабатывает землю, но плоды урожая потребляет посемейно—каждая семья со своего участка,—может быть названа «общинным хозяйством только в очень условном смысле». Словом, моментом, определяющим характер производства, является по этому пониманию право собственности на средства потребления, а не на сред-

ства производства, т.-е. на условия распределения, а не производства» (стр. 134).

Тут мы подошли к одному из решающих пунктов политико-экономической теории, именно к вопросу об основоположном, характерном признаке исторически сменяющихся форм производства, о том, что во всякой форме определяет строение экономического целого, а также его частей и их взаимных отношений. Этот признак должен быть вместе с тем решающим для различения разных хозяйственных форм. Иначе этот вопрос можно поставить так: что такое «производственные отношения»?

Необходимо привести здесь существенные места из ответа Розы Люксембург на этот вопрос:

«Техника общественного труда,—отвечает Роза Люксембург,—в точности отмечает достигнутую в данный момент ступень человеческого господства над внешней природой. Каждый новый шаг в усовершенствовании производственной техники есть вместе с тем шаг в покорении физической природы человеческим духом и, следовательно, шаг в развитии общечеловеческой культуры. Однако, когда мы хотим специально исследовать формы общественного производства, тогда мы не можем ограничиться отношением людей к природе, тогда нас интересует в первую голову другая сторона человеческого труда: те отношения, в которых люди находятся друг к другу в процессе работы, т.-е. нас интересует не техника производства, а ее общественная организация... Итак, само производство есть первый и важнейший момент хозяйственной жизни общества. Но в процессе производства решающим является вопрос: в каком отношении находятся трудящиеся к средствам своего производства?.. Мы имеем здесь в виду не техническую сторону дела, не большее или меньшее совершенство средств производства, с которыми работают люди, и не способ, каким они работают. Мы имеем в виду общественное отношение между человеческой рабочей силой и мертвыми средствами производства, т.-е. вопрос: кому принадлежат средства производства? На протяжении веков это отношение часто менялось. И при этом всякий раз менялся и весь характер производства, распределение продуктов, форма разделения труда, направление и размеры обмена и, наконец, вся материальная и духовная жизнь общества. Смотря по тому, владеют ли трудящиеся средствами своего производства сообща, или каждый из них владеет ими в отдельности, или не владеет ими вовсе, составляют ли они, вместе со средствами производства, собственность нетрудящихся, или, как несвободные, прикреплены к средствам производства, или, как свободные, но неимущие, вынуждены продавать свою рабочую силу, как средство производства,—в зависимости от этого перед нами коммунистическая, или мелко-крестьянская и ремесленная форма производства, или хозяйство, основанное на рабском труде, или барщинное хозяйство, основанное на крепостном праве, или, наконец, капиталистическое хозяйство с системой заработной платы. И каждая из этих хозяйственных форм имеет свой особый вид разделения труда, распределения продуктов, обмена, социальной, правовой и духовной жизни. Достаточно было в экономической истории людей ради-

жно измениться отношению между трудящимися и средствами производства, чтобы вместе с тем радикально изменились и все другие стороны хозяйственной, политической и духовной жизни, чтобы возникло совершенно новое общество. Правда, между всеми этими сторонами экономической жизни общества происходит постоянное взаимодействие. Отношение рабочей силы к средствам производства не только влияет на разделение труда, распределение продуктов, обмен, но и само подвергается обратному воздействию со стороны последних. Однако способ воздействия в обоих случаях различный. Господствующий на данной ступени хозяйства способ разделения труда, распределение богатств, обмен могут постепенно подточить то отношение между рабочей силой и средствами производства, на почве которого они сами выросли. Но их форма изменяется лишь после того, как в области устаревшего отношения между рабочей силой и средствами производства произошла настоящая революция. Таким образом перевороты в области отношения между рабочей силой и средствами производства образуют видимые большие вехи на пути истории хозяйства, они отмечают естественные эпохи в процессе экономического становления человеческого общества» (стр. 135 — 137. Подчеркнуто мною. *А. Т.*).

Данное здесь Розой Люксембург определение «производственных отношений», отграничение их от производственной техники и определение взаимоотношений между отдельными сторонами экономической жизни принадлежит к самому ясному и наглядному из всего, что было до сих пор сказано в этой области. Для большей полноты было бы, однако, нужно не только отграничить производственные отношения от техники производства, но и указать их взаимную связь. Маркс говорит где-то, что ручной ткацкий станок и механический ткацкий станок обусловливают две различные общественные формы. Но дело обстоит не так, чтобы какая-нибудь определенная ступень производственной техники однозначно определяла форму производства. Связь тут не непосредственная, а опосредствованная, не односторонняя, а двусторонняя, и обе эти линии развития не параллельны, а пересекают друг друга.

Посредствующим звеном служит, очевидно, род и размер кооперации, которая требуется определенной техникой, при чем однако из факта непрерывно развивающейся техники отнюдь не вытекает столь же непрерывный рост кооперации. Поясним это примером. Охота на крупную дичь с помощью снарядов и методов раннего и позднего каменного века (в котором еще жили австралийские туземцы ко времени их открытия),—охота с помощью кремня или снабженного острой костью деревянного копья, бумеранга, волчьих ям, палицы и т. д.—безусловно требовала, чтобы охотились группами. Некоторая высшая ступень техники делает, наоборот, возможной единичную охоту на крупную дичь, и т. д. Размеры и род кооперации могут в свою очередь соединяться с различными общественными формами. Производственная техника оказывает общественное влияние только на посредствующее звено производственных отношений. Каждая из бывших доселе хозяйственных форм имела своей предпосылкой определенную ступень техники, но ставила вместе с тем развитию по-

следней **определенные общественные границы**, прорвать которые была в состоянии только революция. Капиталистическая система не составляет исключения из этого правила. Самодовлеющее развитие производственной техники, эта излюбленная мечта радикальной интеллигенции, пустой вымысел. Луч техники доходит до человека не иначе, как преломившись в среде общественной организации труда.

Более кратко, но не менее удачно расправляется Роза Люксембург и с известной историко-экономической схемой профессора Бюхера: замкнутое домашнее хозяйство, городское хозяйство и «народное хозяйство». Бюхер берет масштабом экономического развития не производственные отношения, а отношения **обмена**, и приходит, таким образом, к несуразному об'единению коммунистической сельской общины, афинского хозяйства, основанного на рабском труде, и феодального хозяйства под общей рубрикой «хозяйства без обмена». Несуразность заключается не только в том, что «хозяйство без обмена», как правильно замечает Роза Люксембург, «есть профессорская химера, которая до сих пор нигде на земле не обнаружена и которая в применении к античной Греции и Риму, а также к феодальному средневековью, представляет собою фантазию, ошеломляющую своей смелостью»— как и в применении, добавим мы, к древнейшему первобытному времени, в чем можно убедиться из любого руководства по первобытной истории.

О причинах, в силу которых для рабочего класса крайне важно не только отграничить древнее коммунистическое общество от позднейшего, Роза Люксембург замечает:

«Только тот, кто отдает себе ясный отчет в специфических экономических особенностях первобытного коммунистического общества, а также в своеобразии античного хозяйства, основанного на рабском труде, и средневекового барщинного хозяйства, — только тот сумеет вполне основательно понять, почему нынешнее капиталистическое классовое общество впервые дает исторические предпосылки для осуществления социализма, и в чем заключается фундаментальное отличие социалистического мирового хозяйства будущего от примитивных коммунистических групп первобытных времен» (стр. 145).

Для нас к этому присоединяется еще одно соображение— интересы социалистического строительства, его этапов и форм. Без основательного теоретического уразумения того, как относится социалистическое хозяйство не только к капиталистическому, но и к простому товарному хозяйству (т.-е., в первую очередь, к крестьянскому) и к различным формам натурального, нельзя правильно вести ни хозяйство, ни политику социалистического государства. Все это стало теперь злободневными практическими вопросами социалистического строительства.

Роза Люксембург начинает свое изображение примитивного коммунистического общества с германской марковой общины, как наилучше исследованной. Затем она переходит к поземельной общине в государстве инков (Перу). В существенных чертах последняя совпадает с германской, но обнаруживает одно своеобразное явление, которое освещается очень полно Розой Люксембург: я говорю о факте эксплоатации и подчинения одних коммунистических организованных племен другими, организованными

так же, туземных племен страны вторгшимися племенами завоевателей—инков.

Роза Люксембург показывает на этом примере, в какие узкие границы был поставлен первобытный коммунистический коллектив, и как это обстоятельство послужило причиной его разложения:

«Первобытное коммунистическое общество не знало общечеловеческих принципов; равенство и солидарность вырастали в нем из традиций общих кровных уз и из общего владения средствами производства. Насколько простиралась эта общность кровных уз и владения, настолько же простиралось и равенство прав и солидарность интересов. Что лежало вне этих интересов,—а они были так же узки, как размеры деревни, самое большее как территориальные границы племени,—то было чужим, а стало быть могло стать и враждебным. Коллективы, в своей внутренней жизни основанные на хозяйственной солидарности, могли и должны были, благодаря низкой ступени развития производства, благодаря скудости или истощению источников питания при росте населения, периодически приходить в смертельное столкновение с другими, подобными же коллективами; эти столкновения разрешались животной дракой, войной, и кончались уничтожением одной из враждующих сторон, или, гораздо чаще, установлением режима эксплоатации. Не преданность абстрактным принципам равенства и свободы лежала в основе первобытного коммунизма, но железная необходимость заставляла, в условиях низкого развития человеческой культуры и беспомощности людей перед лицом внешней природы, держаться большими союзами и планомерно и об'единенно вести работу в борьбе за существование. Однако этот же самый недостаток власти над природой был вместе с тем и причиной того, что общий план и общее ведение работы ограничивались сравнительно ничтожной областью естественных лугов, или распаханных деревенских участков, и делал людей совершенно неспособными к общим работам в более крупном масштабе. Примитивное состояние агрикультуры не допускало тогда расширения хозяйства за пределы деревенской общины и тем самым ставило развитие солидарности интересов в узкие границы» (стр. 155).

Исходя из этих положений, Роза Люксембург несколькими штрихами выясняет сущность спартанского общества, отношение организованных в сельские общины спартиатов (дорян) к илотам, которые первоначально были тоже коммунистически организованы, но затем были лишены своей земли коммунистическими завоевателями и отданы, в качестве рабочей силы, в распоряжение отдельных членов общин для полевых работ.

Но отношение эксплоатации и господства между коммунистическими коллективами вносит зародыши разложения в сам господствующий коллектив:

«Самый факт завоевания и необходимость зафиксировать эксплоатацию, как постоянное учреждение, ведет к сильному развитию военного дела, что мы видим как в государстве инков, так и в спартанских государствах. Тем самым заложена первая основа для неравенства, для выделения привилегированных колен из первоначально равной и свободной крестьянской массы. В дальнейшем требуются только благоприятные географические и

культурно-исторические условия, порождающие при столкновении с более образованными народами утонченные потребности и оживленный обмен,—чтобы неравенство начало быстро прогрессировать также и среди господствующих, ослабляя коммунистическую связь и освобождая место для частной собственности, с ее разделением на богатых и бедных. Классическим примером этих процессов остается древнейшая история греческого мира до его столкновения со старыми культурными народами Востока. Таким образом результат покорения одного первобытного коммунистического общества другим, произойдет ли оно раньше или позже, всегда один и тот же: разрыв традиционных коммунистических общественных уз как среди господ, так и среди подчиненных, и рождение совершенно новой общественной формации, в которой частная собственность, а с нею неравенство и эксплоатация появляются одновременно, взаимно порождая друг друга. Так, история древней сельской общины в классической древности приводит, с одной стороны, к противоположности между задолженной массой мелких крестьян и знатью, присвоившей себе военную службу, государственные должности, торговлю и крупные землевладения, а с другой—к противоположности между этим обществом свободных в целом граждан и эксплоатируемыми рабами. От этой, имевшей много вариаций, формы натурально-хозяйственной эксплоатации какой-либо общиной покоренного ею племени был только один шаг к введению института покупных рабов в других общинах. В Греции этот шаг был быстро сделан благодаря морским сношениям и международной торговле, с ее влияниями на побережьях и в островных государствах» (стр. 159).

Гомеровские поэмы удивительно пластично изображают один из типичных ранних этапов этого развития.

С другой стороны, Роза Люксембург показывает, как разлагалось государство инков под давлением испанских завоевателей и как одновременно возникали новые формы эксплоатации. Без знания истории этого периода невозможно понять социальные условия в современной Южной Америке, в особенности институт пеонажа. Затем Роза Люксембург переходит к различным формам первобытной коммунистической общины в Индии, в которой содержится ключ к пониманию более развитых форм, встречающихся в Европе на заре истории у германцев, кельтов, славян и т. д. Она показывает, как в Индии и других восточных странах из особых функций, которых требовало руководство ирригацией, возникает на почве первобытной коммунистической общины особая социальная власть жрецов.

«Из этой чисто-хозяйственной функции естественно выросла со временем и особая социальная власть жрецов; возникающая вследствие разделения труда специализация одной части общества превращается в наследственно замкнутую касту, с привилегиями и эксплоататорскими интересами по отношению к массе крестьянства. Как быстро и как далеко шел этот процесс у того или иного народа, оставался ли он в зародышевых формах, как у перуанских индийцев, или развивался в подлинное государственное господство жрецов, в теократию, как у египтян или у древних евреев,—это всякий раз зависело от особенных географи-

ческих и исторических обстоятельств, именно от того, не появились ли в результате частых военных столкновений с окружающими народами на-ряду с кастой жрецов еще и могущественная каста воинов, которая соперничает, в качестве военной знати, с кастой жрецов и часто возвышается над нею» (стр. 172).

Главные формы индийской поземельной общины, в порядке их исторического преемства, по Ковалевскому следующие:

1) Чисто родовая община (совокупность кровных родичей одного рода) с нераздельным владением землею и совместной ее обработкой. Делится только урожай, сохраняемый в общих деревенских амбарах.

2) Семейная община с поделенной пахотной землей, но с неравными семейными наделами, определяемыми степенью родства с предками. Наделы становятся иногда наследственными; на-ряду с этим продолжает существовать и нераздельная общинная земля.

3) Традиция кровных уз ослабевает. Неравенство семейных наделов становится нестерпимым, и так возникает община с равными семейными нарезками из общинной земли, которая делится на несколько конов («wund»), в зависимости от свойств почвы. Сначала—распределение участков по потребности, затем—периодические переделы земли.

«Так разложение индийской родовой общины приводит к форме, которая исторически установлена как первоначальная германская марковая община» (стр. 177).

В заключение Роза Люксембург изображает разложение русской крестьянской общины—«превращение, под гнетом царского деспотизма», «общинного строя в аппарат для выжимания налогов», а с другой стороны—появление в деревне ростовщичества, деревенской буржуазии, господствующей над мирским сходом, большинство которого задолжено ей и зависимо от нее.

Подводя итоги, Роза Люксембург показывает, как зародыши разложения заложены внутри самого первобытно-коммунистического общества—в узких границах его производительных сил. Первобытная коммунистическая община препятствует переходу к более высоким ступеням земледелия, к более интенсивной обработке земли, так как тогдашний уровень сельско-хозяйственной техники требовал «более прочной и глубокой связи личной рабочей силы с землей», в форме индивидуального мелкого хозяйства. Особую роль играет при этом удобрение почвы.

«Быстрее и интенсивнее действует разлагающим образом другой фактор: неизбежная передача обширных хозяйственных задач общественного характера (вроде искусственного орошения) в руки специальных органов, которые в конце концов превращаются в наследственную господствующую касту. Третьим фактором является специализация военного дела в руках определенного слоя. Так повсюду в примитивных обществах возникает неравенство и эксплоатация.

«Но во всяком случае социальное неравенство и деспотия примитивных обществ существенно отличается от того неравенства, которое царит в цивилизованных обществах и ими впервые переносится в общества примитивные. Возвышение примитивной знати, деспотическая власть примитивного предводителя суть такие же естественные

продукты общества, как все остальные стороны его быта. В них находит себе лишь иное выражение беспомощность общества перед окружающей природой и собственными социальными отношениями, та беспомощность, которая одинаково проявляется и в магических церемониях культа, и в периодически повторяющемся голоде, от которого почти или совсем погибают предводители вместе с массой своих подданных. Это господство знати и предводителей находится в полной гармонии с остальными формами материальной и духовной жизни общества, как это наглядно обнаруживается в том характерном факте, что примитивная власть примитивных владык всегда теснейшим образом переплетается с примитивной естественной религией, с культом умерших, и опирается на этот культ» (стр. 195).

Поэтому подобное общество может существовать тысячелетиями в этих условиях деспотизма и неравенства, которые согласуются с естественными формами его жизни и не колеблют его основу.

Наоборот, вторгающийся европейский капитализм кратчайшим путем отнимает у этих коллективов их социальную основу—важнейшее средство их общего производства, землю—и приводит их таким образом к гибели.

4. Товарное производство. Закон заработной платы.

Глава о товарном производстве вполне закончена. Изложение прозрачно и достигает большой наглядности благодаря многочисленным историческим примерам.

Остановимся на некоторых характерных пунктах.

Замечательна уже самая постановка вопроса, которая берет капитализм и простое товарное производство в их историческом своеобразии. Вопрос ставится Розой Люксембург так: «как возможно капиталистическое общество?», хотя оно не знает ни плана, ни организации? И. Дицген подходит к вопросу с той же стороны, когда пишет: «Познать социальную сущность нашего протекающего в частных формах труда,—такова была научная задача политической экономии» [1]). Этот способ постановки вопроса уже заключает в себе диалектически-революционный метод исследования.

Отметим далее установление того факта, что общественное об'единение индивидуальных товаропроизводителей в процессе товарного производства не есть нечто раз навсегда застывшее, но нечто текучее, что все время возобновляется и снова разлагается в диалектическом процессе:

«Производство товаров есть необходимое условие жизни, и вот создается такое состояние общества, при котором все люди живут отдельно, как совершенно изолированные индивидуумы, не существующие друг для друга и только через свои товары попеременно то входящие в связь с целым, то снова выключаемые из этой связи. Перед нами в высшей степени рыхлое и неустойчивое общество, охваченное непрестанным вихревым движением своих отдельных членов» (стр. 210, 211).

[1]) И. Дицген, «Капитал Маркса» в Полном собрании сочинений, т. III, стр. 72 (немецкого издания).

Сказанное здесь о простом товарном производстве относится, и более высокой ступени, и к развитому капиталистическому производству. Индивидуальный товаропроизводитель может здесь раздуться до многообразно расчлененного треста, представляющего внутри себя планомерное целое, но принципиально это ничего не изменяет в противоречии между частным проявлением и общественной сущностью труда и в противоречивом, текучем, неустойчивом характере общественного об'единения. Противоречивый и несознаваемый самими членами общества характер их общественной связи уже заключает в себе условие возможности, или вернее необходимости, временных и частичных разрывов этой связи во всех пунктах системы. Интересен, далее, у Розы Люксембург вывод товарного производства и обмена из первобытно-коммунистических хозяйственных форм.

Она ставит вопрос: как возможно появление разделения труда, которое может развиться только в результате частной собственности и обмена, но которое, с другой стороны, является исторической предпосылкой того и другого?

«Так мы наталкиваемся на странное противоречие: обмен возможен только при условии частной собственности и развитого разделения труда, но разделение труда может возникнуть только в результате обмена и на основе частной собственности; частная собственность, в свою очередь, возникает только благодаря обмену. Если взглянуть внимательнее, здесь даже двойное противоречие: разделение труда должно существовать до обмена, но обмен должен уже быть налицо одновременно с разделением труда; и далее: частная собственность является предпосылкой разделения труда и обмена, но сама она не может развиться иначе, как из разделения труда и обмена. Как возможно такое переплетение условий?» (стр. 223).

Разрешение этого противоречия осуществляется путем длительного исторического процесса. Обмен возникает впервые у первобытных коммунистических племен и общин, при чем он происходит между племенами и общинами, как целыми, а не между отдельными лицами. Отсюда развивается разделение труда между племенами и общинами, которое имеет своей основой своеобразие их продуктов, проистекающее из естественных условий. С возрастанием оживленности и регулярности этого обмена появляются и укореняются деньги. Это, в свою очередь, ускоряет распространение торговли, торговля вносит разложение в среду первобытно-коммунистических, а также феодальных коллективов, и т. д.

Из главы о заработной плате отметим два замечания. Первое направлено против самодовольно-ограниченного образа мыслей рабочей аристократии и соответствующего ей реформизма, который характеризуется именно тем, что обращает внимание только на условия жизни рабочей аристократии, а не всего класса. По этому поводу Роза Люксембург замечает:

«Положение низших слоев пролетариата подчиняется, таким образом, тем же законам капиталистического производства, и лишь вместе с широким слоем сельских рабочих, а также со всей армией безработных и со всеми слоями, от верхних до низших, образует пролетариат органическое целое, социальный класс, изучая который, с его различными степенями ну-

жды и угнетенности, можно понять капиталистический закон заработной платы в целом» (стр. 278).

И недостаточно, прибавим мы, иметь в виду рабочий класс только одной какой-либо страны или хотя бы только капиталистических стран,—нет, лишь вместе с рабочими колониальных стран представляет он собою осуществление капиталистического закона заработной платы в его полном об'еме.

Как оказывается, понимание этой теоретической истины становится вполне доступно аристократическим верхушкам рабочего класса, в особенности господствующих империалистических стран, только тогда, когда опыт практически демонстрирует им «органическую» связь всех частей рабочего класса—когда верхушки увлекаются вниз низами.

Второе замечание касается «относительной заработной платы», т.-е. постоянного сокращения доли заработной платы благодаря повышению производительности труда, развитию техники. Это явление есть результат товарного характера рабочей силы.

«Борьба против понижения относительной заработной платы есть поэтому вместе с тем и борьба против товарного характера рабочей силы, т.-е. против капиталистического производства в целом. Борьба против падения относительной заработной платы не есть уже, стало быть, борьба на почве товарного хозяйства, но революционный, разрушительный натиск на самое существование этого хозяйства. Это—социалистическое движение пролетариата» (стр. 274).

Переход от борьбы за абсолютную к борьбе за относительную заработную плату есть, таким образом, точное экономическое выражение перехода от чисто профессиональной борьбы рабочего класса к его революционной и политической борьбе.

5. Заключительная глава-фрагмент.

Последняя глава о «тенденциях капиталистического хозяйства» явно имеется только в форме наброска и к тому же незаконченного наброска.

Только этим ее харатером об'ясняется то, что из нее можно вынести впечатление о каком-то механическом конце капитализма, как результате противоречия между границами рынка и потребностью в использовании капитала в условиях распространившегося по всей земле капиталистического производства. Достаточно сравнить относящиеся сюда отделы из «Накопления», чтобы убедиться в совершенной ошибочности такого понимания.

Ограничимся следующей цитатой из названной книги:

«Империализм есть в такой же мере исторический метод для продления существования капитала, как и вернейшее средство кратчайшим путем об'ективно положить предел его существованию. Это не значит, что этот конечный пункт педантически должен быть достигнут. Уже тенденция к этой конечной цели капиталистического развития проявляется в таких формах, которые обращают заключительную фазу капитализма в период катастроф» (31 глава, стр. 424).

А в той же заключительной главе «Введения» встречается следующая замечательная фраза, дающая экономическую характеристику процесса нисхождения капитализма:

«С каждым новым шагом своего развития капиталистическое производство неудержимо приближается к тому времени, когда его дальнейшее распространение и развитие будет становиться все медленнее и труднее» (стр. 292).

Одновременно Роза Люксембург указывает на то, что сам по себе капиталистический способ производства имеет еще перед собой много мест, где он только впервые мог бы укорениться. Но в этом процессе его фундаментальные противоречия, военные катастрофы и социальные кризисы будут все учащаться и обостряться. Социалистическая революция уже началась с окончанием мировой войны, и отныне она переплетается с дальнейшим развитием империализма, в свою очередь стремясь к расширению и ускоряя и усиливая кризисы, возникающие на почве империалистической эксплоатации.

Читатель с огорчением отметит, что в книге Розы Люксембург отсутствуют все те разнообразные экономические вопросы, которые специально связаны с империалистической стадией капитализма, не затронут вовсе вопрос о кризисах и т. д.

Впрочем, предлагаемую книгу Розы Люксембург нужно оценивать по тому, что она содержит и на что рассчитана. Книга не желает быть **учебником** политической экономии, но **введением** в нее, т.-е. **подготовкой к изучению** «**Капитала**» **Маркса** и явлений капиталистического хозяйства вообще.

И, как такое введение, она содержит в себе, несмотря на свой фрагментарный и местами незаконченный характер, не только множество блестящих мыслей, интересных замечаний, отдельных исследований, но прежде всего мастерское изложение и применение марксистского метода, приучающее учащегося революционного рабочего, для которого и предназначена книга, к острому, критическому, самостоятельному мышлению, но в то же время интересное и для марксистского исследователя вскрытием целого ряда новых проблем, или новым, неожиданным освещением уже известных.

Книга дает могущественный толчек к самостоятельному изучению и исследованию. Как Кант хотел научить своих учеников «философствованию», а не дать им готовую философию, так и Роза Люксембург стремилась и в своем преподавании, и в настоящей книге прежде всего, приучить своих слушателей и читателей к экономическому мышлению согласно исторически-диалектическому методу. Эта цель достигнута книгой Розы Люксембург едва ли не лучше, чем каким бы то ни было другим сочинением после-марксистской экономической литературы.

Перевод *Ис. Румера.*

Эклектическая экономика и диалектика.

(К критике А. Богданова).

И. Вайнштейн.

> Учение о стоимости по справедливости считается краеугольным камнем науки о законах буржуазного хозяйства. Кто ошибается относительно этой простейшей категории буржуазной экономии, тот необходимо должен ошибаться и относительно других ее категорий.
>
> Плеханов, Сочин., т. VI, стр. 104.

1.

Энергетическая или социологическая стоимость.

Было бы совершенно неверно думать, что оригинальны только философские и социологические воззрения Богданова. Оригинальны и его экономические взгляды, которые и подлежат разбору с диалектической точки зрения. Что является основной чертой во всех работах Богданова? Это—метафизическая всеобщность, т.-е. отвлеченная схема, к которой насильственно пригоняется действительность. Подобное метафизическое насилие в теоретической экономии еще более вопиюще, нежели в философии.

Основные экономические категории, например, категория стоимости, рассматриваются Марксом в их историческом развитии с точки зрения данных производственных отношений. Если мы обратимся к этой основной экономической категории, как она трактуется Богдановым, сразу бросается в глаза отсутствие у него исторического подхода. Категория стоимости—это, как известно, стержень марксистской экономики. Ничего нет удивительного, что против этой теории направляли свои критические стрелы всевозможные оппортунисты. Стоимость рассматривается Марксом прежде всего в определенной исторической обстановке, при определенных исторических условиях. Совершенно ясно и неоспоримо, что труд, как таковой, существует на всех ступенях исторического развития, безотносительно к специфическим условиям данной общественной обстановки. Маркс, руководимый диалектическим методом, рассматривал каждую социальную категорию, и стоимость—эту основную экономическую категорию,—как историческую и социальную, ибо общественный процесс диалектичен, т.-е. находится в постоянном движении и изменении. Это диалектическое толкование стоимости было непонятно для всевозможных критиков, которые считали ее необоснованной. «Всякий ребенок

вестно,—писал Маркс Кугельману,—что каждая нация погибла бы с голоду, если бы она приостановила работу хотя бы на несколько недель. Точно так же известно всем, что для соответствующих различным массам потребностей масс продуктов требуются различные и количественно определенные массы общественного совокупного труда. Очевидно само собой, что эта необходимость разделения общественного труда в определенных пропорциях никоим образом не может быть уничтожена определенной формой общественного производства, изменяться может лишь форма ее проявления... форма, в которой проявляется это пропорциональное разделение труда при таком общественном устройстве, когда связь общественного труда существует в виде частного обмена индивидуальных продуктов труда. Эта форма и есть меновая стоимость этих продуктов» (Письма к Кугельману). Меновая стоимость, рассматриваемая как историческая категория, есть форма, в которой пропорциональное распределение труда осуществляется при товарной системе хозяйства. Дело в том, что в товарном хозяйстве отсутствует регулирующий контроль над производством, процесс которого происходит совершенно стихийно. Подобная стихийность производственного процесса связана с неизбежными отклонениями в сторону сокращения или расширения производства. Но диалектика производственного процесса состоит в том, что отклонение в одном направлении рождает силы, вызывающие движения в противоположном направлении. Распределение общественного труда в товарном хозяйстве, соответствующее данному состоянию производительных сил, осуществляясь на фоне бесчисленных колебательных движений, находит в законе стоимости, выступающем в глазах отдельных агентов производства, как слеподействующий закон природы, фокус равновесия. Последнее есть теоретически мыслимое равновесие, как исходный об'яснительный пункт для бесчисленных колебательных движений. «Распределение этого общественного труда и его взаимное довершение, обмен веществ между его продуктами, его подчинение ходу общественного механизма и включение в этот последний—все это предоставлено случайным взаимно-уничтожающимся стремлениям единичных капиталистических производителей. Лишь как внутренний закон, как слепой закон природы, выступает в глазах отдельных деятелей производства закон стоимости и осуществляет общественное равновесие производства среди случайных колебаний» («Капитал», т. III). Закон стоимости таким образом выполняет функцию социального регулятора в обществе, где отсутствует всякая сознательная регулирующая деятельность. Отсюда, т.-е. из указанной функции стоимости, становится понятной, по верному замечанию Рубина, бессмысленность возражений против теории стоимости, основанных на факте несовпадения конкретных цен с теоретической «стоимостью». «Именно это отклонение цен от стоимости и есть тот механизм, при помощи которого устраняются нарушения в распределении труда между различными отраслями производства и создается движение в том направлении, где лежит теоретически мыслимое равновесие общественного производства». Полное совпадение цены со стоимостью означало бы устранение того единственного регулятора, который не дает различным частям народного хозяйства двигаться в противополож-

ном направлении, что привело бы к хозяйственному развалу» (Рубин).

Товарное общество страдает от глубокого внутреннего противоречия, которое должно быть необходимо преодолено для возможности его дальнейшего воспроизводства. Товарное хозяйство является, с одной стороны, единым хозяйственным целым, части которого находятся во взаимо-зависимости, благодаря естественно развивающемуся разделению труда. С другой стороны, индивидуальное хозяйствование разбивает это общество на ряд независимых хозяйств. Трудовая связь в таком обществе осуществляется через стоимость продуктов труда, которая является тем передаточным ремнем, который, передавая движение трудовых процессов от одной части общества к другой, осуществляет трудовое единство этого общества. Стоимость неразрывно связана с определенной производственной структурой общества, которую характеризует вышеуказанное противоречие. Стоимость является, таким образом, социально исторической категорией, неразрывно связанной с производственным механизмом товарного общества. Для Богданова, который рассматривает общество с точки зрения энергетической, стоимость оказывается уже не социальной, а энергетической категорией (Богданов, как известно, берет закон сохранения энергии, как отправной методологический критерий для понимания социальной причинности капиталистического общества). «То количество трудовой энергии, которое необходимо обществу для производства определенного продукта, называется общественной стоимостью, или просто стоимостью этого продукта» («Краткий курс», стр. 63). С этой точки зрения стоимость продукта тождественна с количеством потраченной на него общественно-трудовой энергии. Но такое понимание стоимости в корне чуждо Марксу, для которого стоимость есть прежде всего общественная историческая категория. Если же величина стоимости товаров изменяется в зависимости от потраченного производства общественного труда, то это не потому, что вещи приравниваются согласно количеству потраченного на них труда, а потому, что приравнивание труда происходит в товарном обществе только в форме приравнивания товаров (Рубин).

Маркс самым решительным образом повторял, что категория стоимости, как социальная категория, не заключает в себе ни одного атома материи. Все своеобразие этой категории заключается в ее социологическом характере, который никакая энергетика не в состоянии заместить. Ибо если бы стоимость определялась количеством общественно-трудовой энергии в физическом смысле этого слова, то стоимость существовала бы, понятно, во все эпохи. Наоборот, стоимость для Маркса была прежде всего исторической проблемой, которую Маркс разрешил, опираясь на диалектический метод. «Правда,—говорит Маркс,—политическая экономия исследовала, хотя недостаточно, стоимость и величину стоимости и раскрыла заключающееся в этих формах содержание, но она ни разу не поставила вопроса: почему это содержание принимает такую форму, другими словами, почему труд выражается в стоимости, а продолжительность труда, как его мера, в величине стоимости продукта труда» («Капитал», т. I, стр. 48—49). Следовательно, превращение труда в стоимость является для Маркса проблемой, которую он разрешил, опираясь

и диалектический метод. Теория стоимости в ее физиологическом, а не историческом обосновании превращается в трудовую теорию богатства, сущность которого не является для Маркса вопросом политической экономии. Маркса интересует вопрос о форме богатства, который классическая экономия даже не ставила. «Правда, она—и это характеризует ее историческое положение по сравнению с предшественниками—поставила в центр своего исследования процесс производства, дабы отвергнуть учение монетарной и меркантилистической систем о возникновении богатства из обращения. Но по существу она застряла в своих поисках за богатством, в котором она еще не различала потребительной и меновой стоимости. Так как буржуазное общество составляло бессознательную предпосылку ее мышления, то форма, которую богатство приняло, казалась ей чем-то само собой разумеющимся. Поэтому ей так трудно было провести полное различие между техническим и экономическим исследованием, или, выражаясь языком экономики, между потребительной и меновой стоимостью; это не удалось вполне не только физиократам, но и Смиту. Лишь у Рикардо это различие проводится последовательно, но не обосновывается достаточно резко» (Гильфердинг). Стоимость есть социально-экономическая категория, но для классической экономики, как экономической идеологии буржуазии, исторические формы богатства буржуазного общества казались вечными и само собой разумеющимися. И это «естественное и самоочевидное» стало исходной точкой анализа для Маркса, который искал тайны этой формы богатства в определенной структуре общества, в определенной форме производственных отношений, выражением которой она является. То, что для Богданова является решением, а именно: общественно-трудовая энергия, идентичная с общественной стоимостью, является для Маркса, спрашивающего о причинах превращения этой трудовой энергии в стоимость, подлежащей еще разрешению проблемой. Маркс поэтому в первую очередь изучает общественные формы, которые принимают продукты производства. Продукт же в его определенной общественной форме является не результатом процесса производства, которому он обязан лишь изменением своих естественных свойств сообразно с целями потребления, а выражением производственных отношений, в которые производители становятся друг к другу.

Не трудовая борьба с природой, выражающаяся в трате определенного количества общественно-трудовой энергии, а взаимные отношения людей в производственном процессе являлись для Маркса почвой, из которой он при посредстве диалектического метода извлек ответ на ставшую перед ним проблему. Ответ Маркса, данный в аспекте материалистического понимания истории, означал ясную формулировку проблем политической экономии, как проблемы производственных отношений капиталистического общества, проблемы его социального механизма. «Богатство общества,—говорит Маркс,—в котором господствует капиталистический способ производства, представляет огромное скопление товаров, а отдельные товары—его элементарную форму. Наши исследования начинаются поэтому исследованием товара». Определяя богатство общества, в котором господствует капитали-

стический способ производства, как огромное скопление товаров, Маркс рассматривает это богатство не как продукт общественно-трудовой энергии, не только как скопление потребительных стоимостей, идентичных определенной массе потраченной общественно-трудовой энергии, а в той исторически присущей ему форме, которую оно принимает при определенных производственных отношениях, когда продукт фигурирует уже не как энергетический феномен, а как посредник общественного отношения, которое могло возникнуть лишь при определенной форме общества. Богданов обосновывает свое энергетическое понимание стоимости следующим образом: «Допустим,—говорит Богданов,—что общество вполне однородно, что различные хозяйства сходны между собой по величине потребностей и по количеству трудовой энергии, которая в каждом из них затрачивается на производство. Если таких хозяйств имеется миллион, то потребность у каждого из них составляет одну миллионную потребности общества, и труд каждого из них составляет одну миллионную общественных затрат трудовой энергии. Если при этом все общественное производство вполне удовлетворяет всю сумму общественных потребностей, то каждому хозяйству для полного удовлетворения его потребностей необходимо получить за свои товары одну миллионную всего общественного продукта. Если отдельные хозяйства получат меньше этого, они начнут слабеть и разрушаться и не будут в силах выполнять прежней общественной роли, доставлять обществу по одной миллионной доли всей его трудовой энергии в борьбе с природой. Если некоторые хозяйства получат больше, чем по одной миллионной доли продукта общественного труда, то пострадают и начнут слабеть другие хозяйства, которым достается меньше» («Краткий курс экономич. науки»).

Из приведенного энергетического обоснования стоимости следует, что равновесие производственного процесса в обществе осуществляется благодаря постоянному возмещению каждой хозяйственной единице затраченной ею трудовой энергии. Общественный процесс производства колеблется между возмещением и тратой, соответствующими друг другу в строжайшей пропорциональности, и всякая, выражаясь языком Рихарда Авенариуса, «жизнерозность», связанная с нарушением этой пропорциональности, ведет необходимо систему к гибели.

Тут мы опять встречаемся с одним из парадоксов, которыми так изобилуют воззрения Богданова. Категория стоимости, как меновой стоимости, возникает с индивидуализацией хозяйственного процесса, как его социальный регулятор, связанный неразрывно с отсутствием сознательного контроля в этом процессе. Индивидуализация хозяйственного процесса, выражающаяся в формальной независимости его носителей—товаропроизводителей, возникает с появлением прибавочного продукта, при котором становится возможным превращение потребительной стоимости в меновую, становится возможным производство продукта, предназначенного не для личного потребления, а для обмена. Меновая стоимость имеет своей предпосылкой существование прибавочного продукта; наоборот, исключительно потребительная стоимость, которая, как таковая, не является экономической категорией, имеет место независимо от всяких общественных форм во все исторические эпохи. Но для Маркса форма стоимости совпадает с товар-

ной формой. «Товарная форма продукта труда, или форма стоимости товара есть форма экономической клеточки буржуазного общества».

Энергетическая теория стоимости у Богданова имеет своей предпосылкой полное отсутствие прибавочного продукта, который как раз является необходимой социальной предпосылкой появления меновой стоимости в товарном обществе. Стоимость—это вещное выражение производственных отношений между товаропроизводителями. Она есть вещное выражение специфических общественных свойств труда, а именно организации его на основе самостоятельного ведения хозяйства частными товаро-производителями и связанности их в обмене» (Рубин). Стоимость есть вещное выражение производственных отношений в товарном обществе, а в капиталистическом обществе она является также выражением производственных отношений между буржуазией и пролетариатом. Борьба классов в капиталистическом обществе выступает в форме борьбы между покупателем и продавцом товара, именуемого рабочей силой, словом, находит свое выражение в стоимости. Рабочая сила, фигурирующая на рынке, как товар, является выражением отношения эксплоатации и угнетения в форме стоимости. Обмен принимает форму капитализма, когда появляется на рынке рабочая сила, как товар. Когда же стоимость трактуется, как физиологическая затрата энергии, которая одинакова во все исторические эпохи, а не как явление общественное, не как выражение определенных производственных отношений, то это у Богданова находится в созвучии с пониманием самих производственных отношений.

Богданов различает два главных вида производственных отношений: отношение сотрудничества и присвоения («Начальный курс политической экономии»). Основные производственные отношения в капиталистическом обществе—это отношение эксплоатации и угнетения. Присвоение у Богданова выступает на место эксплоатации. Что же представляет собой отношение присвоения? Последнее, оказывается, состоит в том, что одни люди работают для других или на других. Таков, например, обмен, при котором члены общества взаимно присваивают друг у друга продукты труда. Если крестьянин и кузнец поменялись продуктами, то на деле выходит, что крестьянин часть своего времени работает для кузнеца и наоборот («Нач. курс полит. экон.», стр. 9). Таким образом эксплоатация заменена присвоением, которое, в свою очередь, квалифицируется, как обмен. Эксплоатация, которая заключается в присвоении неоплаченного труда, заменяется миролюбивым и безмятежным обменом, где, с одной стороны, стираются все следы действительно эксплоатирующего отношения капитала к труду; а с другой стороны—крестьянин и кузнец, как носители менового процесса, вплетаются в сеть эксплоататоров. Когда, таким образом, основные производственные отношения, отношения капиталистов и наемных рабочих, растворяются, то это связано с их метафизическим пониманием, при котором противоречие—этот основной двигатель исторического прогресса—замещается схематическим и умозрительным единством, перенесенным в виде авторитетного отношения организатора к исполнителю на исторический процесс в качестве универсального социологического критерия. Энергетическое или метафизическое

понимание стоимости, которая по существу своему является вещным выражением производственных отношений, коренным образом связано с метафизическим пониманием самых производственных отношений, приобретающим под углом авторитарного понимания ту безмятежную идиллическую окраску, которая менее всего способна освещать исторические явления и вскрывать их подлинную историческую сущность. «Другой пример,—говорит Богданов,—эксплоатация, при которой один присваивает себе то, что произвел другой без взаимности, т.-е. не давая в обмен соответствующего количества труда» («Начальный курс политической экономии», стр. 9).

Эксплоатация оказывается разновидностью обмена, носителями которого являются крестьянин, кузнец, капиталист и рабочий. Присвоение—это для Богданова своего рода субстанция «антагонистических» производственных отношений, охватывающая одинаковым образом как отношение крестьянина и кузнеца, так и отношение капиталиста и рабочего. Обмен, который фигурирует у Богданова, как присвоение, начинает проявляться с первыми начатками товарного хозяйства. Капиталистическая же эксплоатация, которая также является для Богданова разновидностью обмена, возникает с разрушением феодального способа производства, как особое капиталистическое присвоение, которое, не будучи совершенно похоже на обмен и на все предшествовавшие формы присвоения, становится точкой скрещения всех основных противоречий капиталистического общества.

Энгельс, характеризуя способ присвоения в средние века, говорит: «Право собственности на продукт покоится, таким образом, на с о б с т в е н н о м т р у д е. Если даже где и применялся чужой труд, то он играл обыкновенно второстепенную роль, и наемный рабочий часто получал в этом случае, кроме заработной платы, еще иное вознаграждение; так, ремесленный ученик и подмастерье работали не столько ради харчей и платы, сколько для обучения мастерству» («Анти-Дюринг», стр. 304). Присвоение существовало также в средние века, но там оно находится в контакте с индивидуалистическим характером производства.

Концентрация средств производства в крупных мастерских и мануфактурах, их превращение в общественные средства производства, что было исторически осуществлено капиталистическим способом производства и его носителем—буржуазией, подчинившись единоличному присвоению, сообщило последнему тот своеобразный капиталистический оттенок, который отличает его от всех предшествовавших форм присвоения». «Раньше,—говорил Энгельс,—владелец средств производства присваивал себе продукт потому, что он по общему правилу был продуктом его труда, а чужой вспомогательный труд был исключением; теперь же владелец средств производства продолжал присваивать себе продукт, несмотря на то, что он был произведен не его трудом, а исключительно ч у ж и м. Таким образом, общественно-произведенные продукты стали присваиваться не теми, кто действительно приводил в движение средства производства и создавал продукты, а капиталистом» («Анти-Дюринг», стр. 304). Способ присвоения в капиталистическом обществе, благодаря присущему последнему общественному характеру производства, есть исключительное при-

своение продуктов чужого труда, осуществляющееся на почве единоличного владения общественными средствами производства. Исключительное присвоение продуктов только чужого труда не есть просто присвоение, отношение которого состоит в том, что одни люди работают для других или на других, а исторически-своеобразная форма эксплоатации чужого труда владельцами средств производства, выступающая как агрессивно-антагонистическое классовое отношение капитала к наемному труду. Подобное агрессивно-антагонистическое отношение возникло на почве того основного противоречия между общественным производством и капиталистическим присвоением, которое, как было сказано, является точкой скрещения всех противоречий капиталистического общества и в первую голову выступает, как противоречие между буржуазией и пролетариатом. Когда же Богданов валит в одну кучу отношение крестьянина и кузнеца, капиталиста и наемного работника, то это об'ясняется отсутствием диалектического понимания вещей, при котором движущее вперед противоречие замещается метафизическим принципом присвоения.

Другой главный вид производственных отношений есть для Богданова отношение сотрудничества. Отношение господства и подчинения, эксплоатации и угнетения является для Богданова формой сотрудничества. Что же представляет собой эта форма? Это,—отвечает Богданов,—тоже своего рода специализация, но совсем особая, когда один занимается распорядительской или, что то же, организаторской деятельностью, а другие исполняют его указания, один приказывает, а другой подчиняется. На этом была построена древняя патриархальная община, глава которой—патриарх—был организатором всего хозяйства; затем феодальная организация, где феодал господствовал над крестьянином, а сам подчинялся обыкновенно другому высшему феодалу. Современная крестьянская и мещанская семья имеет тоже «главу» в виде отца и мужа, который распоряжается общим хозяйством, требует подчинения от жены и детей; на фабрике рабочие подчинены капиталистам, имеющим организаторскую власть, а также получившим от них эту власть инженерам, директорам» («Начальный курс политической экономии»). В данном случае перед нами опять выступает полнейшее отсутствие диалектики, историзма, которые замещает метафизический принцип специализации, дающий одним махом об'яснение различным историческим эпохам. Антагонистически-классовое отношение замещается принципом специализации, который «преодолевает» историческое понимание вещей, как всеоб'ясняющая категория, делающая излишним конкретные исторические исследования. С точки зрения этого всеоб'ясняющего принципа, патриарх древней общины, феодал, капиталист и технически руководящий персонал, получающий от капиталистов распорядительские функции, являются организаторами. Если, таким образом, на-ряду с капиталистами-организаторами стоят и технические руководители и главы семей,—то что же тогда отличает отношение господства и подчинения, имеющее место в отношениях капиталиста и наемного рабочего от авторитарных отношений главы семьи к своим подчиненным или технического руководителя к подчиненным рабочим? В том-то и дело, что, с точки зрения Богданова, отношение капиталиста и наемного рабочего, является не отношением эксплоатации и угнетения, а

формой авторитарного сотрудничества, где момент эксплоатации, главным образом характеризующий господствующий класс, отсутствует. Отсутствие же этой черты совершенно стирает грань, отделяющую антагонистические отношения капиталиста и наемного рабочего от отношений главы семьи к своим подчиненным. Да, классовые отношения в их авторитарной интерпретации у Богданова, пожалуй, более похожи на патриархальные семейные отношения, нежели на действительные классовые отношения, имеющие место на всем протяжении исторического развития. И действительно, что такое капиталист в его исторической физиономии? Каким образом он появляется? Какие характерные черты сопровождают его появление? Стоит только обратиться к исторической действительности, чтобы убедиться, что не организаторская деятельность характеризует историческое выступление капиталиста, а эксплоататорская, которая неот'емлема от исторической миссии капитализма в его прогрессивном смысле. Период первоначального накопления, предшествующий возникновению капиталистического строя, есть период жесточайшей эксплоатации. Первоначальное накопление средств производства есть процесс неудержимо возрастающей эксплоатации мелкого производителя и его превращения в наемного рабочего. Диалектика капиталистического процесса состоит именно в том, что его прогресс осуществляется по пути всеобостряющегося противоречия. Глубоко и ярко говорит об этом противоречии Владимир Ильин (Ленин): «Развитие производства, следовательно и внутреннего рынка, преимущественно на счет средств производства кажется парадоксальным и представляет из себя несомненно противоречие. Это—настоящее «производство для производства», расширение производства без соответствующего расширения потребления. Но это противоречие не доктрин, а действительности; это именно такое противоречие, которое соответствует самой природе капитализма и остальным противоречиям этой системы общественного производства. Конечно, это расширение производства не соответствует расширению потребления и соответствует исторической миссии капитализма, его общественной структуре: первая состоит в развитии производительности общества, вторая исключает утилизацию этих завоеваний массою населения. Между безразличным стремлением к расширению производства, присущим капитализму, и ограниченным потреблением народных масс (ограниченным вследствие их пролетарского состояния) есть несомненно противоречие» («Развитие капитализма в России», стр. 91). Основное противоречие капиталистического общества, присущее ему с самого начала, в процессе постоянного углубления ведущее это общество к гибели, говорит о растущем обнищании масс, потребительные способности которых, как об'ект возрастающей эксплоатации, прогрессивно сокращаются, служа показателем неспособности капиталистического общества разрешить указанные противоречия. Проникновение торгового капитала в сферу мелкого производства не блещет прогрессивно организаторскими красками, а сопровождается порабощением и эксплоатацией мелкого производителя, который оказывается совершенно беззащитным перед властью торгового капитала, лишающей его всякой экономической базы. «Скупая изделия (или сырье) в массовых размерах, скупщики, таким образом, удешевляли расходы сбыта, превращали сбыт из

мелкого, случайного и неправильного в крупный и регулярный,— это чисто экономическое преимущество крупного сбыта неизбежно привело к тому, что мелкий производитель оказался отрезанным от рынка и беззащитным перед властью торгового капитала» («Развитие капитализма в России», стр. 278). Образование классов выступает, таким образом, исторически не в форме авторитарного сотрудничества, имеющего место лишь в истории метафизических идей Богданова. Действительная же история является ареной жестоких социальных антагонизмов, которые в капиталистическом обществе достигают своего апогея. Если же производственные отношения принимают у Богданова метафизическую форму авторитарного сотрудничества, то вполне естественно, что и стоимость, которая является социально-исторической категорией, связанной в капиталистическом обществе с классовой борьбой буржуазии и пролетариата, приобретает у Богданова энергетическую форму, т.-е. лишается всяких следов исторической диалектики. Энергия, лежащая в основе стоимости Богданова, превращает закон стоимости в вечный и естественный, эклектически приноравливает ее к всевозможным историческим формам, которые непосредственно и безотносительно об'единяются при посредстве одного всеоб'ясняющего волшебного слова: авторитарность.

II.

Производительность и полезность.

Другой важнейшей проблемой политической экономии является проблема производительности труда. Всякая экономическая категория рассматривается Марксом с точки зрения диалектического метода. С точки зрения этого метода экономическая категория неотрывна от данной совокупности производственных отношений, под углом которой эта категория получает научное освещение. Субстанцией, если можно так выразиться, общественных процессов являются производительные силы в их определенной социальной форме. Каждое экономическое явление, как историческая разновидность этой субстанции, приобретает характер закономерности именно в этой связи, ибо история человечества есть история развития производительных сил. Единство исторического процесса связано с тем обстоятельством, что как его суб'ект— человечество, так и его об'ект—природа, существуют на всех ступенях истории. Но это единство является лишь общим фоном, на котором исторический процесс развертывает динамику своих социальных вариаций, различий, своеобразий, составляющих настоящий предмет диалектического изучения. Маркс поэтому говорит, что абстрактные определения производства должны быть проанализированы, чтобы присущие ему исторически выделяющие его различия не были стерты. Мудрость же буржуазных экономистов, доказывающих вечность и гармонию существующих социальных отношений, заключается, согласно Марксу, в забвении этих различий и в бесплодных усилиях доказать, что орудия производства и предшествующий накопленный труд являются необходимыми предпосылками производства, безотносительно к характеру орудий производства, хотя бы этим орудием была только

рука дикаря, и также безотносительно к характеру накопленного труда, хотя бы последним была только сноровка этой руки, приобретённая в процессе повторных упражнений. С такой «вечной» точки зрения капитал, как средство производства и результат предшествовавшего и об'ективировавшегося труда, как иронически замечает Маркс,—всеобщее и естественное явление. Но такое утверждение становится возможным лишь тогда, когда откидывается то специфическое, что одно лишь превращает орудие производства, накопленный труд в капитал. Проблема производительности труда, как экономическая проблема, получает свое разрешение в свете диалектического понимания истории, которая рассматривает всякую социальную категорию под углом того исторического своеобразия, который меньше всего может претендовать на вечность. Пафос вечности составляет скорее удел тех метафизических доктрин, которые при посредстве безвременных принципов вроде организации и специализации, сооружают миростроительские концепции, полные безвременного задора, но также безвременно гибнущие и предающие свой прах—прах доктрин—в музей метафизических нелепостей. Ставя вопрос о различии между производительным и непроизводительным трудом, Богданов говорит: «Экономисты до сих пор неодинаково понимают это различие. Один называет «производительным» только такой труд, который создает материальные, осязаемые продукты, а всякий иной считает «непроизводительным». С этой точки зрения производителен только один физический труд крестьян, ремесленников, рабочих, да и то не всяких: труд рабочих перевозочной промышленности не создает нового материального продукта, и потому должен оказаться «непроизводительным»,—а тем более всякий умственный труд, например, работа распорядителей в предприятиях, учителей и т. п. Другие экономисты признают производительным всякий труд, который н у ж е н о б щ е с т в у, не только ф и з и ч е с к и й, но и духовный; сюда подойдет и труд слесаря и работа железнодорожного машиниста или трамвайного кондуктора, и деятельность распорядителя, и учительская. Сюда, значит, не относится: во-первых, работа разрушительная, например, выполняемая убийцей или грабителем; во-вторых, работа, которая просто не касается общества, например, деятельность личного потребления, которая выполняется каждым отдельным человеком всецело в его интересах, или какая-нибудь игра в шахматы и пр.—мы выберем для себя именно это, второе понимание производительного труда, как более простое и удобное: труд производительный будет для нас означать то же, что труд о б щ е с т в е н н о-п о л е з н ы й. Политическая экономия есть наука об обществе и для нее суть дела не в материальности или нематериальности продуктов труда, а в его общественном или необщественном характере» («Начальный курс полит. экон.»). Таким образом, производительным трудом об'является труд общественно-полезный, независимо от характера и специфических свойств данного общества.

Маркс, руководимый диалектическим методом, рассматривал производительный труд, как историческую категорию прежде всего. Он квалифицирует понятие производительного труда, встречающееся в ранних экономических системах, не как нечто случайное, но как идеологическое отражение различных степеней

производственного процесса. Когда для физиократов производительным является всякий труд, применяемый в земледелии, то такое определение соответствует экономическим предпосылкам физиократизма, ибо если причина богатства и его роста усматривается только в увеличении излишка сельско-хозяйственного производства, то, следовательно, промышленный и торговый труд, могущий быть необходимым и полезным для всего процесса производства, не может считаться производительным, решающим фактором возрастания национального богатства. Согласно диалектическому методу, как верно замечает Гильфердинг, историческое развитие всюду идет параллельно с развитием понятий, так что развитие общественно-производительных сил то выступает в исторической реальности, то как отражение в системе понятий. Различие между производительным и непроизводительным трудом является для Маркса выражением исторических определенных общественных условий производства, почему и понятие производительного труда меняется в зависимости от различия производственной организации. Диалектическая точка зрения, вынуждающая к строгому историческому мышлению, сводит к абсурду всякую попытку отвлекаться от исторически данной производственной структуры и решать какую-либо социальную проблему в плоскости исторического безразличия, т.-е. метафизически.

Проблема производительного труда в капиталистическом обществе является специфической проблемой **данного** общества. Определение производительности, данное Богдановым, не имеет ничего общего с историческим пониманием вещей, несмотря на то, что Богданов говорит об историчности своей точки зрения. Понимание производительного труда, как общественно-полезного, является той точкой зрения, которую Маркс бичевал со всей присущей ему беспощадной полемической меткостью. Маркс беспощадно высмеивает, например, Гарнье, который толкует слово «полезный» индивидуалистически, понимая под ним результаты труда, доставляющие наслаждение, что обусловливает, таким образом, максимальную производительность труда проститутки. Понимание производительности под углом полезности чревато целым рядом парадоксов, но бессодержательно по действительному проникновению в сущность трактуемого предмета. Точка зрения Маркса на производительный труд различается не только от «исторической» точки зрения Богданова, но и от той точки зрения, которую в вышеприведенной цитате Богданов противопоставляет точке зрения общественной полезности. Маркс прежде всего констатирует буржуазную ограниченность, которая, считая формы производства абсолютными его формами, а потому и вечными, может смешивать вопрос, что такое производительный труд с точки зрения капитала, с вопросом, какой труд вообще производителен или что такое производительный труд вообще. Маркс ставит вопрос о производительном труде с точки зрения капиталистического общества, так как каждая система производственных отношений имеет свое понятие производительного труда. «Производительным трудом в системе капиталистического производства,—говорит Маркс,—будет такой труд, который производит прибавочную стоимость для того, кто его применяет или который превращает об'ективные условия труда в капитал, а их владельца в капиталиста; следовательно,

труд, который производит свой собственный продукт, как капитал» («Теория прибавочной стоимости, стр. 269). Таким образом для Маркса производительным трудом в капиталистическом обществе является не физический труд, овеществляющийся в осязательных продуктах, и не труд общественно-полезный, а труд, который производит прибавочную стоимость для капиталиста, непосредственно превращается в капитал, непосредственно обменивается на капитал, который покупается капиталистом на его переменный капитал с целью извлечь из него прибавочную стоимость. Непроизводительным является труд, который обменивается не на капитал, а на доход, охватывающий заработную плату, прибыль и все те его формы, под которыми другие участвуют в прибыли капиталиста, например, процент и ренту (Маркс).

Но Богданов, стоящий на «исторической» точке зрения, отвергает совсем разделение общественно-полезного труда на производительный и непроизводительный, как «бесплодное усложнение, способное только запутывать анализ». «Всякий труд,—говорит Богданов,—удовлетворяющий общественную потребность, следовательно, об'ективно нужный для данной экономической системы, должен быть признан производительным. Противопоставлять ему надо только социально бездеятельное существование и разрушительный труд,—общественный паразитизм и анти-социальную активность» («Курс полит. экономии», том II, вып. IV, стр. 17). Исходя из сказанного Богдановым, можно спросить: неужели всякий труд, удовлетворяющий общественную потребность, входит в данную экономическую систему? Послушаем Маркса и для нас станет ясной «историчность» точки зрения Богданова. «Актер, например, хотя бы и клоун, будет производительным рабочим, если он работает на службе у капиталиста (антрепренера), которому он отдает больше труда, чем получает от него в форме заработной платы, тогда как портной, который приходит на дом к капиталисту и починяет ему брюки, производит для него лишь потребительную стоимость и является непроизводительным рабочим. Труд первого обменивается на капитал, труд второго—на доход. Первый производит прибавочную стоимость, при втором потребляется доход». С точки зрения Богданова, согласно которой всякий труд, удовлетворяющий общественной потребности, является производительным трудом, вышеприведенное положение Маркса должно звучать как странный парадокс, ибо с этой точки зрения бесполезный труд клоуна, доставляющий капиталисту прибавочную стоимость, производителен, когда высокополезный труд портного оказывается непроизводительным. С точки зрения общественной полезности труд портного, конечно, неизмеримо полезнее для общества, нежели труд клоуна, и однако с точки зрения Маркса производительным в капиталистической системе оказывается именно этот бесполезный труд, бесполезный для общественного процесса производства.

Да, такое понимание производительного труда Марксом действительно странно с точки зрения Богданова, но непреложно с точки зрения диалектики. Всякий труд, удовлетворяющий общественную потребность, по мнению Богданова, является производительным; удовлетворение общественной потребности идентифицируется для Богданова с вхождением в данную экономическую систему. Однако если бы Богданов рассматривал производитель-

ный труд с точки зрения данной экономической системы, он не получил бы такого неисторического определения, как общественно-полезный, ибо категория полезности не дает никакой характеристики специфических черт данного общества, не оттеняет особенности данной социальной структуры. Основная характерная особенность капиталистической системы заключается в производстве прибавочной стоимости, без которой она не может ни существовать, ни выполнять свои общественные функции. Прекращение прибавочной стоимости повлекло бы за собой немедленное прекращение капиталистической системы хозяйства. Следовательно, труд, создающий прибавочную стоимость для капиталиста, обусловливающий возможность дальнейшего воспроизводства системы, является производительным с точки зрения этой системы. Таким образом, только труд, создающий прибавочную стоимость для капиталиста, входит в капиталистическую систему совершенно независимо от его полезности или бесполезности для общественного процесса производства, совершенно независимо от его физического или интеллектуального характера, независимо от его воплощения в материальных ценностях. Маркс, как подлинный диалектик, исходил прежде всего из данной формы общественных отношений, которая, как капиталистический способ производства, имеет форму наемного труда, нанимаемого капиталистом для извлечения прибавочной стоимости. С этой диалектической точки зрения, рассматривающей всякую общественную форму под углом ее специфического производственного своеобразия, конкретный характер и особенная полезность труда безразличны для определения его производительности. «Разграничение производительного и непроизводительного труда не имеет никакого отношения ни к особенной специальности труда, ни к особой потребительной стоимости, в которую воплощается эта специальность» (Маркс). Естественно, что труд, производящий товары, должен быть полезным трудом, воплощаться и реализоваться в потребительных стоимостях, ибо только такой, производящий потребительные стоимости, труд обменивается на капитал. Однако, в системе капиталистического производства не это определяет производительность. «Ибо специфическую потребительную стоимость для капитала создает и его данный полезный характер, равно как и не специальное полезное свойство продукта, в котором он овеществляется; эта стоимость обусловливается характером труда, как производительного труда, как творческого элемента для меновой стоимости, — она создается абстрактным трудом, но не потому, что он представляет собой определенное качество всеобщего труда, а потому, что он представляет *больше количество абстрактного труда*, чем то, *которое содержится в цене труда*, т.-е. стоимости рабочей силы» (Маркс). Труд, как творческий фактор по отношению к меновой стоимости, становится производительным, как труд, входящий в данную экономическую систему, которая является системой эксплоатации чужого труда. Определение производительности труда, не включающее основного момента данной системы, не имеет ничего общего с историческим пониманием вещей. И поэтому по меньшей мере странны следующие слова Богданова, стоящие в самом решительном противоречии с его толкованием производительного труда. «Если мы

стоим на исторической точке зрения,—говорит Богданов,—то нам нельзя определить производительный или непроизводительный характер труда с точки зрения какой-либо иной, а не этой самой организации; иначе открывается простор произволу в исследовании» («Курс политической экономии», стр. 13). Однако, как нам известно, непроизводительным трудом, который правомерно противопоставляется производительному, является для Богданова социальный паразитизм и разрушительный труд, тогда как всякий другой труд, удовлетворяющий какую-либо общественную потребность, производителен, так сказать, по существу. Широта и неопределенность такого противопоставления резко свидетельствует о метафизичности точки зрения Богданова. А между тем с подлинно исторической точки зрения даже наемный труд, поскольку он употребляется не для извлечения прибавочной стоимости, не является производительным, конечно не за его бесполезность для общественного процесса производства, а за его индифферентизм к возрастанию прибавочной стоимости и, следовательно, к данной системе капиталистического хозяйства, поскольку она зиждется на производстве и воспроизводстве прибавочной стоимости.

Именно социологическая концепция производительного труда у Маркса исключает разделение между физическим и интеллектуальным трудом, т.-е. трудом, который не воплощается в материальных ценностях, как производительным и непроизводительным, ибо и труд интеллектуальный производителен, если он производит прибавочную стоимость и, таким образом, входит в капиталистическую систему. Так, например, для Маркса школьный учитель является производительным рабочим, «если он не только обрабатывает детские головы, но и обрабатывает самого себя для обогащения предпринимателя». Поэтому совершенно неоснователен упрек Богданова по адресу Маркса, который будто бы поддерживал те воззрения старой политической экономии, которые признавали производительным только труд, производящий изменения в материальных вещах. С точки зрения Маркса, труд, служащий для удовлетворения так называемых духовных потребностей, является производительным, если он входит в капиталистическую систему, безразлично порождается ли эта потребность «желудком или фантазией». Производство прибавочной стоимости является, таким образом, единственным правомерным критерием производительности труда в капиталистическом обществе. Признавая,—понятно только на словах,—соображения Маркса о непроизводительном труде «правильными и необходимыми», поскольку дело идет о вполне завершенной абстрактно-чистой капиталистической системе», Богданов однако говорит, что в «капиталистическом обществе, среди которого мы живем, с его разнообразными наслоениями, разумеется, не всякий производительный (?) труд принимает такую специфически определенную форму». В данном случае мы сталкиваемся с одним из тех парадоксов, которыми так изобилует концепция Богданова. Если верны соображения Маркса на производительный труд, то как же понимать высказывания Богданова, что не всякий производительный труд принимает такую специфически определенную форму («Курс политической экономии», стр. 15), т.-е. не всякий производительный труд производителен? Если Маркс прав, то специфически опре-

деленная форма труда определяется его производительностью, а именно его организованностью на капиталистических началах. Но если Маркс прав и производительным трудом является труд, организованный на капиталистических началах, то как же тогда понимать слова Богданова, что не всякий производительный труд, т.-е. организованный на капиталистических началах, принимает такую специфически определенную форму, т.-е. организованности на капиталистических началах? Но чтобы, повидимому, оставаться на точке зрения Маркса, Богданов решает вопрос таким образом, что представляет весь производительный труд мыслимого капиталистического общества—«производительным» и для самовозрастания капитала,—т.-е. самое это общество состоящим только из капиталистов и наемных рабочих, идеализируя первых в виде класса не трудящегося, а исключительно потребляющего и накопляющего; вторых—в виде класса, охватывающего все виды социально-необходимого труда («Курс политической экономии», стр. 15). Но возможно ли, однако, подобное представление? Возможно ли произвести такую абстракцию, т.-е. представить себе капиталистическое общество состоящим только из капиталистов и наемных рабочих, «охватывающих все виды социально-необходимого труда»? Насколько Богданов при этом остается на точке зрения Маркса, можно судить по той квалификации производительного и непроизводительного труда, которую дает Маркс. Для Маркса один и тот же труд является производительным и непроизводительным, в зависимости именно от его специфически определенной формы, т.-е. организованности на капиталистических началах. «Рабочий фабриканта фортепиан есть производительный рабочий. Его труд возмещает не только заработную плату, которую он потребляет, но кроме того в фортепиано, в товаре, который продает фабрикант фортепиан, содержится прибавочная стоимость сверх стоимости заработной платы. Предположим, напротив, что я покупаю весь материал, необходимый для фортепиано (или пусть его имел бы хоть сам рабочий) и вместо того, чтобы купить фортепиано в магазине, поручаю сделать его в моем доме. Фортепианный рабочий окажется тогда непроизводительным рабочим, так как его труд непосредственно обменивается на мой доход («Теория прибавочной стоимости», стр. 169—170). Оказывается, что для Маркса один и тот же фортепианный рабочий оказывается производительным и непроизводительным, в зависимости от специфически определенной формы его труда, который менее всего охватывает все виды социально-необходимого труда. Точка зрения Маркса на производительный труд является классовой в самом историческом смысле этого слова, ибо если только тот труд производителен, который имеет форму наемного труда, нанимаемого капиталом для извлечения прибавочной стоимости, то классовый характер данной точки зрения непреодолимо вытекает из классовой организации данного общества, так как труд в данном случае признается производительным или непроизводительным не с точки зрения его содержания, а с точки зрения общественной формы его организации, которая и выступает, как форма эксплоатации наемного труда капитала. Квалификация же производительного труда, как всякого труда, направленного на удовлетворение производственной системы, совершенно не выделяет

классового момента, характеризующего производительный труд в капиталистическом обществе. Богданов, однако, это отрицает и пытается доказать, что именно из его понимания производительного труда следует непреложно его классовый характер. Надо заметить,—говорит Богданов,—что как раз классовую точку зрения некоторые считают возможным использовать для возражения против изложенного понимания производительного труда. Они указывают, что при этом наемные рабочие физического труда смешиваются в один производительный трудовой класс, вместе с интеллектуально-техническим и административным персоналом современных предприятий; а между тем действительные классовые тенденции здесь и там весьма различны, но легко показать, что аргументация эта основана на недоразумении. Принадлежность лиц и групп к составу того или другого класса далеко еще не определяется тем, занимаются ли они производительным трудом. Так, рантьеры представляют наиболее законченный класс капиталистов,—однако между ними можно найти людей, которые посвящают немало времени работам бесспорно производительным, иногда научным, иногда технически-изобретательным, и даже просто полезному физическому труду: мы знаем, например, как много сделали для техники автомобильного и авиаторского дела любители-спортсмены; это не мешает им оставаться представителями рантьерства, как Людовику XVI его слесарное мастерство не мешало оставаться представителем феодальной аристократии. С другой стороны и рабочий, который положил за время хороших заработков некоторую сумму в ссудо-сберегательную кассу и получает проценты, еще не перестает от этого принадлежать к пролетарскому классу. Экономические функции той или иной личности или группы могут быть очень сложными и в то же время очень часто имеют смешанный характер; но обыкновенно одна из этих функций настолько преобладает перед остальными, что подавляет их влиянием и вполне определяет собой классовый тип личности или группы. Это специально относится к различного рода наемным служащим, выполняющим технически организаторскую, счетоводную и т. д. работу. Высшие разряды этих служащих—директора, инженеры—находятся в особом экономическом положении: с одной стороны авторитарная роль, их значительная власть над другими служащими и рабочими производственно обособляют их среди трудящегося коллектива и уже сама по себе порождает особые классовые тенденции; с другой стороны, благодаря особенному значению индивидуальных специальностей и знаний для прибыльности предприятия оплата их труда не зависит всецело от его количества и сложностей и не подчиняется обычной норме эксплоатации, а бывает по большей части гораздо выше; это делает данную группу представительницей не только производительного труда, но и капиталистического дохода; последнее влияние и бывает в наше время почти всегда решающим для их классовой физиономии. Напротив, низшие слои интеллигентно-технического персонала и прочих служащих, не занимая авторитарной позиции в системе труда и не имея никакой доли в капиталистическом доходе, по мере своего развития, все очевиднее обнаруживают тяготение в сторону пролетарско-классового коллектива» («Курс политической экономии», стр. 15—16). Прежде всего необходимо сказать, что отсутствие классовой точки

зрения в понимании производительного труда у Богданова сказывается не в смешении рабочих физического труда в один производительно-трудовой класс вместе с интеллигентно-техническим и административно-техническим персоналом, ибо Маркс считал производительным любой труд, производящий прибавочную стоимость для капиталиста, независимо от источника тех потребностей, которым этот труд удовлетворяет. Классовый характер в понимании производительного труда у Маркса сказывается в перемещении центра тяжести от содержания труда к его форме,—так, Маркс берет критерием производительности труда общественную форму его организации, собственников средств производства к непосредственным производителям, словом, отношение борющихся классов. Для Богданова именно его определение производительного труда, как общественно-полезного, охватывая все виды социально необходимого труда, выделяя различную степень авторитарности в процессе труда различных агентов производства, составляет настоящую классовую точку зрения. Вышеприведенная большая цитата Богданова обнаруживает подавляющую путаницу, смешивая проблему производительного труда с авторитарной позицией в системе производства, занимаемой различного рода наемными служащими. Классовая точка зрения Маркса заключается не в том, чтобы различать градации авторитарности в системе труда по отношению к той или другой личности, а в том, чтобы выявить в данной социальной категории производство и структуру данного общества в ее историческом своеобразии. Классовый же характер в марксовом понимании производительного труда скрывается именно в его независимости от его полезности, конкретной полезности для данной экономической системы. Когда же Богданов берет для исторического определения производительного труда такой неисторический критерий, как полезность, то это находится не только в полном контакте с универсальной тектологической расплывчатостью, но в непримиримом противоречии с такой «ограниченной и частной схемой», какой, согласно Богданову, является диалектическое мировоззрение.

Опровержение „мифа“ или анархистская „иконография“?

(К вопросу о социальной природе бакунизма).

Г. Зайдель.

I.

Со времения опубликования «Исповеди» Бакунина прошло уже несколько лет, а споры, вызванные появлением на свет этого документа, не только не затихают, но разгораются с новой силой. До сих пор продолжается полемика между В. Полонским и Гроссманом на тему о том, был ли Бакунин прототипом Ставрогина в «Бесах» Достоевского. Спор чисто литературный и не могущий иметь, на наш взгляд, особого значения для определения социальной природы Бакунина, чем бы этот спор ни кончился; а совсем уже недавно вышла книжка А. Борового и Н. Отверженного, озаглавленная «Миф о Бакунине» [1]), в которой авторы пытаются доказать, что «мифология Бакунина..., возникшая еще при его жизни, неустанно растет до наших дней, грозя стереть живой исторический облик «романтика» Революции во всем его конкретном своеобразии и подменить его легендарным» (Предисловие). Авторы уверяют, что им «одинаково чужд облик идеолога анархизма, полемически искаженный его идейными противниками, как и слепая иконография некоторых его сторонников. Им дорог,—подчеркивают авторы «Мифа о Бакунине»,—подлинный, исторически существовавший Бакунин со всеми его ошибками, исканиями и достижениями...» (Там же).

В дальнейшем А. Боровой пытается доказать, что Гроссман исказил образ Бакунина, приравняв его к Ставрогину, а Н. Отверженный полемизирует, главным образом, с В. Полонским, автором монографии о Бакунине [2]), и приходит к выводу, что «Исповедь»—не покаянное произведение, а сознательный шаг со стороны автора Нечаевского «Катехизиса», «великого бунтаря», считавшего, что все средства хороши, когда дело идет о спасении революционера из рук тюремщиков. Мы не будем останавливаться на полемике Борового с Гроссманом, так как, повторяем, считаем, что спор этот имеет чисто литературное значение и почти бесплоден для разрешения вопроса о социальной природе Бакунина

---

[1]) А. Боровой и Н. Отверженный, Миф о Бакунине, кн-во «Голос Труда», Москва 1925 г.

[2]) «Бакунин». Монография Вячеслава Полонского, т. I, Гиз. 1922 г.

и о значимости «Исповеди». Нас интересует главным образом построение Н. Отверженного: ведь не случайно мнение его совпадает с мнением известного анархиста Неттлау, не случайно также и то обстоятельство, что ряд известных анархистов или близких к анархизму лиц пытаются доказывать, что Ленин — это «бакунизированный Маркс». Так пишет Г. Сандомирский в статье «Leninisme et Bakounisme» («Humanité» от 6 марта 1924 г.) [1]); одновременно с ним один из теоретиков революционного синдикализма, Эдуард Берт, в «Clarté» за 1924 г. заявляет почти о том же[2]). Все это, повторяем, не случайно: желание представить Бакунина «великим бунтарем», «романтиком» Революции (с большой буквы), смазать значение «Исповеди», накладывающей, так сказать, пятно на идеальный образ Бакунина, созданный анархической «иконографией», а, с другой стороны, взять реванш у марксизма, придав ленинизму бакунинские черты,—все это характеризует попытки эпигонов анархизма, начинающих сейчас шевелиться в связи с некоторым революционным затишьем на Западе.

Мы попытаемся в настоящей статье показать, что «Исповедь» Бакунина непосредственно вытекает из всей позиции Бакунина в эпоху 50—60-х г.г. (включая сюда и революцию 48 года), из его мировоззрения, или программ его действий и социальной базы, на которой покоилось его мировоззрение. Это сделать тем более необходимо, что никто из писавших об «Исповеди» по существу не анализировал позиции Бакунина в эту эпоху, в особенности во время революции. В большинстве случаев исследователи, писавшие о Бакунине и его «Исповеди», подходили к этому документу с психологической стороны, заменяя метод исследования социально-экономических корней бакунинского миросозерцания методом аналогий, психологических догадок и чисто рассудочных заключений. Мы считаем нелишним поэтому дать предварительно обзор мнений об «Исповеди», высказанных в разных повременных изданиях, в связи с ее опубликованием.

Вот что писал, напр., А. Ильинский в «Голосе Минувшего»[3]): «Нельзя говорить об оправдании Бакунина... Надо только помнить, что мы имеем дело с Бакуниным, который способен был в минутном увлечении, да и не в минутном только, но и под влиянием минуты, расхвалить первого попавшегося человека. Как он жестоко часто ошибался в людях и был в этом неисправим до конца! От увлечения юности, через увлечение Муравьевым и до Нечаева, это проходит красной нитью через всю его жизнь. И был он в этом вполне искренен». И далее, рисуя тяжелые условия заключения Бакунина в крепостях, любовь к России, «где он даже готов был целовать цепи», наконец, «влияние отца и матери»— А. Ильинский приходит к выводу, что Бакунин мог изменить «взгляд и на правителей», которые предстали «перед заключенным, считавшим себя за границей заживо погребенным, гуманнейшими людьми»... Мнение Ильинского, как мы видим, основано исключительно на психологическом материале о специфических чертах характера Бакунина: быстрое увлечение, сменявшееся та-

---

[1]) См. Ленинский Сборник, № 3, стр. 556, где дано краткое изложение статьи Сандомирского.

[2]) См. мою статью «Под знаменем эклектизма» в «Воинствующем Материалисте», № 2, где я даю критический обзор писаниям Берта о Ленине.

[3]) «Голос Минувшего», 1920—1921 г.г., ст. «Новые материалы о Бакунине».

кой же быстрой усталостью и разочарованием, любовь к России, влияние родителей—такое построение ни в какой мере не заключает в себе об'ективных оснований для каких-либо научных заключений. Исследователь может дополнять свою социально-экономическую характеристику психологическими подробностями, но такой важный шаг, как покаянная «Исповедь» такой выдающейся личности, как Бакунин,—может быть правильно истолкован только в связи со всей совокупностью исторических условий, общественных отношений, во время которых жил, действовал и мыслил Бакунин.

Такое же психологическое об'яснение дает В. Фигнер в своей статье «Исповедь М. А. Бакунина» [1]). «Сомнений нет,—пишет она,—Бакунин в «Исповеди» был искренен». Он вернулся к своему старому миросозерцанию, «когда он увлекался философией Гегеля, находил все существующее разумным и не только не возмущался «гнусной» российской действительностью эпохи Николая I, но находил ее прекрасной и был патриотом своего царя и отечества». И далее, ища причин этому возвращению Бакунина к воззрениям 30—40 г.г., В. Фигнер находит исключительно психологические основания... «Основатель позитивной философии, О. Конт перед смертью выполнил обряды, требуемые католической церковью... В смертной тишине и неподвижности одиночной камеры, Бакунин, человек исключительно сильных эмоций, главной психической пружиной которого был порыв и непреодолимая жажда движения и деятельной жизни, испытывал своего рода предсмертные муки... В его психологии обнаруживался атавизм, возврат к Бакунину 30—40 г.г.».

Им вторит А. Корнилов [2]), который, исходя из тех же психологических оснований—из специфических черт Бакунинского характера, пишет: «Исповедь» Бакунина была далеко не единственная его исповедь. Его история начинается с исповеди и покаяния. Исповедь и покаяние отцу, исповедь и покаяние друзьям и сестрам, исповедь перед Анненковым и исповедь перед Николаем I... И засмеялся бы Бакунин, если бы услыхал, что по поводу «Исповеди» его упрекают, будто бы он перед Николаем стоял на коленях»!.. Скользкий путь психологических об'яснений дает возможность кадетскому историку посмеяться над революционерами, которые, исходя из понятия революционной чести, увидели в «Исповеди» Бакунина падение. То, что для революционера кажется падением, — кадетским историком квалифицируется как чуть ли не доказательство верноподданничества Бакунина, извечно присущего его характеру.

Но и марксисты-исследователи Бакунина не на много дальше ушли в своем об'яснении причин появления «Исповеди». Ю. Стеклов пытается, правда, указать, что Бакунин, очутившись в русской крепости, «разочаровался в избранных средствах борьбы под влиянием полного разгрома революции в Европе и отсутствия революционного движения в России» [3]). Но когда наш исследователь хочет ответить на вопрос о причинах «раскаяния» Баку-

[1]) „Задруга", декабрь 1921 г., № 1.

[2]) «Вестник Литературы», 1921 г., № 12, ст. А. Корнилова, Еще о Бакунине и его исповеди Николаю.

[3]) Ю. Стеклов, Михаил Александрович Бакунин, его жизнь и деятельность, ч. I, М. 1920 г.

ния,—он дает два возможных ответа: один в духе Н. Отверженного и Неттлау: Бакунин, «вообще не очень-то разборчивый в средствах..., по отношению к врагам считал допустимым совсем не церемониться. И вот он решил обмануть царя и жандармов, чтобы приблизиться к желанной воле». Второй ответ, по мнению т. Стеклова, более вероятный, заключается в том, что Бакунин, разочаровавшись в революции, «просто рвался на волю, хотя бы к ограниченной свободе. Ему хотелось просто пожить спокойной обывательской жизнью. Может быть, он надеялся, что со временем ему разрешено будет возвращение... в милое Премухино, где он будет снова жить среди родной семьи, в уютном помещичьем доме, в халате, с чубуком в руках, читать газеты, просвещать и наставлять соседей и заезжих приятелей, вспоминая с ними минувшие дни и споря целые ночи напролет о судьбах человечества, философии и пр.» [1]).

Об'яснения, как видим, также психологические, хотя и связанные с общественно-историческим фактом большого значения (поражение революции 48 года), но на первый план выдвигаются или «неразборчивость в средствах» Бакунина—«нечаевщина», или желание пожить «обывательской жизнью». Неудивительно, что т. Стеклов в конце концов заявляет, что вопрос остается неразрешенным и что Бакунин «тайну унес с собой в могилу».

Другой исследователь-марксист, В. Полонский, считает, что «Исповедь» Бакунина—«это возврат к тому самому гегельянскому преклонению перед разумной действительностью, с которого началось знакомство Бакунина с Гегелем» [2]),—мнение, которое высказывала уже В. Фигнер. Считая, что «Исповедь» Бакунина является «падением», В. Полонский, резюмируя причины этого «падения», пишет: «Гонимый романтической тревогой, в поисках своего высокого назначения, он бросался от Канта к Фихте, от Фихте к Гегелю, от Гегеля—к Лоренцу Штейну. И нет ничего удивительного в том, что, бросив и Канта, и Фихте, и Гегеля, не запасшись основательным багажем, он пустился в открытое море. Но море—стихия серьезная. Оно не любит шутить, и корабли, отправляясь в дальнее плавание, забирают с собою всегда основательный груз. Такого груза у Бакунина не оказалось. Легкое суденышко сделалось добычей волн, и, бросаемое из стороны в сторону, игрушка непогоды,—оно оказалось выброшенным на берег» [3]). Это картинное об'яснение причин «падения» Бакунина заключает в себе чисто психологические основания: романтическая тревога, присущая Бакунину, делала его нестойким человеком. Поэтому Полонский посвящает личным качествам характера Бакунина много страниц, называя его «поэтом революции», «человеком гиперболы», «не знавшим действительности», не ведавшим «середины» и выбиравшим «самую крайнюю крайность» [4]). Отсюда—и увлечения Бакунина, его «взлеты» и «падения». К этому нужно прибавить, что В. Полонский как бы разрывает Бакунина на две части: на Бакунина до анархического периода и Бакунина-анархиста. Бакунин смывал своим «необузданным, анархическим периодом»

[1]) Ю. Стеклов, указ. соч., стр. 349.
[2]) Полонский, указ. соч., стр. 277.
[3]) Там же, стр. 277—278.
[4]) Там же, стр. 270.

«коленопреклонение перед Николаем, припадание к его стопам» и пр., и пр. Эта разорванность Бакунина еще более усугубляет **психологический** подход В. Полонского к своему «герою». Вместо исследования социально-экономических корней деятельности и мировоззрения Бакунина получается красиво написанное повествование, именно, о «герое», который низко «падал», но не менее высоко «взлетал» и своими «взлетами» искупал минуты «падения». Марксистский метод явно изменяет В. Полонскому, увлекающемуся психологическими «безднами».

II.

Мы дали сводку важнейших суждений об «Исповеди» Бакунина, чтобы показать, что даже марксистские работы по исследованию этого интереснейшего этапа в жизни и деятельности «отца анархии» не могут почитаться убедительными. Это обстоятельство дает возможность Н. Отверженному в указанной книжке «Миф о Бакунине» обрушиться на В. Полонского со справедливыми упреками. Во-первых, в том, что Полонский судит о Бакунине с точки зрения собственного... настроения. И упрек этот в самом деле не безоснователен. Так, приведя гипотезу коммунара и соратника Бакунина, Н. П. Сажина, который первый высказал точку зрения, что «Исповедь»—это ловкое притворство со стороны Бакунина, не брезговавшего никакими средствами для получения свободы,—В. Полонский, не пытаясь ее опровергнуть, заявляет, что она его «не удовлетворяет». Доказательство действительно мало убедительное.

Второй упрек Н. Отверженного заключается в том, что тов. Полонский судит о возвращении «консервативных настроений» к Бакунину по его «Исповеди», искренность которой сама нуждается в доказательстве. «Возврат к душевному консерватизму, особое чувство к Николаю,—пишет Н. Отверженный [1],—он (Полонский) находит у Бакунина в 1851 году, исходя из «Исповеди». Только одна лишь «Исповедь» дает право утверждать это, других доказательств для этого, я нарочно подчеркиваю это место, у Полонского нет. Но ведь «Исповедь» является спорной проблемой. И доказывать консерватизм Бакунина цитатами из «Исповеди» не значит ли впадать в тот «порочный круг», от которого обычно предостерегает нас логика»? Надо признаться, что и этот упрек не безоснователен. В самом деле, прежде, чем обосновывать свои суждения на отрывках из «Исповеди», надо доказать, что мысли Бакунина, высказанные им в этом документе, соответствовали тому, что Бакунин думал, когда ее писал, иначе каждое слово может быть подвергнуто сомнению. Н. Отверженный, на наш взгляд, имеет полное право отвергнуть заключения В. Полонского и строить свою гипотезу. Конечно, доказательства Н. Отверженного гораздо хуже, чем весь ход рассуждений В. Полонского: при всех недостатках исследования Полонского, его монография все же представляет собою научную ценность по обилию материала, в ней рассмотренного, и целому ряду интересных построений автора. Неудача доказательств Н. Отверженного станет ясна,

[1] А. Боровой и Н. **Отверженный**, Миф о Бакунине, стр. 12.

когда мы исследуем значимость «Исповеди», ее подлинное место в деятельности Бакунина.

Но прежде всего займемся вопросом: при каких условиях можно ссылаться на места из «Исповеди». Нам думается, что если удастся доказать, что важнейшие места из «Исповеди» совпадают с тем, что писал Бакунин в эпоху 50—60 г.г. (включая и революцию 48 года), можно будет цитировать и этот документ,— он перестанет быть спорным.

Можно выделить три важных момента в «Исповеди» Бакунина: 1) изложение им плана его «беспримерной» революции; 2) разочарование в Западной Европе и демократии; 3) ориентация на славянское (крестьянское) царство во главе с русским царем. Эти моменты в изложении, данном в «Исповеди», являются наиболее важными и наиболее спорными. Сравнением с цитатами из писаний Бакунина при других обстоятельствах в ту же эпоху мы покажем, что в общем и целом Бакунин в «Исповеди» писал не под влиянием случайного настроения, а то, что он глубоко переживал и чувствовал.

Уже в своем первом революционном выступлении, речи на польском банкете 17—29 ноября 1847 года, Бакунин указывал на главную силу грядущей революции: «...Это—страшные массы крестьян, которые не ждут от императора своего освобождения и бунты которых с каждым днем умножаются, показывают, что они устали ждать» [1]). В «Воззвании к славянам» Бакунин писал: «Крестьянский бунт в Галиции—это ничто, но его огонь разгорается все больше на подземном огне и уже вырастает подземный кратер между крестьянскими массами чудовищной русской державы. Это демократическая Россия, пламя которой пожрет державу и осветит всю Европу кровавым заревом» [2])... Указывая далее, что «мир разделен на два стана: здесь революция, там—контр-революция», Бакунин зовет славян перестать помогать реакции и «отдаться революции всецело и безудержно». Замечательно, что в этом документе явно видно уже разочарование Европой и демократическими деятелями революции. Бакунин говорит там о «старчески дряхлой Европе» и видит в крестьянском бунте зачатки той анархии, верным рыцарем которой Бакунин окончательно стал позднее. «Разве не стала анархия,—восклицает он,—постоянной и всякая попытка обуздать ее еще более анархической, чем постоянная анархия. Оглянитесь вокруг, революция везде. Она одна царит, она одна сильна. Новый дух со всей своей разрушающей, разлагающей силой вторгнулся бесповоротно в человечество и проникает в общество до самых глубоких и темных слоев. И революция не успокоится, пока не разрушит окончательно одряхлевшего мира и не создаст снова нового, прекрасного. Поэтому в ней и только в ней вся наша сила, мощь и верность победы. Только в ней жизнь, вне ее смерть» [3]). В одном из писем к Гервегу, еще до написания «Воззвания», Бакунин говорит об анархической крестьянской войне, которая исправит банкротство буржуазии и спасет Гер-

---

[1]) М. Бакунин. Избр. соч., т. III, изд-во «Голос Труда», стр. 44.
[2]) Там же, стр. 59.
[3]) Там же, стр. 59—60.

манию». «Дурные страсти вызовут крестьянскую войну и это меня радует, так как я анархии не боюсь и желаю ее от всей души» [1]).

Отметим мимоходом, что анархическая фразеология в этих писаниях Бакунина эпохи 48 года категорически подтверждает неразрывность Бакунина этого времени с Бакуниным-анархистом: разрывать его на две половины, как это делает В. Полонский, значит просто вступить в противоречие с действительностью.

Теперь посмотрим, как изображает свои революционные замыслы Бакунин в «Исповеди». «Я желал в Богемии,—пишет он,— революции решительной, радикальной, одним словом, такой, которая, если бы она и была побеждена впоследствии, однако успела бы все так переворотить вверх дном, что австрийское правительство после победы не нашло бы ни одной вещи на старом месте... Такая революция, уж не ограничивающаяся одной национальностью, увлекла бы своим примером, своею червленно-огненною пропагандою не только Моравию и Австрийскую Шлезию, но также и Прусскую Шлезию и вообще все пограничные немецкие земли, так что и германская революция, бывшая до тех пор революцией городов, мещан, фабричных работников, литераторов и адвокатов, сама бы превратилась в общенародную». Бакунин в «Исповеди» называет замышляемую им революцию «беспримерной» и «ужасной». Он много раз подчеркивает, что он надеялся «более на богемских, чешских, равно как и немецких крестьян, чем на Прагу, чем на городских жителей вообще...» [2]).

Даже поверхностное чтение «Исповеди» и сравнение только указанных мест с писаниями Бакунина до заключения его в Петропавловскую крепость свидетельствуют о том, что Бакунин в «Исповеди» повторял часто в тех же выражениях одни и те же мысли об «анархической крестьянской войне».

Такой же результат мы получим, если проанализируем по писаниям Бакунина во время революции его отношение к Европе и европейской демократии. «Официальная реакция и официальная революция,—писал Бакунин в уже цитированном письме к Гервегу,—соперничают в ничтожестве и глупости, и при том все пустые философско-религиозно-политически-поэтически-добродушно-тяжеловесные фразы, которые так долго бродили в немецких головах, теперь выходят на свет божий. По правде сказать, мы с тобой часто говорили и повторяли, что пришел конец буржуазии и старой цивилизации, и мы верили тому, что мы говорили, но никогда мы не думали, что мы в такой форме и настолько правы». Вспомним места из «Воззвания к славянам», где Бакунин говорит о «старчески дряхлой Европе», и для нас станет ясно, что письмо это к Гервегу выражает не случайное настроение Бакунина. Но Бакунин далее в том же письме говорит еще более определенно об европейских порядках: «Эпоха парламентской жизни, ассамблей, учредилок, национальных собраний и т. п. уже прошла. Я не верю в конституцию и в законы; самая лучшая конституция меня не в состоянии была бы удовлетворить». В другом письме от 8 декабря 1848 года Бакунин пишет: «Если под этой официальной немецкой нацией не имелось

[1]) Цитировано по Ю. Стеклову, стр. 231.

[2]) «Исповедь», стр. 196, 198. (Материалы к биографии Бакунина под редакцией В. Полонского, изд. 1923 г.).

бы городских пролетариев, а особенно многочисленной крестьянской массы, то мне пришлось бы сказать: нет больше немецкой партии»...

Заметим кстати, что Бакунин и в «Исповеди» относится к пролетариям весьма тепло, называет их «благородными увриерами», но нигде, ни в «Исповеди», ни в других своих произведениях этой эпохи, Бакунин не выдвигает пролетариев на первый план: главное для него крестьянство, пролетариев он рассматривает, как хорошую боевую силу—и только. Сравним, однако, указанные отзывы о Европе и демократии, сделанные в письмах к Гервегу и в «Воззвании к славянам», с «Исповедью»—и мы увидим поразительные совпадения. «В Западной Европе куда ни обернешься,— пишет Бакунин в «Исповеди»,—везде видишь дряхлость, слабость, безверье и разврат, разврат, происходящий от безверья; начиная с самого верху общественной лестницы, ни один человек, ни один привилегированный класс не имеет веры в свое призвание и право... посреди всеобщего гниения, один только грубый непросвещенный народ, называемый чернью, сохранил в себе свежесть и силу» [1]). Далее, отвечая на поставленный им же самим вопрос, какой формы правления он желал для России, Бакунин пишет: «Я желал республики. Но какой республики? Не парламентской. Представительное правление, конституционные формы, парламентская аристократия и т. н. экилибр властей, в котором все действующие силы так хитро расположены, что ни одна действовать не может, весь этот узкий, хитросплетенный и бесхарактерный политический катехизис западных либералов никогда не был предметом ни моего обожания, ни моего сердечного участия, ни даже моего уважения» [2])... Совпадение мысли в «Исповеди» и в прежних писаниях Бакунина по поводу Европы и демократии—не может вызывать никаких сомнений...

Наконец, третий и наиболее оспариваемый пункт: ориентировка Бакунина на русского царя, как вождя революционного славянства, крестьянства тож. Одно заподазривание Бакунина в этой мысли приводит любителей анархической «иконографии», в том числе Н. Отверженного, какой бы мнимой об'ективностью он ни прикрывался, в негодование. Между тем, если одно место из воспоминаний Руге, который писал, что Бакунин во время встречи с ним в эпоху революции бредил каким-то «революционным цезаризмом»,—и не может считаться надежным источником, то внимательное чтение ряда черновых набросков, собранных в «Материалах для биографии Бакунина» В. Полонским, свидетельствует о правильности нашего предположения. Вот отрывок под № 2, который мы приводим полностью, хотя он не закончен и обрывается как бы на полуфразе: «Для того, чтобы быть в состоянии сказать поднявшимся и стремящимся к свободе народам Европы: Видите вы, подвластные народы, в то время, как вы, одурманенные ядом новых принципов, раздираемые партийной враждой, охваченные анархией, больные, тяжелоизраненные, бессильно повержены в прах, стою я прямо, самодержец шестидесяти миллионов, сильный любовью и преклонением моих об'единенных дисциплиной народов, безусловная покорность которых

[1]) «Исповедь», стр. 111.
[2]) «Исповедь», стр. 173.

окружает меня как бы железным панцырем. Бойтесь моего гнева и покоритесь моей воле, потому что я велик и могущественен и у порога моего государства умрет революция». Таково является мощь русского императора при обратных условиях и чести русского народа» [1]).

О чем свидетельствует этот отрывок? Прежде всего о том, что Бакунин (отрывки эти писались в эпоху «Воззвания к славянам») чрезвычайно загипнотизирован «мощью русского императора», что эти мысли не дают ему покоя и заставляют его набрасывать строки, которые отнюдь не свидетельствуют о презрении к Николаю I. В дальнейших набросках Бакунин несколько раз возвращается к этой мысли, как бы гонит ее прочь, но вновь и вновь о ней думает. И вдруг в следующем отрывке (в «Материалах», под № 4) мы находим такие строчки: «Самые разнообразные и противоречивые слухи ходят касательно... приготовлений и намерений русского императора. Некоторые говорят, будто он хочет освободить Царство Польское и стать во главе славянского освободительного движения» [2])...Правда, Бакунин далее заявляет, что он в этот слух не верит и, как бы доказывая недостоверность этого слуха самому себе, описывает жестокости и террор в русской Польше. Но уже в отрывке № 7 Бакунин опять возвращается к этой предательской мысли. «После бомбардировки Праги император Николай оказался в самом блестящем положении: кровавые события в Польше и Кракове, бомбардировка Праги, несправедливые постановления Франкфуртского парламента вызвали во всем славянстве взрыв негодования. Негодование против немцев в славянских землях и во всей Польше и особенно в Позене, где настроение до сих пор таково, что достаточно было бы малейшего движения императора, чтобы все немцы и евреи были перебиты... И все это император мог использовать, одно его слово, один жест его руки—и все собрались бы под его знамена» [3]).

Сравним теперь это красочное место с соответствующим местом из «Исповеди», и мы увидим, что та же мысль в более решительной форме, но почти в тех же выражениях, передана Бакуниным. Рассказав о разочаровании, которое начало охватывать славян после провала Пражского конгресса, особенно о настроениях поляков, Бакунин пишет: «*Я никогда не мог сомневаться в их искренности* (поляков. *Г. З.*), да и теперь еще убежден, что если бы, вы, государь, захотели тогда поднять славянское знамя, то они без условий, без переговоров, но слепо передавая себя вашей воле, они и все, что только говорит по-славянски в австрийских и русских владениях, с радостью, фанатизмом бросились под широкие крылья российского орла и устремились бы с яростью не только против немцев, но и на всю Западную Европу» [4]). Мысль Бакунина в «Исповеди» выступает только в более обнаженной форме: она раньше предательски стучалась, Бакунин гнал ее, она вновь и вновь возвращалась в сознание, но в лапах «медведя» Бакунин высказал ее категорически и реши-

[1]) «Материалы для биографии Бакунина», под ред. В. Полонского, изд. 1923 г., стр. 8.
[2]) «Материалы», стр. 10.
[3]) Там же, стр. 20.
[4]) «Исповедь», стр. 173.

только. Однако он ее высказывал и тогда, когда он был уже на свободе и вновь затевал революционные планы.

Известно увлечение Бакунина Муравьевым и в Сибири, которого он чуть ли не прочил в революционные диктаторы. В письме к Герцену от 7 ноября 1860 года Бакунин пишет, что Муравьев хочет «безусловного и полного освобождения крестьян с землей» и других демократических реформ, а главное он хочет «не конституции и не болтливого дворянского парламента, а временной железной диктатуры под каким бы то ни было именем» [1]). Н. Отверженный считает, что это «доказательство задним числом», что Бакунин часто ошибался в людях и что он ошибся и в Муравьеве. Но, во-первых, мы уже показали, что в тех же почти выражениях писал о революционной диктатуре царя Бакунин и до «Исповеди». А во-вторых,.... допустим, что Н. Отверженный прав, что мечта о «железной диктатуре» в лице Муравьева,—плод доверчивости и увлечения Бакунина. Мы имеем, однако, еще документы, свидетельствующие все о том же «увлечении», правда, уже диктатурой не Муравьева, а, опять-таки, русского царя.

Немедленно по приезде в Лондон, после сибирской ссылки, Бакунин уже в феврале 1862 года пишет брошюру: «К русским, польским и всем славянским друзьям», где, рекомендуя России подать руку Польше, он заявляет: «Говорят даже, что сам император Николай перед смертью, готовясь об'явить войну Австрии, хотел позвать всех австрийских и турецких славян, мажар, итальянцев к общему восстанию. Он вызвал сам против себя восточную бурю, и, чтобы защититься от нее, из императора-деспота хотел превратиться в императора-революционера. Говорят, что воззвания к славянам были уже подписаны и между ними воззвание к Польше» [2]).

Уже на воле, бросившись, по выражению Герцена, «во все тяжкие» славянских дел, Бакунин, как видим, все также «увлекается», выражаясь деликатными словами Н. Отверженного, революционной диктатурой русского царя. Что это «влечение—род недуга»—было длительным у Бакунина, еще раз подтверждается его статьей, написанной в том же 1862 году, под названием «Романов, Пугачев или Пестель». Критикуя авторов «Молодой России», которые звали «в топоры», к кровавой революции и расправе с царской династией и дворянством, Бакунин заявляет, что он охотнее пошел бы за Романовым, если бы Романов мог и хотел превратиться из Петербургского императора в царя земского... Мы потому,—продолжает он,—охотно стали бы под его знаменем, что сам народ русский еще его признает, и что сила его создана, готова на дело, и могла бы сделаться непобедимой силой, если бы он дал ей только крещение народное. Мы еще потому бы пошли за ним, что он один мог бы совершить и закончить великую мирную революцию, не пролив ни одной капли русской или славянской крови» [3]).

[1]) Письма Бакунина к Герцену и Огареву, изд. Драгоманова, Женева.

[2]) «К русским, польским и всем славянским друзьям», Женева, 1888 г. стр. 18.

[3]) Бакунин, Избранные сочинения, т. III, кн-во «Голос Труда», стр. 89—90.

Сомнений не может быть. Самое оспариваемое место в «Исповеди», признание революционной диктатуры русского царя Бакуниным, не является чем-то случайным, мимолетным увлечением, притворством человека, попавшего в лапы «медведя» и стремлением любой ценой вырваться на свободу. Это—плод длительного убеждения Бакунина, характеризующего целую историческую полосу в жизни и деятельности Бакунина. А если это так,—то мы имеем право совершенно категорически утверждать, что в общем и целом «Исповедь» является документом исторически адэкватным настроению и убеждению Бакунина в указанную эпоху, и важнейшие моменты в «покаянии» Бакунина: 1) развитые им планы революционных действий, 2) разочарование Западной Европой и демократией, 3) ориентация на русского царя, как революционного крестьянского (славянского—это одно и то же) диктатора—все эти моменты не могут быть подвергнуты сомнению, и должны приниматься об'ективным исследователем всерьез для понимания всей позиции Бакунина и его миросозерцания.

III.

Тот, кому действительно «дорог подлинный, исторически существовавший Бакунин со всеми его ошибками, исканиями и достижениями», как заявляют авторы «Мифа о Бакунине», кто не хочет заниматься «слепой иконографией некоторых его сторонников», должны категорически отвергнуть «гипотезы» Боровых, Отверженных, Неттлау, всех этих подлинных «мифотворцов» о Бакунине, какими бы громкими фразами последние ни прикрывались. «Многокрасочный его (Бакунина) путь,—пишут далее те же авторы,—подчас противоречивый, идущий мимо бездн к высотам (курсив наш. *Г. З.*) творческого самоутверждения, представляется авторам более ценным, чем прямой и безошибочный—безжизненного догматизма» [1].

Анархические любители «бездн» и «высот» и противники безжизненного догматизма сами превращаются в застывших догматиков, не желающих и подумать, каким же образом с Бакуниным приключились эти «падения» в «бездны» и затем «взлеты» на «высоты»,—каков социальный смысл этого не «прямого» и не «безошибочного» пути «отца анархии». К слову сказать, мы, грешные люди, отдавая дань исторического уважения революционной мощи бакунинского характера, мы склонны совершенно отрицать «падения» и «взлеты» Бакунина, мы видим в его деятельности единый, закономерный процесс.

Нравственные возмущения и нравоучительные ламентации никак не могут помочь исследователю разобраться в социальной значимости того или иного явления. Поэтому мы постараемся об'ективно проанализировать программу деятельности Бакунина в эпоху конца 40-х—начала 60-х г.г. и только на основании анализа этой программы будем строить свои заключения. Благо материал у нас достаточный: ведь, самое важное в «Исповеди»—изложение программы его деятельности—не подлежит теперь никакому сомнению. Сопоставив ее с другими программами этой эпохи,

[1] А. Боровой и Н. Отверженный, Миф о Бакунине, Предисловие.

изложенными при других обстоятельствах Бакуниным,—мы убедимся, что «революционный цезаризм» Бакунина закономерно вытекает из развитой им программы и тактики.

Первая программа, написанная Бакуниным в эпоху Пражского конгресса, развита им в статьях: «Основы новой славянской политики», «Основы славянской федерации», «Внутреннее устройство славян» [1]). Программа говорит об об'единении всех славян в единую славянскую федерацию с сильным центральным правительством, которую Бакунин называл Славянским Советом (Rada Slowenska). Этот Совет единственно обладает дипломатическими функциями и имеет право об'являть войну. В качестве основы устройства славянских народов выдвигаются следующие принципы: равенство всех и братская любовь. Под небом свободного славянства нет никого не свободного, ни по праву, ни на деле. Подданство (крепостная зависимость), под каким бы видом оно ни показывалось, навсегда отменяется. Отменяются всякие сословия. Аристократия, дворянство могут искать себе «преимуществ и привилегий в богатстве своей любви и величии своей жертвы». Ученые и художники должны «распуститься» в массе народа, чтобы черпать из нее новую жизнь и чтобы нести ее взаимно к просвещению, приобретенному временем».

Если расшифровать эту программу, то мы получим: 1) уничтожение крепостной зависимости и сословий; 2) конфискацию феодального землевладения («величие жертвы», о которой говорит Бакунин); 3) крестьянскую демократию («ученые и художники» должны «распуститься в массе народа»), возглавленную сильным централизованным правительством.

Мы уже отмечали, что Бакунин в «Воззвании к славянам» ориентировался в борьбе в первую голову на крестьянство, на анархическую крестьянскую войну. Что Бакунин мечтал не о парламентском устройстве, видно из писем его к Гервегу, нами уже приведенных. Изложение же программы задуманной Бакуниным «беспримерной» революции в его «Исповеди» только уточняет расшифрованную выше программу. Думая начать свою революцию в Богемии, Бакунин рассчитывал на следующее: феодализм до 1848 года существовал в Богемии «во всей своей полноте, со всеми его тягостями и притеснениями»; аристократия, дворянство в Богемии состояли из немцев, которых крестьянство ненавидело вдвойне; рекрутские наборы возбудили в богемском народе всеобщий ропот, и, наконец, среди крестьянства класс неимущих крестьян и даже «бездомных» людей был еще многочисленное и положение его тягостнее, чем в самой Германии» [2]).

Мы можем теперь уточнить социальную базу, на основе которой Бакунин собирался начать революцию: крестьянство, главной боевой силой которого являются неимущие люмпены. Такова социальная база. А вот программа: изгнание всех дворян, всего враждебного духовенства, конфискация всех господских имений, которые Бакунин собирался частью разделить между неимущими крестьянами, частью же превратить в «источник чрезвычайных революционных доходов». Кроме того, разрушение всех замков, предание огню всех административных правительственных

[1]) Бакунин, Избр. соч., т. III, стр. 64—69.
[2]) «Исповедь», стр. 196.

бумаг и документов и «об'явление всех ипотек, а также всех долгов, не превышающих известную сумму, напр., 1.000 или 2.000, заплаченными» [1].

Из показаний Бакунина на Пражском военном суде мы можем убедиться, что план этот придуман им не в Петропавловской крепости, а в период революции. Отрицая приписываемое ему обвинение «вводить социалистическую систему», Бакунин признавал, что говорил «о применении социалистических мероприятий для организации движения; чтобы успешно организовать подобное движение, необходимы таковые предприятия, поскольку для этого будет на-лицо практическая возможность их применения». К числу таких «социалистических мер» Бакунин, с которым, однако, не согласились лица, с коими он вел переговоры, считал: «уничтожение закладных на земельную собственность, что составляет весьма практическое средство благодаря тому, что оно облегчает положение землевладельцев, главным образом крестьян и улучшает их материальное благосостояние» [2]).

План, изложенный в «Исповеди», даже в деталях, как мы видим, подтверждается цитированными документами. План этот, конечно, отнюдь не социалистический: это крайняя буржуазно-демократическая программа, проведенная, главным образом, в интересах крестьянства, но не нарушающая основ капитализма. В сибирский период деятельности Бакунин продолжает исповедывать эту программу «народной», крестьянской революции, когда пишет о Муравьеве, что он не хочет конституции и «болтливого парламента», а «безусловного и полного освобождения крестьян с землей». Та же программа развивается Бакуниным уже в цитированных нами статьях 1862 года. Прибавилась только общинная фразеология, характерная вообще для всех программ тогдашней эпохи (60-х годов).

Народу, по словам Бакунина, нужна «не часть земли, но вся русская земля, как принадлежность и неот'емлемая собственность всего русского народа, с выкупом или без выкупа все равно». Если дворянство добровольно отдаст землю, оно получит выкуп, если нет, «дворянство будет разорено, бог с ним» [3]). Полякам он советует провозгласить «хлопскую Польшу» и восклицает: «Да здравствует крестьянская Россия»! [4]) («Русским, польским и всем славянским друзьям»). В другой статье, почти в тех же выражениях, повторяются эти требования, прибавляется только требование созыва «Земского Всенародного Собора», который, по словам Бакунина, ни в коем случае не будет враждебен царю. «Ведь посылать на него своих выборных будет народ, до сих пор еще безгранично в царя верующий, всего от него ожидающий» [5]), т.-е. крестьянство.

Мы видим, что программа революции, которую замышлял Бакунин в эпоху 1848—1864 г.г., является крестьянской. На протяжении всей эпохи она одна и та же с разными незначительными вариациями. Но из этой программы с железной необходимостью вытекает вопрос о том, кто может возглавить

[1]) Там же, стр. 197.
[2]) «Материалы», стр. 67.
[3]) «Русским, польским и всем славянским друзьям», стр. 17.
[4]) Там же, стр. 16, 26.
[5]) Бакунин. Избр. соч., т. III, стр. 88.

такую революцию, кто в состоянии повести крестьянство, совершить переворот и успешно его закончить. Когда Энгельс в 1848 г. говорил о крестьянской войне, он имел ее в виду, как вспомогательную силу, которая заставит трусливую буржуазную демократию, по крайней мере, в лице ее наиболее левого крыла, мелко-буржуазных радикалов, вступить в союз с рабочими и расправиться с феодальным хламом. Когда Ленин говорил «о народной революции» в эпоху 1905—1917 г.г., он возглавлял крестьянскую стихию пролетариатом, который должен был быть гегемоном, руководителем революции. Маркс и Энгельс в 1848 г., Ленин в 1905—1917 г.г. видели в крестьянской революции не столько цель, сколько средство для расправы с феодализмом; главный упор, главная цель у них была—интересы пролетариата. Для Бакунина, наоборот: крестьянская революция является целью («да здравствует крестьянская Россия!»). Где же та сила, которая эту крестьянскую революцию возглавит?

Если просмотреть внимательно работы Бакунина в эту эпоху, в том числе и «Исповедь», то мы увидим, что вначале Бакунин рассчитывает на интеллигенцию. На суде выясняется, что главными эмиссарами Бакунина, которые подготовляли там революцию, были интеллигенты: Густав и Адольф Страка, Арнольд, Дестэр, Гельзамер и др., которые по мысли Бакунина должны были организовать тайный комитет в Праге, повстанческие «тройки» и «пятерки» и агитировать среди всех классов населения, чтобы привлечь симпатии особенно угнетенных классов на сторону своих планов. Через братьев Страка Бакунин думал связаться с обществом «Славянская Липа», которое имело большое влияние на крестьянство. В Праге, во время второго его приезда, Бакунин имел свидание с некоторыми интеллигентами-революционерами, развивал перед ними свои планы и убеждал их готовить восстание[1]).

То же самое передает Бакунин в своей «Исповеди», детальнее излагая только свои планы. Мы узнаем, что он замышлял организацию параллельно существующих трех тайных обществ: «одно общество для мещан, другое для молодежи, третье для сел». Во главе богемского общества он предполагал поставить Центральный Комитет, в который должны были входить Бакунин, Арнольд и еще три лица. Он прочил себя также в тайные руководители немецкого Центрального Комитета, «так что, если бы проект мой,—пишет он,—пришел к исполнению, все главные нити движения сосредоточились бы в моих руках, и я бы мог быть уверен, что замышляемая революция в Богемии не сорвется с пути, ей мною назначенного». Он думал также, что «тайное общество, которое не должно было расходиться после революции, но, напротив, усилиться, распространиться, пополняя себя все новыми живыми и действительно сильными элементами, обхватывая постепенно все славянские земли... даст также и людей различных назначений и мест в революционерной иерархии» [2]), т.-е. в будущем правительстве.

---

[1]) См. Показания Бакунина в «Материалах» стр. 68—69.
[2]) «Исповедь», стр. 208—209.

Таким образом Бакунин пытался возглавить революцию мелко-буржуазной интеллигенцией. На суде, отвечая на вопрос, почему он искал сношений с «молодежью», Бакунин заявлял, что «она в большинстве состояла в «Славянской Липе», отчасти же от того, что молодежь более восприимчива и энергична» [1]). Из тех же показаний Бакунина мы узнаем, что он вскоре разочаровался в этой «молодежи». Передавая о впечатлении, которое произвело на него совещание в Праге, Бакунин говорит, что он заметил, «что эти люди были склонны очень много говорить и хвастать, но не годились для практических действий, держали себя нерешительно, боязливо и озабоченно; ему об'явили, что народ в Богемии в настоящую минуту еще недостаточно подготовлен для подобных выступлений» [2])... На всем протяжении своих показаний Бакунин несколько раз подчеркивает обнаруженную им дряблость и неспособность к действиям подбираемой им радикальной интеллигенции.

В «Исповеди» Бакунин отмечает, что он убедился в нерешительности и неспособности «демократов» и «революционерных предводителей». И именно, это обстоятельство; констатирование, что сила, предназначенная им для возглавления революции—«молодежь», интеллигенция—что эта сила оказалась мыльным пузырем, оказалась негодной для восстания,—выдвигает перед Бакуниным вопрос о личной диктатуре.

После констатированных нами совпадений главнейших моментов показаний на суде и его сообщений в «Исповеди», не может быть для нас сомнения в полной искренности следующего признания Бакунина о своем предполагаемом диктаторстве: «Не самолюбье, и не честолюбье, но убежденье, основанное на годовом опыте, убежденье, что никто между знакомыми мне демократами не будет в состоянии так обнять все условия революции, и принять тех решительных и энергических мер, которые я считал необходимыми для ее торжества, заставили меня, наконец, откинуть мою прежнюю скромность».

Вопрос о личной диктатуре в задуманной Бакуниным крестьянской революции закономерно вытекает из программы и тактики Бакунина: рассматривая крестьянскую революцию, как цель, не видя гегемона для нее ни в буржуазии, ни в пролетариате, ища суррогата этого гегемона в лице мелко-буржуазной интеллигенции, Бакунин, когда суррогат оказался негодным, не мог не подумать о личной диктатуре, сначала о собственной, как бы незримой, сосредоточивающей все нити в одних руках. А потом—отсюда всего один шаг—и о диктатуре русского царя, который мощен и грозен, которому стоит только захотеть,—и он произведет невиданный в мире «мирный переворот», осчастливит крестьянство и превратится «из петербургского императора в царя земского».

Социальная природа бакунинского мировоззрения, отображавшего напор пауперизирующихся под влиянием внедряющегося в крепостное хозяйство капитализма крестьянских масс,—фатально приводила Бакунина к «революционному цеза-

---

[1]) «Материалы», стр. 65.
[2]) Там же, стр. 66.

ризму». Нельзя отделить Бакунина эпохи 1848—1864 г.г. от Бакунина-анархиста: по сути говоря, социальная база Бакунина-анархиста та же: разоряющееся крестьянство, переходящее в люмпен-пролетариат. Само крестьянство изменилось в 60—70-е г.г.: крепостное право повсюду пало, капитализм развивался и еще более разорял пауперов-крестьян, навстречу этому потоку люмпенов из крестьян шел поток люмпенов из ремесленников. Эти два потока встречались, смешивались, образовывая амальгаму—социальную базу бакунинского анархизма, с его анархической революцией, чрезвычайно похожей на замышляемую им прежде «крестьянскую революцию». Уроки польского восстания 1863 года, продолжающийся террор Романовых—все это заставило Бакунина окончательно отказаться от мысли о «царе земском» и перенести центр тяжести на «беспардонных русских юношей» в России, на буйный «люмпен-пролетариат» на Западе.

* * *

Таково об'ективное об'яснение «падениям» и «взлетам» Бакунина. Они присущи всякому мелко-буржуазному революционеру. Вспомним Прудона, революционера и контр-революционера одновременно, отрицающего собственность и ее «конституирующего», проклинающего Наполеона III и чуть ли не ожидающего от него спасения для пролетариата. Среди синдикалистов, много вобравших в себя от Бакунина, подобные персонажи также имеются: было же время, когда Жорж Сорель, теоретик революционного синдикализма, склонялся чуть ли не к монархии, типа реакционной «Action Française». Когда грянула русская революция, Сорель первый приветствовал русский Октябрь, назвал Ленина великим человеком, придав ему, конечно, прудонистские черты. Повторяем, мелко-буржуазный революционаризм, возводящий, по словам Ленина, «одностронность в догму»,—всегда способен на бросание из крайности в крайность. Бакунинский «революционный цезаризм»—плод такого мелко-буржуазного революционаризма. Его «Исповедь» не «раскаяние» и, конечно, не «падение», а закономерное звено во всей цепи его деятельности. Только так надо понимать этот документ. Те, которые хотят разрушить «Миф о Бакунине», должны взять Бакунина во всей широте его социальной природы, а не сводить значительнейшей полосы в жизни и деятельности Бакунина к психологическим измышлениям о какой-то «нечаевской стихии» (определение Н. Отверженного), которой в природе не существует, конечно, и которая создана нашими отечественными единомышленниками Неттлау ad majorem gloriam анархистской «иконографии».

Церковь в современном рабочем движении.

М. Рубинштейн.

Одним из старейших методов воздействия буржуазии на рабочий класс является использование религии и церкви. Было бы глубокой ошибкой недооценивать значение этого метода. В целом ряде стран и районов церковь и в настоящее время оказывает значительное влияние на мозги трудящихся. Целые слои пролетариата даже самых индустриальных стран находятся еще под ее сильнейшим воздействием.

Период борьбы молодой, растущей буржуазии с церковью, а отчасти и с религией, бывший в свое время одним из основных оплотов феодализма, давно прошел. Церковь всех мастей, издавна привыкшая об'являть «божественным» всякий правящий класс, могущий оказывать ей материальную поддержку, великолепно приспособилась к капитализму. Она проявила совершенно исключительную гибкость, умение сочетать использование тысячелетних традиций и аппарата, с ловким подлаживанием к каждой «новой идее», т.-е. к каждому изменению в соотношении социальных сил. Целиком и полностью церковь отдала в настоящее время свои силы на службу капиталу.

С другой стороны и капитал ясно осознал значение для него церкви и возможности ее использования для борьбы с рабочим движением, для разложения и затемнения рабочих масс.

Это изменение отношения буржуазии к церкви, надежды на религию, типичные для падающего, идущего к неминуемой гибели, класса, нашли своеобразное отражение в религиозном «под'еме», охватившем за последние годы идеологов буржуазии, от непосредственных наемных агентов ее в области социальных наук, до представителей якобы «чистой» науки и искусства, включая виднейших ученых в области точных наук, естествознания, техники и пр.

Чтобы не задерживаться на этой любопытной, но выходящей за рамки нашей темы, области, мы отметим лишь, как характерный пример, недавнее религиозное «обновление» одного из виднейших буржуазных экономистов—Вернера Зомбарта.

Этот крупнейший представитель так называемой исторической школы на старости лет разразился в одной из своих лекций откровениями об «идее классовой борьбы», насквозь пропитанными полумистическим бредом. Как характерный штрих, надо отметить, что эти рассуждения нашли себе место на страницах со-

виднейшего экономического журнала Германии, издаваемого Кильским институтом «Архива мирового хозяйства»[1]). Почтенный профессор до того рассержен, что не может найти для «идеи классовой борьбы» другого эпитета, чем «клоака душ целых поколений». Но в то же время он откровенно признается, что «научная борьба с теорией пролетарской классовой борьбы безнадежна. Этим путем мы не победим». И в сознании этой безнадежности он приходит к знаменательному выводу: «Мы должны вере противопоставить другую веру, или, если хотите, суеверию—настоящую веру. Я не вижу тут другого выхода, чем вера в бога. Только на этой основе возможны борьба с теорией классовой борьбы, возникшей в конечном счете из безбожия. Вера в бога даст нам для этой борьбы такую силу, что не потребуется никакой другой помощи, чтобы выдержать борьбу из веры в бога, и только из нее вытекают все взгляды и условия, необходимые для того, чтобы преодолеть теорию классовой борьбы. Из веры в бога вытекает вера в идеи—любимые мысли бога. Безумие верить, что люди, не верящие в бога, могут любить друг друга»... и так далее, все та же поповская болтовня, сопровождающаяся надеждами, что «из Советской России снова выйдет великое национальное государство и народное единство на религиозной основе». В то же время любвеобильное сердце Зомбарта не мешает ему откровенно заявить, что «основной наш лозунг—борьба с массой».

Весь этот старческий бред, несмотря на свою наивность, является характерным отражением стремлений современного капитализма. Зомбарт ясно вскрывает, в чем корень об'явшего капиталистический мир увлечения религией. Его причиной является страх перед развитием классовой борьбы. Его целью, сознательно или как бы «подсознательно», служит стремление ослабить размах этой борьбы со стороны противника и, таким образом, использовать церковь и религию, как свое орудие в ней.

И действительно, в ряде стран церковь служит одним из видных проводников лицемерно проповедываемого капиталом классового сотрудничества. Дурманом церковной мистики, баснями о потустороннем мире, своей социальной политикой и благотворительностью, своим блестяще организованным аппаратом она отвлекает от активной классовой борьбы значительные слои рабочего класса, особенно вне больших городов.

В дальнейшем мы ознакомимся подробнее с методами, применяемыми при этом церковью. На деле эта основная функция церкви, как одного из орудий классового сотрудничества, сближает ее с современным реформизмом, задачи которого, по существу, те же.

Уже и до войны отношение социалистических партий к религии было чрезвычайно колеблющимся и нерешительным. Передовая партия II Интернационала, германская социал-демократия, ведя довольно робкую борьбу с клерикализмом, обнаруживала в то же время крайнюю принципиальную терпимость к религии. Еще Мюнхенский партейтаг в 1894 г. отклонил резолюцию Велькера о решительной борьбе с религиозными предрассудками, а

---

[1]) «Weltwirtschaftliche Archiw», 23 B., heftl, 1925: Sombart, Die Idee des Klassenkampfes, S. 22—37.

Бебель и Фольмар высказались за пресловутый, вошедший в эрфуртскую программу, лозунг: «религия—частное дело» (и для члена социалистической партии). Бывшие пасторы, вроде известного Гере, играли в партии видную роль, руководя, вместе с «профессионалистами», ее оппортунистическим крылом, постепенно завоевавшим весь партийный аппарат.

Но и у «левых» того времени, включая «ортодоксального» теоретика Каутского, мы видим те же колебания и робость. В своих статьях о религии (1902 г.), собранных под названием: «Социал-демократия и католическая церковь» [1]), Каутский неоднократно заявляет, что «противоположность между церковью и социал-демократией отнюдь не говорит, чтобы невозможно было быть в одно и то же время верующим христианином и соц.-демократом»... «Можно чувствовать себя хорошим христианином и вместе с тем принимать самое горячее участие в классовой борьбе пролетариата» [1]) (216) и дальше: «христианское учение евангелия совместимо с нашими целями... там, где это совмещение невозможно, виновата не социал-демократия, а духовенство».

В послевоенный период религиозная «терпимость» германской социал-демократии, во время войны так усердно призывавшей рабочий класс «с богом—за кайзера и родину», стала значительно шире. В социал-демократии начинают играть роль не только «бывшие», но и настоящие попы.

При несомненном участии и полном одобрении соц.-дем. верхов, создается так называемый «союз религиозных социалистов»—широко разветвленная организация, обладающая в партии своими ячейками и имеющая значительное влияние на ряд местных соц.-дем. правлений, оказывающих ей неофициальную, но очень активную поддержку.

В августе 1924 г. происходит об'единение союзов религиозных социалистов Берлина и Кельна с организацией «евангелических социалистов» Бадена в так называемый «Arbeitsgemeinschaft religiöser Sozialisten Deutschlands». Задачи нового об'единения сводятся к «реформе» церкви и «религиозному пробуждению социалистических масс, формально оставшихся в церкви, но пассивных в религиозных вопросах» [2]). Они принимают активное участие во всевозможных церковных выборах (областных синодов и т. п.), выставляя свои списки, собирающие десятки тысяч голосов, и подымая громкий шум о своих «успехах» на этом благородном поприще.

Пресловутый «союз республиканского знамени» устраивает при помощи «религиозных социалистов» торжественные богослужения, освящения знамени и т. п. Религиозные социалисты заполняют женскую страничку «Форвертс'а» и провинциальную с.-д. прессу. Особенно сильно влияние «религиозных социалистов», как это ни странно, среди социалистической молодежи, которую пичкают в настоящее время, вместо модных когда-то литературных споров о классиках, религиозно-социалистической этикой и своеобразным, сентиментально-мещанским богостроительством и богоискательством.

---

[1]) Сборник статей Каутского, Очередные проблемы международного социализма, М. 1918, стр. 206—259.

[2]) „Handwörterbuch der Staatswissenschaften“, 1925, H. 53—54.

Германские соц.-демократические «теоретики» также начинают примыкать к этому религиозному поветрию.

В сборнике под громким названием «Живой марксизм» [1]), посвященном 70-летию Каутского и уснащенном именами таких столпов социал-демократии, как Отто Бауэр, Макс Адлер и др.,— сборнике, претендующем на теоретическое обоснование «4 фазы марксизма», мы находим статью некоего Кранольда (видного сотрудника профсоюзных журналов) о «нравственной идее социализма».

В этой путаной статье, полной квакерского ханжества и полумистической болтовни, наш с.-д. теоретик «с радостью» констатирует «сближение католицизма и социализма в области идей, после того как на практике уже имело место поразительно (überraschend) хорошо удавшаяся совместная работа центра и с.-д. в правительствах последних лет». Восторгаясь книгой католического попа Штейнбюхеля, он пишет, что «католицизм начал понимать социализм». Соц.-демократия, разумеется, готова к ответному пониманию и «приятию».

Во всяком случае, Кранольд уверяет, что «государственное и социальное учение отцов церкви, а также великих схоластиков средневековья и последнего века имеет ряд точек соприкосновения с социалистическим учением о государстве и обществе»... «Католическая церковь,—пишет он,—подымается над социальными противоречиями», так как «религия—неизбежная составная часть человеческой природы... лишь ее проявления различны». Католицизм, по его мнению, «ближе к социализму, чем к протестантизму», а заповеди «не судите» и «благостыня» (caritas)—социалистические принципы. Ясно, что идеалом Кранольда является «религиозный социализм, самая мысль о строительстве которого такой необозримой важности, что она потрясает, подымает и страшит».

Как мы видим, этот социал-демократический бред ничем не выше старческих излияний Зомбарта. Но Кранольд далеко не одинок в сонме теоретиков германской соц.-демократии.

В Гильфердинговском журнале «Die Gesellschaft», наследнике бесславно скончавшегося «Neue Zeit», мы находим, например, не менее восторженную статью некоего Георга Бейера о «католическом социализме» [2]), где, на-ряду все с теми же поисками «нравственной сути социализма» и сближением его с религией, автор откровенно выбалтывает, что отрицание классовой борьбы является основой этого сближения. «Деловое сотрудничество» в политике и хозяйстве—вот основная теперь идея католицизма и место соприкосновения его с с.-д. Как заявляет автор, «экономическая гармония завершается в католичестве духовной»... «Социализм занимается земными делами и предоставляет всем в своих рядах по желанию удовлетворять неизбывное в каждом человеке религиозное чувство», и дальше: «Антикатолической иррелигиозности социализма не существует. Мы должны перестроить общество так, чтобы каждый мог обратить свой свободный взор на

[1]) Der lebendige Marxismus. Jena 1924. стр. 501—563. Подробный разбор статьи Кранольда, как ряд других „теоретических" выступлений религиозных. с.-д. Германии и Австрии (Макса Адлера), дан также в статье т. Деборина „Последняя фаза ревизионизма",—сборник „Воинствующий Материалист", № 1.

[2]) Die Gesellschaft, 1925, № 2, S. 121—133.

«божественное». Бейер радостно заявляет, что «католический, религиозный социализм и социалистический католицизм, несмотря на все трудности, находят путь к сближению».

Таких примеров теоретического вырождения соц.-демократии можно привести десятки. Но для нас гораздо интереснее другая сторона. Церковь вовсе не намерена предоставлять социал-демократии земные дела (Барматовские?), занявшись лишь утолением духовной жажды наших «марксистов». Религия является для нее лишь средством обделывания своих весьма земных делишек на службе капитала. Эта-то сторона, т.-е. ознакомление с методами, при помощи которых концентрированный капитал Германии использовывает теперь церковь, является для нас особенно важной.

Прежде всего необходимо констатировать чрезвычайное внимание, уделяемое за последнее время вопросу о социальной роли церкви в предпринимательских органах печати. Официальный орган об'единения германских предпринимательских союзов, солиднейший «Arbeitgeber» уже несколько номеров под-ряд посвящает ему свои передовицы. В нем завязалась характерная полемика, на которой не мешает остановиться поближе. Некий пастор Будрио выступил на страницах «Arbeitgeber'a» с целой программой социального использования церкви капиталом,—программой, которую орган революционных фабзавкомов Германии («Arbeiterrat») очень метко назвал «стиннезированием бога» [1]).

Эта программа сводится в основных чертах к организации планомерной поддержки церковью главнейших требований предпринимателей в области вопросов рабочего времени и ликвидации других «завоеваний революции». Для этого должен быть установлен постоянный контакт церковных организаций с предпринимательскими, подготовлен специальный кадр соответствующим образом натасканных попов для рабочих районов [2]), установлен для кандидатов в эти районы годичный стаж службы в «промышленности», организовано постоянное инструктирование этих попов промышленниками и снабжение их материалами для воскресных проповедей.

Вся эта научная организация поповской «работы» среди рабочих масс требует от предпринимателей широкой материальной поддержки, предоставления заводами помещений для церковных нужд, достаточной оплаты квалифицированного кадра «промышленных священников» и т. д. Как возмущенно пишет Будрио— «если священник должен понимать предпринимателя и работать с ним, нельзя лишь раз в год приглашать его на рюмку вина». Он пытается доказать предпринимателям, что все их расходы окупятся деятельностью попов по улаживанию конфликтов и т. п.

Почтенный профессор Вольф в одном из следующих номеров Ardeitgeber'a» [3]) согласен с Будрио в том, что «церковь пока еще не использовывает для предпринимателей всего своего влияния

---

[1]) Статья эта (см. „Arbeitgeber", December 1924, и „Arbeiterrat", Januar № 1, 1925 г.) изложена вкратце в статье т. Ярославского „Религия на службе капитала", в № 3—4 „Большевика", 1925 г.

[2]) Это предложение уже осуществляется путем введения специальных должностей „социальных пасторов" (Soziale Pfarrer) в промышленных районах Бадена, Рейнской области и Вестфалии.

[3]) „Arbeitgeber", 1925, № 3.

на рабочие массы». Он скорбит о том, что «духовное возрождение» Германии используют всевозможные теософы, поклонники «христианской науки», секты, предсказатели и пр. Церковь лишь с трудом конкурирует с ними, опираясь исключительно на традиции и с завистью смотря на рост церковной жизни в католических и англо-саксонских странах. Связь с государством, по его мнению, только мешает церкви, отталкивая от нее большие слои. Но в то же время Вольф совершенно не согласен с методами, рекомендуемыми Будрио для вмешательства церкви в классовые противоречия. С мелкими конфликтами и стачками, говорит Вольф, мы справимся сами, без посредничества церкви. Церковь своим вмешательством в таких случаях лишь подорвала бы свой авторитет и оттолкнула от себя рабочих. Ее задачи гораздо выше. «Церковь должна парить в ином мире, соединяя в нем всех, давая рабочим миросозерцанье, пробуждая в них религию труда, любовь к труду и ощущенье его счастья. Уже этим она вступит в резкое противоречие с социализмом». Впрочем, если под последним понимать соц.-демократию, напрягающую все силы для побуждения рабочих к интенсификации труда во славу плана Дауэса, особенных противоречий тут нет. Эти критические замечания Вольфа вызвали в предпринимательской прессе дальнейшую оживленную дискуссию, интересную уже как показатель усиленного внимания предпринимательских органов к этим вопросам. На торжественном открытии евангелических пасторских курсов в Шпандау, в начале 1925 г., делаются большие доклады официальными представителями «об'единения предпринимательских союзов»—тогдашним председателем его Борзигом и секретарем Тенцлером. «Эти доклады, как и выступления подозрительных рабочих делегатов», сводились к обычному прославлению W. G. сотрудничества на предприятии (Werksgemeinschaft) и роли церкви, как примирителя классов и «беспартийного осведомителя, открывающего рабочим глаза на нужды (!) предпринимателей».

Всех этих мелких, но характерных фактов можно привести сотни. Они показывают, как церковь в Германии, следуя подробно разработанным и точным директивам предпринимательских организаций, ведет свою кротовую работу развращения рабочих масс, отвлечения их от классовой борьбы.

Методы этой работы легче всего проследить в «католических» областях Германии, при чем результаты ее сказываются сильнее всего как раз в самых промышленных районах—Рейнской Вестфалии и Верхней Силезии, где центр до сих пор является сильнейшей партией и привлекает голоса многих сотен тысяч рабочих.

Статья тов. Масловского в «Internationale» [1]) дает чрезвычайно яркую картину избирательной «работы» католической церкви в рабочих массах Верхней Силезии. Эта работа направлена прежде всего против коммунистов. Особые «пасторские письма» епископов, призывающие на головы коммунистов все силы ада, грозят каждому рабочему католику, подавшему голос за компартию, отлучением от церкви. «В споры же других партий церковь не должна вмешиваться». Как мы видим, церковь осталась тут покамест верна союзу с социал-демократией, от которой, в свою очередь,

[1]) 1924, № 21/22.

она получила не мало услуг и с которой она связана по существу единой программой восстановления буржуазной республики.

Масловский подробно описывает, как мобилизуется огромный развивавшийся тысячелетия организационный и агитационный аппарат церкви, как используются все средства—от исповедальни до массового собрания, как приводятся в движение сотни подсобных организаций: Standesverein'ы (сословные союзы), благотворительные общества, конгрегации, так называемые народные союзы, образовательные кружки, многомиллионная пресса и литература. Значение всех этих органов можно себе представить хотя бы из того, что центр имеет в Германии 600 ежедневных газет и, напр., в Верхней Силезии клерикальная пресса неоспоримо господствует. Один лишь так называемый «народный союз католической Германии» (Volksverein für katholische D.) имеет 400.000 активных членов, из них значительная часть рабочих. Этот союз имеет 45.000 местных функционеров, устраивает свыше 5.000 собраний в год, организует курсы «рабочих секретарей» с обширной программой, ведет огромную литературную пропаганду, в частности выпускает сотни миллионов листовок. Особенное внимание обращается при этой пропаганде на женщин, для которых, впрочем, имеется и специальный «католический женский союз» (Katholischer Frauenbund) с 250.000 членов, главным образом в рабочей среде (работницы и жены рабочих). Этот союз имеет особые юношеские секции. Имеются также специальные католические союзы домашней прислуги (12.000 членов), приказчиков и т. п. Эта густейшая сеть всевозможных организаций, отвечающих всем потребностям верующих, разными путями ведет их все к той же цели—политической обработке в интересах капитала. Надо при этом отметить, что в период усиления революционных настроений среди рабочих масс церковь не чуждается и демагогического подделывания под рабочие нужды. Поповский словесный радикализм, особенно в борьбе с монархическими аллюрами народной партии, часто далеко превосходит «дерзания» соц.-демократов.

В Рейнской Вестфалии некоторые католические деканаты (Дюссельдорф и др.) осмелились даже выступить с воззванием к предпринимателям о сокращении воскресной работы (как видно, она стала мешать прибылям церкви) и даже (о, ужас!) о необходимости повышения зарплаты, так как, мол, нищета рабочих грозит их «нравственности». Предприниматели в ответ лишь сердито цыкнули и заявили, что «благотворительность должна заботиться о нищих. Это не наше дело». Но, разумеется, эта демагогия никогда не выходит за рамки общей программы социального воздействия церкви, составляемой под руководством капитала.

Весь этот грандиозный церковный аппарат является на редкость дисциплинированным. Он обладает огромными возможностями уже хотя бы при соответствующем использовании одних лишь воскресных проповедей, еженедельно посещаемых в одной лишь Верхней Силезии 200.000 рабочих. И хотя бы значительнейшая их часть шла в церковь лишь по традиции, сильной и среди соц.-дем. рабочих, или как в место отдыха, где можно людей посмотреть и себя показать (вернее—показать воскресное платье)—это не мешает прекрасному использованию духовенством этой агитационной трибуны, где их агитация не встречает возражений и полемики.

В общем, как пишет Масловский, «огромное войско католических попов является дешевой, интеллигентной и авторитетной агитационной машиной, работающей с полнейшей беззастенчивостью, со всеми фокусами психологического воздействия». Во время избирательных кампаний духовенство в лучшем случае вызывает пассивность рабочих. Многие рабочие католики, которым запрещено церковью выбирать коммунистов, предпочитают не выбирать никого, косвенно содействуя этим успехам центра и соц.-дем.

Что особенно важно, так это констатируемое Масловским отсутствие у коммунистов в этих районах равносильного оружия. Католическим рабочим запрещено церковью посещение коммунистических собраний, к ним не попадает коммунистическая пресса. В своих союзах и организациях они так ловко изолируются от всего, пахнущего революционностью, что с ними не находится плоскости соприкосновения. Отдельные ошибки антирелигиозной пропаганды компартии (отчасти аналогичные ошибкам, совершавшимся и в советской России) вызывают лишь усиление церковного фанатизма, позволяя клерикалам затуманивать вопросы, переводя их из политической и хозяйственной области в религиозную. С этой стороны практикуемый часто соц.-демократами перевод споров в рабочей среде на почве так называемой «свободной религии» (Freireligion) лишь играет на руку католическому духовенству.

В результате значительные массы «христианских» рабочих, при едином фронте могущие быть далеко не худшими борцами, оказываются потерянными для повседневной революционной работы.

Необходимо отметить, что, прекрасно обходясь и без помощи государства, иногда даже опасаясь открытой связи с ним, как отталкивающей широкие массы, церковь в то же время широко использовывает в Германии государство, в особенности для усиления своего влияния на школу [1]). В этом отношении она может засвидетельствовать ряд успехов. В январе 1925 г. Бавария ратифицировала конкордат с церковью как католической, так и протестантской. В настоящее время ведутся переговоры о распространении этого конкордата на все государство, так как он, по заявлению Маркса, «не противоречит конституции». Согласно этому соглашению, церковь в пределах своей деятельности может издавать обязательные постановления. Государство, не имеющее никакого влияния на замещение церковных постов, в то же время должно выплачивать жалованье и, в виде особой дотации, передать церкви большие лесные площади. Церковь не только ведет религиозное преподавание в школах всех родов, но и получает право общего контроля всей системы народного образования. Подготовка учителей целиком «конфессионализируется» и в школы принимаются только учителя, имеющие специальное разрешение от епископа. Подготовку учителей могут брать на себя также ордены и конгрегации.

Это огромное усиление позиций церкви проводится при ближайшем участии социал-демократов, заключивших с партией центра в области школьной политики так называемое Веймарское

---

[1]) См. „Referentmaterial der Zentrale der K. P. D.".—„Die Schule der Republik ein Raub der Kirche", 1925, и статью т. Ауслендера в Funke".

соглашение, которое сводится на деле к выдаче церкви 99% школ, с сохранением 1% так называемых светских школ. Эти «светские» школы, также очень сомнительные по своему направлению, в то же время очень удобны для церкви, так как они изолируют более или менее революционных учителей, родителей и детей, производя как бы автоматическую «чистку» школы от нежелательных для церкви элементов. Правда, за последнее время, когда социал-демократия становится все менее нужной для буржуазии и начинает выталкиваться из государственного аппарата, она и в области школьно-церковной политики переходит иногда в кажущуюся оппозицию. Но и при этом она не нарушает связи с центром и не решается даже выставить в полном об'еме лозунга освобождения всей школьной системы от хозяйничания попов. Само собой понятно, каким мощным орудием в руках церкви является это господство над школой, через которую проходит в Германии все рабочее население.

Мы так подробно остановились на влиянии церкви в рабочих массах Германии потому, что этот пример индустриальной страны с наиболее культурным, вышколенным и организованным пролетариатом особенно характерен. Если в Германии так велико еще влияние церкви на широкие рабочие массы, так ловко еще удается капиталу использовывать тысячелетнее орудие религиозного обмана,—что же говорить о глухих «провинциальных» уголках Европы, в особенности на ее аграрном юго-востоке и юго-западе.

Во многих областях Европы, в особенности в некоторых балканских странах, в Южной Италии и Испании, в Бретани и фламандских частях Бельгии, в Голландии и др., католический поп почти безраздельно царит над мозгами значительной массы рабочего люда даже в городах, не говоря уже о сельско-хозяйственном пролетариате.

Из промышленных стран очень сильно влияние церкви на рабочие массы в Бельгии, где католическое духовенство обращает усиленное внимание на «обращение» социалистических рабочих. Церковные организации создают там рабочие дома, сберегательные кассы, рабочие секретариаты, справочные бюро для эмигрантов, всевозможные курсы и профшколы, удерживая благодаря этому под своим влиянием значительные слои рабочих.

Такова же картина в южной и северо-восточной части Голландии, где, между прочим, образовался недавно по германскому образцу союз религиозных социалистов, при участии лидера с.-д. Трульстра и даже, судя по газетным сведениям, бывшей коммунистки Роланд-Гольст.

В Австрии развитие в этом отношении шло приблизительно по тому же пути, что и в Германии, при чем в политической области клерикализм имеет в партии христианских социалистов еще более сильную опору, чем в Германии. Христианские социалисты имеют в рабочих массах немало сторонников; на последних выборах в парламент они получили 89 мандатов, собрав $^1/_4$ всех голосов. Но и австрийская социал-демократия, эта «образцовая» партия II Интернационала, потеряла всякий вкус к борьбе с клерикализмом, примирилась как с протестантизмом, так и о католицизмом, возлагая надежды на приход сельских католических патеров к социал-демократии, или, в лучшем случае, пре-

...ратив рабочие «свободомыслящие» кружки в какие-то мистические общины, поклоняющиеся «истине, добру и красоте»[1]).

В профдвижении Австрии христианские союзы играют относительно меньшую роль, чем в Германии. Но зато соц.-дем. профсоюзы усиленно подделываются под поповскую идеологию. Довольно типичными в этом отношении являются, напр., такого рода рассуждения в органе австрийского союза железнодорожников[2]): «Классовая борьба пролетариата примирима с христианством. Чем решительнее борьба, тем она религиознее. Чем яснее борьба, тем она христианнее... Профсоюзная борьба стремится к царству божественного, к идеалу Назареянина и Шиллера (!). Это божественный наказ (Gebot), соответствующий идеалу первобытного христианства». Словом, те же песни и проповеди христианской морали, которые мы уже слышали из уст «религиозных социалистов» Германии.

В некоторых странах Европы мы находим другое, на первый взгляд противоположное, явление. Во Франции, напр., еще не так давно буржуазия привлекла под свое влияние известные слои пролетариата своей мнимой борьбой с клерикализмом. Таким образом орудием классового сотрудничества там была не церковь, а якобы борьба с нею. Как отмечал когда-то еще Каутский, буржуазия заинтересована при этом в борьбе против церкви, но не в победе над нею. Эта робкая и жалкая борьба является таким же обманом рабочих масс, как и непосредственное использование церкви. Правда, и там за последнее время острота борьбы с клерикализмом, об'единявшая когда-то значительные слои буржуазии и рабочих, все более исчезает. Буржуазия примирилась с церковью, а за ней, как полагается, плетутся и реформисты.

То же самое можно было наблюдать и в Чехо-Словакии, где борьба чешской буржуазии с клерикализмом (католическим) очень содействовала развитию попыток гражданского мира. С другой стороны, она способствовала усилению влияния церкви у «угнетенных» чехами национальностей—поляков, словаков и др., где церковь пыталась об'единить массы для «национального» отпора.

В Англии влияние церкви на рабочие массы проявляется, главным образом, через всевозможные подсобные организации—благотворительные общества, армию спасения, женские союзы, бой-скаутов и т. п. Но, помимо этого, дух религиозного ханжества и лицемерия очень широко пропитывает верхушку рабочего класса Англии. Ряд епископов и прочих духовных особ являются членами рабочей партии, виднейшие представители которой вплоть до Макдональда, Томаса и др., на каждом шагу выступают с аргументами от библии и евангелия. Как любопытный штрих можно отметить, что перед последним Гулльским конгрессом профсоюзов для членов конгресса было устроено торжественное богослужение и текст проповеди архиепископа личфильдского красуется на первом месте в официальном издании протоколов[3]).

Чтобы не растягивать чрезмерно наш обзор, мы остановимся еще лишь на методах воздействия церкви на рабочие массы Соединенных Штатов.

---

[1]) „Eisenbahner" N. 33.
[2]) „Eisehbahner" N. 33.
[3]) „Report of 56 annual tr.-union congress", Hull 1924.

В Северной Америке отделение церкви от государства произошло еще в XVII веке. Оно нисколько не помешало влиянию церкви и совместной работе ее с капиталом и правительством для обработки мозгов трудящихся. Бесконечное количество всевозможных сект и церквей с совершенно неуловимыми различиями, находящихся в состоянии непрерывной конкуренции и борьбы, только содействует отвлечению внимания пролетариата от задач классовой борьбы. Погоня церквей за финансированием ставит их в совершенно открытую зависимость от отдельных капиталистов, в то же время превращая их в жульнические «деловые» предприятия, прибегающие к широчайшей рекламе. До чего доходит эта реклама, можно судить по яркому образчику об'явления, обещающего подарок каждому, посетившему воскресную службу в одной из церквей Балтиморы [1]). В богослужении обещается участие знаменитого французского тенора, а проповедник в своей проповеди затронет следующие вопросы: должна ли домашняя хозяйка получать от мужа определенную сумму денег на расходы, существуют ли на побережьи Тихого океана белые рабыни, прочно ли замужество знаменитой женщины с неизвестным шоффером, что чувствуешь, когда умираешь, чем вызван развод в такой-то семье? и т. п. Во многих церквах существуют специальные советы дам, ставящие себе целью привлекать случайных посетителей к постоянному посещению церкви. Различия протестантских сект обычно совершенно непонятны и являются лишь лавочкой. Но и католическая церковь с громкой рекламой об'являет о понижении прейс-куранта, особых неделях и скидках для крещений, венчаний и отпущения грехов и т. п. Почти все церкви имеют особых рекламных и газетных агентов, ставящих эту работу по всем правилам НОТ'а. Широчайшее распространение приобретает за последние годы передача церковных служб по радио. Даже католическая церковь постановила собрать 100.000 долларов на постройку своей радио-станции, при чем для верующих, смеющих сомневаться в пользе радио для религии, было заявлено [2]), что передача по радио (broadcasting) была предусмотрена евангелием в притче о сеятеле и поэтому каждый католик обязан содействовать успеху предприятия. «Какие-нибудь из семян, бросаемых по радио миллионам, упадут на добрую почву». Основным методом привлечения масс, практикуемым церковью в Америке, является ее так называемая «социальная деятельность»—устройство пикников, прогулок, танцевальных вечеров, совместных ужинов и чаев, кино, кружков шитья, вечеров «докладов и развлечений». Каждая церковь, не надеясь на минимальную у деловых американцев религиозность, стремится сделать себя для своих членов более интересной, проявляя при этом поразительное знание психологии масс и искусства воздействия на них.

Всеми этими методами американская церковь весьма успешно привлекает себе сторонников в рядах трудящихся. Из 46 миллионов прихожан различных церквей и посетителей почти 200.000 церковных воскресных школ, зарегистрированных в Сев. Аме-

[1]) F. Schönemann, Kunst der Massenbeeinflussung in den V. St. von America, Rerlin 1924.
[2]) N.-Y. Times, February 1925.

рике в 1921 г., несомненно, имеется значительная часть рабочих. Необходимо отметить, что влияние церкви особенно сильно на коренных («100%-х») американских рабочих, более квалифицированных и высоко оплачиваемых. Исключением являются лишь отдельные группы эмигрантов (главным образом, ирландцы и поляки), находящиеся под огромным влиянием католической церкви.

Большую роль играют также в Америке подсобные церковные организации, вроде знаменитых Имка и Ивка («Христианская ассоциация молодых людей» и «Христианская ассоциация молодых женщин»). Снабженные огромными финансовыми средствами, они играют роль основных помещиков американского империализма во всех уголках земли. Но и в самой Америке они проводят значительную работу, в особенности среди эмигрантов. Такую же роль играют «еврейские союзы молодых людей и женщин», существующие на средства крупных капиталистов. Все эти церковные и полуцерковные организации обладают обширными издательствами, прессой и др. орудиями пропаганды, господствуют над школой и т. п.

Во время войны они были важнейшими проводниками национальной и милитаристской пропаганды, которую вели чрезвычайно ловко, начав с Вильсоновских россказней о «борьбе за мир» и «войне против войны», а затем постепенно вводя находящиеся под их влиянием массы в угар военных настроений и состоя друг с другом в формах шовинистической травли. Даже настроенная в начале войны пацифистски (под влиянием большего числа ирландцев) католическая церковь поплыла в конце концов по течению и, образовав «национальный католический военный совет», приняла активнейшее участие в военной пропаганде. Некоторые церкви дошли даже до переделки псалмов в «псалмы военного флота» и т. п. После войны, усиленно развивая пропаганду «американизации», отдельные церкви тесно связались с фашистскими организациями, вроде Ку-Клукс-Клана и «крестоносцев Америки», соответственно вмешиваясь в крупные стачки. Большинство церквей стоит под непосредственным контролем того или иного из финансово-промышленных королей. Так, главой баптистской церкви С. Ш. состоит Рокфеллер младший, между прочим автор одного из нашумевших в Америке «планов» классового сотрудничества. Все это не мешает, конечно, духовенству участвовать на с'ездах Американской Федерации Труда, открывать проповедью последний ее с'езд в Эль-Пазо и т. д.

В заключение нам необходимо остановиться на так называемом христианском профдвижении. Количественно (поскольку, конечно, можно доверять их цифрам) христианские союзы являются довольно значительной силой. В 1923 г. Интернационал христианских союзов насчитывал свыше 3-х миллионов членов. Из них Германия давала около половины (1.142.956). В христианских союзах Италии считалось 1.052.694 членов, в которых большинство состояло, однако, из с.-х. рабочих и даже мелких арендаторов крестьян. В христианских союзах Бельгии было 200.000 членов, в Голландии—134.703 в католических союзах и 65.000 в протестантских. В Польше было 161.596 членов христианских союзов, Австрии—78.000 и т. д. Имеются также христианские профессиональные Интернационалы по производствам, из которых наиболее крупными являются Интернационал служа-

щих—580.000 чл., ж.-д.—296.000, металлистов—287.000, текстильщиков—214.000, фабричных рабочих—142.000 и др.

Наиболее крупную роль играют, таким образом, христианские союзы Германии, на которых мы и остановимся несколько подробнее. В 1924 г. «Об'единение христианских профсоюзов Германии» справляло свой 25-летний юбилей. Вожди христианского профдвижения в специальном юбилейном сборнике [1]) с гордостью вспоминают, как они до войны обращались к государственной помощи «против с.-д. террора», срывали стачки, вызывали для их подавления войска и т. п.

Вождь христианского профдвижения Штергевальд, перечисляя свои министерские заслуги; кресты и медали, вспоминает также в своей автобиографии о том, как он в 1918 г. вербовал контр-революционные банды на неограниченные средства, предоставленные в его распоряжение евреем Ратенау. Христианские союзы Германии об'единяют в настоящее время как католиков, так и протестантов. Отдельные «религиозные» трения им удается за последние годы более или менее легко изживать.

Помимо крупных союзов служащих, они опираются, главным образом, на горнорабочих и рабочих металлургии, химической и текстильной промышленности. Центром их влияния является Рурская область и Вестфалия, где находится $^2/_3$ их членов. Необходимо отметить, что, помимо небольшого числа попов, эти организации (кроме особых союзов служащих и мастеров) являются по составу чисто рабочими, с меньшим количеством содействующих из интеллигенции, чем в аппарате других рабочих организаций. Тем более любопытна их насквозь буржуазная идеология. От принципиальной позиции свободных союзов их отделяло до войны откровенное отрицание классовой борьбы. Как изрекают их основоположники: «наша основа не класс, как у свободных союзов, не предприятие, как у желтых, а профессия или сословие (Stände). Все сословия являются членами того же тела и не могут обойтись друг без друга». Частная собственность является, конечно, «основой христианства и законом человеческого общества»... «Нам нужна не борьба за раздел продуктов производства, а совместное участие в производстве»... Само собой разумеется, христианские союзы были всегда преисполнены национальных чувств. «Свой одноплеменник нам ближе, чем иностранный товарищ по классу». Еще в довоенное время ими открыто был брошен лозунг: «за империализм против социализма». Во время войны все их руководители (как и верноподданные с.-д.) получили теплые местечки во всевозможных военно-тыловых учреждениях и вошли в лучшие буржуазные круги. После войны они участвуют в мирных конференциях, входят в министерства.

Организационное воплощение «делового сотрудничества» было для них манной небесной, осуществлением их давних стремлений. Недаром они считают, что «основа Arbeitsgemeinschaft лежит в учении Христа».

После того, как свободные профсоюзы должны были, под давлением масс, скрепя сердце, выйти из К-та делового сотрудни-

[1]) „25 Jahre christliche Gewerkschaftsbewegung“, Festschrift, Berlin 1924.

чества, Штергевальд настойчиво ведет переговоры с предпринимательскими организациями о восстановлении сотрудничества хотя бы и без участия «уклоняющихся» свободных союзов. Одной из крупных своих заслуг христианские союзы считают участие в выработке закона о завкомах, предотвратившего «опасности дикого господства завкомов» и погребение в комиссиях всевозможных проектов социализации. Основной своей задачей в послевоенный период они считают «органическое участие в производстве».

Еще в 1922 г. они выставили требование денационализации ж. д. и передачу их частному капиталу с предоставлением части акций профсоюзам и служащим ж. д.

Нет смысла останавливаться на их напыщенной болтовне о христианской любви, семье, послушании, авторитете родителей и т. п.

Гораздо важнее разносторонняя деятельность христ. союзов по созданию всевозможных касс взаимопомощи (с более высокими взносами и выдачами, чем у свободных союзов), участие в организации банков, кооперативном строительстве жилищ и т. п.

Они обладают большими капиталами, домами, литературой и прессой.

Как мы видим, на практике они немногим отличаются от реформистских свободных союзов. В отрицании классовой борьбы и преклонении перед «деловым сотрудничеством» они лишь более последовательны и откровенны, чем с.-д. Основное их отличие состоит лишь в том, что они являются опорой непосредственного влияния буржуазных политических партий на рабочие массы. При их помощи центр заполучает в рабочих районах «избирательную скотину» и пытается создать широкий пролетарский базис для господства буржуазии. С.-д-тия не только этому не мешает, но своей политической коалицией с центром, совместным участием в пресловутом «о-ве республиканского флага» и т. п. играет на руку поповской реакции.

Как мы видим из всего вышеизложенного, влияние религии и церкви в рабочих массах Зап. Европы и Америки далеко еще не является изжитым. Современный концентрированный капитал ловко использовывает влияние религиозных предрассудков на отсталые слои рабочего класса, делая их своим орудием в классовой борьбе, раз'единяя и притупляя сопротивление противника.

Как писал Ленин во время войны:

«Все и всякие угнетающие классы нуждаются для охраны своего господства в 2 социальных функциях: в функции палача и в функции попа. Палач должен подавлять протест и возмущение угнетенных, поп должен рисовать им перспективы (это особенно удобно делать без ручательства за «осуществимость» подобных перспектив) смягчения бедствий и жертв при сохранении классового господства, а тем самым примирять их с этим господством, подрывать их революционное настроение, разрушать их революционную решительность» [1]).

---

[1]) „Против течения", ст. „Крах II Интернациинала", стр. 154.

Эта функция попа, разумеется, гораздо шире деятельности непосредственных «церковных» попов. Как пишет Ленин в той же статье, Каутский во время войны «превратил марксизм в грязную поповщину». В настоящее время весь реформизм во всех его многообразных формах выполняет эту функцию «попа». Но не малая часть этой работы по передаче психологического воздействия капитала на трудящихся перепадает и на доподлинных попов всех мастей. Революционному рабочему движению придется затратить еще не мало сил для освобождения мозгов трудящихся от связывающих их поповских пут.

ТРИБУНА.

Письмо в редакцию.

Уважаемые товарищи!

В № 12 журнала «Под Знаменем Марксизма» за 1924 г. напечатана статья тов. И. Луппола, посвященная моему «Курсу теории исторического материализма». Курс этот, в основу которого легли университетские лекции, читанные еще в 1922 г., и который около года прождал в Госиздате, имеет, разумеется, ряд недостатков; они видны сейчас автору не менее, чем его рецензентам. Основным таким недостатком является слишком большая сжатость и проистекающая отсюда сухость изложения, недостаточное число конкретных примеров и т. д. Здесь автор, стремившийся дать руководство типа французского «manuel» и немецкого «Lehrbuch» и убоявшийся чрезмерного расширения книги, несомненно, заслуживает самых серьезных упреков.

То же самое относится и к ряду других, совершенно правильных указаний тов. Луппола, касающихся французского материализма, лейбницевского принципа достаточного основания, понятий «необходимости» и «случайности», которые следовало бы углубить, как и многое другое, в главе о диалектике—не ограничиваясь предварительными о них замечаниями. Замечу кстати лишь, что едва ли можно видеть в «случайностях» «единичные факты, не отражающиеся на общем ходе исторического развития». Маркс говорит, напр., что «история имела бы очень мистический характер, если бы случайности не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, составной частью в общий ход развития» и т. д. (Письмо к Кугельману от 1871 г.; цитир. у меня на стр. 204). Несомненно, что больше места следовало бы уделить в книге и вопросам социальной революции, воззрениям на партию, стратегии и тактике пролетариата. Если я не счел целесообразным отводить им особый отдел, то лишь потому, что тогда потребовалось бы и более полное изложение сущности капитализма и империализма, а между тем ВУЗ'овские программы предполагают не только обособленное преподавание полит. экономии, но и отдельный, сейчас вводимый курс «Основ ленинизма». Поэтому здесь, даже и при более подробном изложении вопросов, связанных и марксизмом, как «методологией действия» (об этом у меня см. стр. 27, 58, 94, IX гл. и др.), все же приходится держаться определенных рамок и определенного разграничения материала.

Однако я вынужден, по вполне понятным причинам и во избежание дальнейших недоразумений на той же почве, отве-

сти пред'являемые мне обвинения в тех пунктах, по которым я сам в значительной мере разделяю воззрения моего рецензента. Прежде всего, я вовсе не «пытаюсь трактовать диалектический материализм лишь как теорию познания, а материалистическую диалектику как философские предпосылки марксизма вообще». Напротив, я указываю, что диалектический материализм может пониматься и понимается обычно марксистской философией не только в узком значении «теории познания» (гносеологии), но и... как философские предпосылки марксизма вообще»; что он «включает в себя как «теорию познания», так и материалистическую диалектику», что последние «в своей совокупности и составляют теорию познания в широком смысле, философию марксизма» (стр. 56, 57). Но я основываюсь на словах Ленина, что «диалектика... включает в себя то, что ныне зовут теорией познания, гносеологией, которая должна рассматривать свой предмет равным образом исторически» (курсив мой. *И. Р.*), и на точке зрения, поддерживаемой и тов. Лупполом, что гносеологические проблемы могут и даже должны подвергнуться в марксизме особому рассмотрению. Поэтому в интересах той самой последовательности изложения, которой в данном случае требует от меня мой рецензент, я сначала рассматриваю (гл. III) главным образом вопросы материалистической гносеологии, которая «равным образом» является диалектическим материализмом, затем в главе о диалектике—вопросы онтологии, по преимуществу, и методологии. Выделив, таким образом, условно вопросы гносеологии и связав их, в силу существующей в марксистской литературе традиции, с историческим развитием материализма, я и получил вызвавший у т. Луппола сомнения «узкий смысл» диалектического материализма. И если такой прием может показаться малоценным и самое изложение в этом случае искусственным и неудачным, то зато в педагогическом отношении он выгоден тем, что предохраняет учащихся от опасностей лукачизма, сосредоточивая их внимание и на марксистской гносеологии, и на диалектике бытия; между тем, употребление в одном широком смысле выражения «теория познания» вызывает лишь обычное представление о диалектическом взаимодействии бытия и сознания. Должен оговориться,—проблемы гносеологии и онтологии не могут и не должны рассматриваться в марксизме совершенно отдельно от вопросов методологии или до этих последних вопросов: самое освещение марксистской гносеологии и онтологии должно уже носить методологическую окраску. Ведь марксизм представляет из себя не просто синтез об'ективизма и суб'ективизма, как это иногда полагают некоторые наивные эклектики от народничества,—но синтез диалектический, стало быть, «снимающий» об'ективизм на почве последовательного об'ективизма (см. ранние работы Ленина). Суб'ект, рассматриваемый как об'ект-«личность», как член класса, как член «общественного отношения, развитого до конца»—при таком рассмотрении и «методология действия» лишь весьма условно может быть отделена от обусловливающей его диалектической—«онтологии» общественных отношений. Ибо эта методология действия—лишь иная сторона в диалектическом рассмотрении общественных отношений, развитых до конца... (Конечно, здесь имеется в виду ее сопутствование и предвосхищение

ей созревающих общественных отношений, а не меньшевистский хвостизм!).

Полемика, завязавшаяся в свое время вокруг моей статьи об идеологии,—статьи, в которой отдельные положения, вследствие трудности самого вопроса, не были вполне продуманы до конца и могли быть спорными, но которая, помимо ее чисто терминологического значения, ставила совершенно особый вопрос о логической структуре идеологий—эта полемика вызвала у некоторых т.т. необоснованное предположение, будто бы и я принадлежу к числу некоторых, болеющих «детскими болезнями» современных отрицателей марксистской философии. Уже общий мой «методологический» подход должен был бы рассеять подобные подозрения,—и это тем более, что и по отношению к марксистской социологии я ставлю вопрос в ту же плоскость, в какой он разрешается для марксистской философии. Поэтому совершенно напрасно было бы искать в моем параграфе о «философских и научных формах сознания» отрыжки «мининщины» (это даже не мининщина, а по-просту буржуазная «контовщина»!). У меня была мысль—быть может, неудачно выраженная—отнюдь не о смене трех периодов, но лишь о хронологической последовательности, в которой исторически отдифференцировываются и получают свои специфические особенности религия, философия, опытная наука. О соотношении же философии и науки мною достаточно было говорено в первых главах. Точно так же, при определении общества, в качестве конститутивного (основного!) признака у меня фигурируют вовсе не люди, но общественные отношения (стр. 101): последние далее ближе определяются дальнейшими признаками, как целостное единство, в каком рассматриваются составляющие их люди и вещи, и как производственная связь. Экономический признак вовсе не является только третьим»,—здесь лишь по-просту расщепляется в известной логической последовательности определение тех же общественных отношений. Ведь, если бы я начал с достаточно известного мне марксова определения общества, то пришлось бы в дальнейшем развивать то же определение, и получился бы circulus vitiosus.

Однако самым страшным жупелом. от которого я должен всячески отгородиться, является приписанная мне т. Лупполом фантастическая теория «причинности»: каких-то «монад-окон», ведущих прямехонько к теории «факторов». Слов нет: означенный параграф изложен у меня действительно неудачно, неудачен и самый заголовок, в изложение вкрались и описки и опечатки. Но все же «в том, что критик мой сказал, своей я мысли не узнал»: у меня в помине не было навязывать марксизму на протяжении двух десятков строк собственную теорию по труднейшему и мало разработанному в марксистской литературе вопросу. И этим и об'ясняется моя якобы «непоследовательность» в дальнейшем! О чем в действительности идет у меня речь—нетрудно уяснить из сопоставления данного отрывка с предшествующими параграфами, касающимися рациональной обработки данных опыта, и с последующим изложением. Я ставлю вопрос о тех пригодных для научного анализа формах, в которых абстрактное мышление усваивает причинную связь явлений. При этом я вовсе

не отбрасываю понятия «причины», как не отбрасываю и понятия «силы»: ведь говорим же мы о производительных силах! Но я утверждаю, что «антропоморфическое» понятие причины, как «порождающей силы», «производящей деятельности» (антропоморфизм этот имеет реальные корни, но это вопрос совершенно другой!)—что это понятие само по себе еще недостаточно для понимания всей сложности причинной связи явлений. Связь причин и следствий, в реальной, изменчивой диалектике их взаимоотношений, может быть уяснена полностью лишь путем установления связи между «содержанием» и «формой», путем установления выражающих причинную связь отношений между явлениями. В переводе на язык исторической теории это значит: уровень производительных сил и их воздействие на общественную жизнь познается нами в форме тех или иных производственных отношений.

О каком же «взаимном отражении отношений» у меня идет речь? Когда я говорю о причинной связи явлений, то имею в виду в данном случае не конкретную «причинность», не отношение причины и следствия, а связь в более широком смысле, как о ней говорит, скажем, Энгельс в известном месте «Анти-Дюринга»: т.-е. хочу одновременно выявить и ту, в известных пределах, обратную зависимость, в какой причина стоит от своего следствия, условие от обусловленного и т. д. А для этого нужно обратиться к тем категориям Гегеля, которые имеют если не непосредственное, то очень близкое отношение к данному вопросу. Пример с «производством-потреблением» приведен мною для иллюстрации не причинной зависимости, но именно того «взаимного отражения отношений», тех рефлективных отношений, наиболее типические из которых совершенно правильно указывает т. Луппол: так называемое «существенное отношение». Но отсюда, следуя Гегелю же, вполне возможен дальнейший переход к отношению причинности. Потому что для Гегеля «существенное отношение» занимает центральное место среди всех соответствующих категорий: оно представляет из себя реализацию закона явления, из него Гегель исходит при определении «силы», из него же, как его особая разновидность и как его логическое завершение, вырастает и охватывающее категории причинности так называемое «абсолютное отношение». Абсолютное отношение, конечно, не есть уже просто «существенное отношение», но оно не может быть и слишком отграничиваемо от этого последнего: относится к нему как более конкретная и особая категория к более общей категории. Эта связь между ними сказывается хотя бы на том же примере с «производством-потреблением». Производство и потребление не только отражаются одно в другом, но в отдельных своих моментах производство порождает потребление, и наоборот. «Потребление порождает потребление, создавая потребность в новом производстве», «каждое из них не только заключает в себе непосредственно другое и не только существует через его посредство, но каждое из них, совершаясь, создает другое» (Маркс). Но отсюда следует, что при рассмотрении причинной связи явлений целый ряд моментов, отмеченных Гегелем для более общего «существенного отношения», приложим и к «абсолютному отношению». Только с этой стороны и при этом предварительном рассмотрении я подхожу к причинной цепи явлений, как к «цепи

отношений, взаимно обусловливающих одни другие и взаимно отражающихся одни в других».

Но я вовсе не ограничиваюсь этим началом рассмотрения, так как ставлю себе совсем иную задачу: «усвоить причинную зависимость между явлениями,—как отражение в более конкретных формах самых общих отношений, постоянство, закономерностей» (стр. 24). Указать, иными словами, что рациональная обработка опыта и приемы научного анализа—после установления сущности и характера причинной связи—идут по обратному пути, в противоположность проделанному Гегелем от «закона» к «причине»: они в своем изучении связи явлений вынуждены возвращаться к категории закона. И это вполне понятно. Рациональное («рассудочное») мышление не может, в силу особенностей исторического развития идеологий, не оперировать с этими более ранними, общими категориями: закономерности и ее проявления и т. д. Даже марксистская политическая экономия в своем абстрактном анализе не может не изучать стоимости, как проявления общей закономерности в ее «определенности формы»—хотя она прекрасно знает причины явлений, знает, что за стоимостью скрывается общественно-необходимый труд. Не выяснить, что такое «причинность»—вина моя, конечно, что я этого не сделал в главе о диалектике,—но показать особенности научного анализа, исходящего из закономерности, имел целью весь означенный параграф.

В заключение, я хотел бы заметить следующее. Правда, по условиям моей работы, мне не пришлось быть взращенным в благотворных условиях философской теплицы тов. А. М. Деборина и получать на всякий предмет его ценные указания: до многого, в условиях провинциальной глуши, мне приходилось до сих пор додумываться совершенно самостоятельно... Я мог, разумеется, делать ошибки, учился на своих ошибках, но никогда я не был склонен, à la Енчмен, Лукачи и т. д., обольщаться скороспелыми теориями и «навязывать» марксизму мыльные пузыри. Ибо вопросы теории были для меня всегда вопросами моей партийной совести: я привык вынашивать их в себе и обращаться с ними бережно, как со ступенями своего собственного теоретически-практического, революционного развития. Я просил бы поэтому моих критиков не искать у меня навязывания посторонних марксизму взглядов там, где нужно искать, главным образом, погрешностей в способе изложения, над которыми мне, несомненно, придется еще очень долго и серьезно работать.

И если данной моей книге действительно «несомненно суждено стать распространенным учебником»—читателям отзыва т. Луппола, пожалуй, будет невдомек, за какие-такие достоинства!—и если бы ей пришлось выдержать новые издания, то я со своей стороны обещаю приложить все усилия, чтобы сделать книгу понятной на первых порах, если не для студентов, то хотя бы—для рецензентов!

С коммунистическим приветом

И. Разумовский.

На всякого мудреца довольно остроты.

(По поводу «письма в редакцию» И. Разумовского[1]).

Ужасно обидчивы стали у нас теперь авторы; отношения к себе требуют тонкого, деликатного, совсем не такого, какое у них у самих к читателям; слова не скажи,—за личное оскорбление сочтут и сейчас же к общественному мнению взывать станут. Написал книгу, прочел рецензию, в которой указаны неправильности и недостатки,—и немедленно срочным «письмом в редакцию» летят об'яснения. Так, мол, и так, уважаемые товарищи, во-первых, писал я книгу два с половиной года назад; во-вторых, я и сам не хуже заправского рецензента вижу свои недостатки; в-третьих, не хорошо я выразился, неудачный заголовок поставил и описался несколько раз; в-четвертых, типография опечаток наделала и издательство, ей же богу, собственную стенограмму без моего ведома в набор отправило; в-пятых, я совсем другое хотел сказать и о другом хотел речь вести; в-шестых, меня рецензент не понял (где уж ему понять!); в-седьмых, занят я был очень, работа на местах, сами знаете какая—одна сплошная перегрузка; в-восьмых, ежели вы что думаете, чтобы я куда в сторону, да ни в одном глазе; выстрадал, можно сказать, книгу, а не то, чтобы что; в-десятых, вот уже во втором издании сами увидите, какая будет чистая работа: на все сто процентов; в-десятых же, книжку я писал не для вашего рецензента, а вообще, так, для студентов больше...

Трудно сказать, на какой предмет пишутся такие об'яснения и кому они, кроме автора, нужны. То ли: с приятным человеком (с читателем, конечно, а не с рецензентом) и поболтать при случае приятно, то ли, чтобы знали, что вот в городе таком-то «живет и работает» Петр Иванович такой-то. Во всяком случае подобные об'яснения есть факт, и «письмо в редакцию» т. Разумовского доказательство этому.

Написал И. Разумовский книгу «Курс теории исторического материализма». Написал я о ней статью[1]), не маленькую рецензию, как следовало бы, а критическую статью, имея в виду, главным образом, тему и задачи книги—стать вузовским учебником. Написал в высшей степени тактично и взял в общем благожелательный тон (за что на меня теперь с разных сторон валятся нарекания), учитывая те условия, в которых работал автор, и некоторые положительные черты работы, как учебника. Но, конечно, я не мог не указать автору ряд недостатков книги, именно, как учеб-

---

[1]) „Под Знаменем Марксизма“ № 12, 1924 г.

ника: тяжеловесность формы, пропуски, погрешности, надуманность формулировок, наконец, неправильную трактовку ряда проблем, трактовку, порывающую с марксизмом и т. д., и т. п. Казалось бы все! Так нет, автор чувствует потребность поговорить «по этому самому поводу». Содержание его письма в редакцию великолепно укладывается в приведенную мною выше, и ставшую уже трафаретной схему. Во-первых, в основу учебника «легли университетские лекции, читанные еще в 1922 году». Заметим по этому пункту, что «последние строки» книги помечены 25 января 1924 года. Во-вторых, учебник,—пишет т. Разумовский, «имеет, разумеется, ряд недостатков; они видны сейчас автору не менее, чем его рецензентам». «Автор... убоявшийся чрезмерного расширения книги, несомненно, заслуживает самых серьезных упреков. То же самое относится и к ряду других, совершенно правильных указаний т. Луппола». «Несомненно, что больше места следовало бы уделить в книге и вопросам социальной революции, воззрениям на партию, стратегии и тактике пролетариата». «... Отдельные положения, вследствие трудности самого вопроса, не были продуманы до конца, и могли быть спорными...» и т. д. В-третьих и в-четвертых, «слов нет: означенный параграф («Внутренний смысл связи: взаимное отражение отношений») изложен у меня, действительно, неудачно, неудачен и самый заголовок, в изложение вкрались и описки и опечатки». В-пятых, относительно того же параграфа о внутреннем смысле причинной связи: «когда,—пишет т. Разумовский,—я говорю о причинной связи явлений, то имею в виду в данном случае не конкретную (?) причинность», не отношение причины и следствия, а связь в более широком смысле», и далее: «не выяснить, что такое «причинность»—вина моя, конечно, что я этого не сделал в главе о диалектике,—но показать особенности научного аппарата, исходящего из закономерностей, имел целью весь означенный параграф» (повторяем, параграф о внутреннем смысле причинной связи). В-шестых, «но все же (это после неудачного изложения, неудачного заголовка, описок и опечаток) в том, «что критик мой сказал, своей я мысли не узнал». В-седьмых, т. Разумовский просит принять во внимание, что ему «не пришлось быть взращенным в благоприятных условиях философской теплицы», что он не какой-нибудь там оранжерейный и изнеженный плод, а самый настоящий самородок с чернозема, которому «до многого, в условиях провинциальной глуши, приходилось до сих пор додумываться совершенно самостоятельно». Надо думать, что с переездом в волшебную столицу т. Разумовскому в готовом виде будут преподносить, как и другим столичным жителям, философские проблемы в виде конфеток. В-восьмых, т. И. Разумовский никогда не был склонен навязывать марксизму мыльные пузыри, совсем наоборот: некоторые пузыри т. Разумовского должны были, очевидно, играть роль спасательных для тонущего марксизма пузырей. Рецензентам строго воспрещается искать у т. Разумовского «посторонних марксизму взглядов»; разрешается, впрочем, искать «погрешности в способе изложения, над которыми (над погрешностями?) ему придется еще долго и серьезно работать». Наконец, в-девятых и десятых, т. Разумовский торжественно обещает при втором издании книги «приложить все усилия, чтобы сде-

лать книгу понятной, если не для студентов, то хотя бы для рецензентов!» Вы чувствуете, читатель, всю соль этой остроты? Нет? Прочтите еще и еще раз заключительные слова письма т. Разумовского. Какая сильная острота! Как ловко сказано! Как логически и остро вытекают эти слова из содержания всего письма! Рецензент, мол, ничего не понял, не его ума дело—моя книга. В будущих справочниках по остроумию, в которых так нуждаются некоторые авторы, эта острота т. Разумовского займет первое место. Самый верный, простой и дешевый способ разделаться раз и навсегда с неугодным критиком!

На этом, собственно говоря, можно было бы и закончить, ибо «тон» т. Разумовского, который делает его «музыку», достаточно ясен читателю. Но т. Разумовский хочет «из'ясниться» по ряду вопросов, затронутых мною в статье. Если эти «из'яснения» не всегда приводят к желательной для него цели—вина не моя. Я указывал, что, с последовательной материалистической точки зрения, вызывает сомнение методологическая трактовка И. Разумовским «случайности», как чисто суб'ективной категории (в параграфе: «Каузальность, детерминизм, монизм»); я писал, что положение: «в явлениях нет места случайности» бедно содержанием, хотя и бесспорно; я указывал, что «случаи» об'ективны, что это нужно учитывать, что «случайности» нужно понимать как факты, которые «возникают из внешнего (в гегелевском понимании) столкновения обстоятельств (сов-падение, ин-цидент) и потому имеют характер единичных фактов, не отражающихся на общем ходе, скажем, исторического развития». У т. Разумовского в главе «Отправные предпосылки методологии познания» ни слова об этом нет. Теперь он указывает мне параграф, где говорится о роли личности в истории и где он приводит всем известную цитату из Энгельса по данному вопросу, а также цитату из письма Маркса к Кугельману от 1871 г. В чем же дело? Я, отправляясь от конкретного высказывания Энгельса, выдвигаю общее методологическое положение, перешедшее в марксизм от Гегеля; т. Разумовский по частному поводу вспомнил цитату из Энгельса, но в своих методологических главах забыл о ней; в методологии т. Разумовского «нет места» случайности, как об'ективной категории,—об этом я и говорил. Сейчас ему уже мало этого: т. Луппол говорит, что случайности не отражаются на общем ходе исторического развития, а вот Маркс писал, «что история имела бы очень мистический характер, если бы случайности не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, составной частью в общий ход развития, и т. д.». В чем, спрошу опять, дело? Настаивая на об'ективности случайностей, я как раз и утверждал, что они «входят составной частью в общий ход развития», о них нельзя сказать, что они не играют «никакой роли». Ведь т. Разумовский не какой-либо непонятливый рецензент, и даже не студент! Но я, исходя из Гегеля и Энгельса, говорил, что случайности, входя в исторический процесс, не отражаются на его общем ходе. Кстати сказать, т. Разумовский в цитате из Маркса поставил «и т. д.» в самом интересном в данном случае месте; приведенная фраза гласит: «эти случайности входят, конечно, сами составной частью в общий ход исторического развития, уравновешиваясь другими случайностями». Итак «случайности» об'ективны, они играют роль,

но на общем ходе, общей тенденции исторического процесса не отражаются, уравновешиваясь другими случайностями.

По вопросу о понимании диалектического материализма и материалистической диалектики, путаного и надуманного разграничения т. Разумовским этих искусственно обособленных понятий, автор учебника говорит, что он «в значительной мере разделяет воззрения своего рецензента», но тогда и говорить нужно прямо; между тем в письме не меньше путаницы, чем в самом учебнике для студентов (а не для рецензента). У т. Разумовского так много определений и схоластических «различений», что он может взять со страниц учебника любое, нужное в данный момент, чтобы доказать свою правоту. Он, видите ли, не пытается трактовать предпосылки марксизма вообще. Напротив,—пишет он,—я указываю, что диалектический материализм может пониматься и понимается обычно марксистской философией не только в узком значении «теории познания» (гносеология), но и... как философские предпосылки марксизма вообще»; это будет в том случае (см. стр. 56 книги т. Разумовского), если к теории познания прибавить материалистическую диалектику. Таким образом, как пишет т. Разумовский, диалектический материализм в широком его значении включает в себя и теорию познания и материалистическую диалектику. Запомним это: диалектический материализм есть теория познания плюс диалектика. Следующая же фраза в учебнике (стр. 57) говорит о том, что диалектика включает в себя теорию познания. Следующая за этой фраза буквально гласит: «Таким образом марксистская гносеология (т.-е. теория познания. *И. Л.*) и диалектическая методология (т.-е. диалектика. *И. Л.*) в своей совокупности и составляют теорию познания в широком смысле, философию марксизма». Значит теория познания поглотила диалектику, т. Разумовский сетует на меня, что я нашел у него какой-то «узкий смысл» диалектического материализма. Но как же его не найти, когда на протяжении одной страницы так и пестрят «широкие смыслы» и «узкие значения» диалектического материализма, философии марксизма, теории познания и т. п. Не только непонятливый рецензент, но и всякий здравомыслящий студент найдет здесь не только «узкий смысл» т. Разумовского, но, прежде всего, необычайную никчемную путаницу.

Далее относительно «мининской» схемы: религия, философия и наука, а по выражению т. Разумовского, «по-просту буржуазной контовщины», совсем не гладко вышло в письме. По собственному признанию автора учебника, у него была мысль «отнюдь не о смене трех периодов, но лишь о хронологической последовательности, в которой исторически отдифференцировываются... религия, философия, опытная наука». Во-первых, на стр. 179 учебника весьма недвусмысленно сказано: религия и сменяющая ее в определенный период философия, представляют из себя первые ступени, наука же завершает и т. д. Не ясно ли отсюда, что нам пора уже отказаться от философии и перейти к науке, которая «завершает». Правда, это будет по Разумовскому, а не по Энгельсу и Ленину. Впрочем, мы забыли, что автор учебника признается в «неудачном выражении». Действительно, «хронологическая последовательность» религии, философии и науки,—куда как удачнее простой смены! В древней

Греции, напр., у ионийцев философия уже «исторически отдифференцировалась», а наука еще «хронологически не воспоследовала» за философией; религия же древних греков отдифференцировалась в своей классической форме, очевидно, значительно раньше философии? Так же, надо думать, обстояло дело, согласно схеме т. Разумовского, и в Египте, и в Китае? Право, т. Разумовский, «хронологическая последовательность», это ведь и есть, как вы говорите, «буржуазная контовщина»; приготовьте третий вариант ко второму изданию учебника, а то не уберечься вам от этих рецензентов.

Примерно, та же картина и с перечислениями «признаков» общества. Разница в том, что здесь мы имеем дело не с хронологической, а с логической последовательностью. У т. Разумовского три абзаца посвящены этому вопросу. В первом говорится: «Наиболее важным элементом общественной жизни... являются... люди»; второй начинается так: «с этим конститутивным признаком общества тесно связан другой, так сказать, социально-психологический его признак». В третьем абзаце говорится: «Наконец, третий важный признак общества, как целого—признак экономический». Теперь т. Разумовский пишет, что «в качестве конститутивного (основного!) признака» у него фигурируют «общественные отношения». Стало быть, основным признаком общества являются общественные отношения,—мало вразумительно; т. Разумовский переходит к социально-психологическому признаку, чтобы от него прийти, наконец, к процессу производства; это «также важный характерный признак всякой научно-изучаемой (почему только научно-изучаемой?) формы общества» (стр. 103). Эту «логическую последовательность» т. Разумовский об'ясняет тем, что если бы он начал с достаточно известного ему марксова определения общества (как совокупности производственных отношений), то он впал бы в circulus vitiosus (порочный круг). Странно, ни Маркс, ни Ленин не впадали в порочный круг, идя таким путем, т. же Разумовский полагает, что не «впасть» в него нельзя.

Наконец, самый страшный «жупел», которым я его пугаю в статье и от которого он пытается всячески отгородиться, это—им самим сформулированная в качестве «спасательного пузыря» для марксизма теория «взаимного отражения отношений», как «внутреннего смысла причинной связи». Для читателя, внимательно пробежавшего мою статью, совершенно ясно, что об'яснения т. Разумовского нисколько не меняют дела. Он совершенно недвусмысленно писал (после того как признал «ненаучной» марксистское понимание причины): «причинная связь явлений в более детальном рассмотрении выступает как цепь отношений, взаимно обусловливающих одни другие и взаимно отражающиеся одни в других» (стр. 23). В письме же т. Разумовский заявляет, что имел в виду не конкретную «причинность», не отношение причины и следствия, а связь в более широком смысле слова», именно он хотел выявить «одновременно» и ту, в известных пределах обратную зависимость, в какой причина стоит от своего следствия»; для этого он прибег к гегелевским категориям «существенного отношения». Во-первых, отметим терминологическую путаницу у т. Разумовского, нетерпимую в философских рассуждениях. Причина про-

тивопоставляется действию, следствию же можно противополагать основание, а не причину; а это не одно и то же, как признал и сам т. Разумовский по вопросу о Лейбнице. Во-вторых, в таком вопросе, как «причинность», нельзя одновременно выяснять две вещи, как неудачно пытался сделать т. Разумовский; в-третьих, «взаимное отражение отношений» выражает, очевидно, больше, чем обратную, в известных пределах (как говорит сам автор) зависимости причины от действия. В-четвертых, беда т. Разумовского заключается в том, что он, отказавшись от понятия причины (а следовательно, и причинности!), видит истину причинной связи явлений во взаимодействии, т.-е. он через причинность идет к взаимодействию, как «связи в более широком смысле», в то время, как марксисты через взаимодействие приходят к причинности; тов. Разумовский, думая, что он идет не так, как Гегель, повторяет в этом его путь. Энгельс говорил, что все находится во взаимодействии, но, извлекая из «хаоса» взаимодействия два явления, мы видим, что одно из них неизбежно выступает как причина, а другое как действие. В этом вся суть. В конце соответствующего абзаца письма т. Разумовский вовсе выдает себе testimonium paupertatis (свидетельство о бедности). Он пишет: «не выяснить, что такое причинность... но показать особенности научного аппарата, исходящего из закономерностей, имел целью весь означенный параграф». Таким образом автор учебника по историческому материализму, по его словам, не ставил себе целью выяснить, что такое причина и причинность. Он, видите ли, хотел только показать «особенности научного аппарата». Прежде всего неверно, будто т. Разумовский не хотел выяснить, что такое причинность; именно ради этого он и писал соответствующий параграф, это ясно для всякого читателя его книжки. Во всем соответствующем месте письма т. Разумовский преуспел только в одном: он действительно показал «особенности своего научного аппарата».

На этом я кончаю, ибо не останавливаться же еще раз на заключительной блестящей остроте автора письма, блестящей прежде всего потому, что она плоска.

И. Луппол

БИБЛИОГРАФИЯ.

III Ленинский Сборник. Институт Ленина при ЦК РКП(б), под редакцией Л. Б. Каменева. Стр. 586, цена 4 руб.

Бесспорно, что на-ряду с «Собранием сочинений» Ленинские сборники представляют собой важнейшее из всего опубликованного до сих пор для понимания учения Ленина, его развития и роли в истории рабочего движения. III Ленинский сборник в этом отношении так же богат, как и предыдущие. Самым значительным в нем являются: 1) внутриредакционная переписка «Искры» и «Зари» в период с октября 1900 г. по май—июнь 1902 г., главным образом связанная с статьей В. И. «Аграрная программа русской с.-д.» и 2) наброски плана брошюры «О диктатуре пролетариата». Начнем с первого.

Переписка дает прежде всего решающий материал для определения генезиса идей Ленина, впоследствии блестяще развитых и оправданных в двух революциях, для выяснения того, что уже тогда вносил он нового в понимание путей и задач рабочего движения. В нашей литературе последнее время делаются неустанные попытки изобразить Ленина в раннии период как простого ученика Плеханова, остававшегося верным самому себе и в то время, когда Плеханов перестал быть Плехановым. Было бы величайшей исторической несправедливостью недооценивать роль Плеханова в истории и русского и международного рабочего движения. Его уничтожающая критика народничества, идея русской рабочей революции и блестящая защита материализма навсегда вошли в железный инвентарь пролетарской революции и в этом отношении Плеханов стоит выше и апологетов и хулителей, если только среди марксистов таковые действительно имеются. Но было бы непростительной исторической аберрацией и политической ошибкой за всем этим не видеть того, что было в Плеханове далекого от живой практики классовой борьбы, в чем он ошибался даже в зените своей революционной позиции. После Ленина быть плехановцем в ортодоксальном смысле этого слова, означало стоять за вчерашний день, пройденную ступень в истории. Яснее всего это понимал сам Плеханов не только тогда, когда говорил, что еще в 90-х г.г. было два типа отношения к либералам: Бельтовское и Тулинское, но и тогда, когда писал Ленину после программных споров, в примирительном письме, что, будучи из всей редакции «Искры» ближе всего к Ленину (так и было на II с'езде), при 75% единомыслия между ними оставалось 25% разномыслия (130). Эти 25%, к несчастью, для Плеханова, с течением времени не уменьшались, а увеличивались.

В чем же заключались эти 25% разномыслия? Основное (как то видел и сам Плеханов—что мы отмечали уже выше), основное было в отношении к либералам и в анализе движущих сил будущей революции. Эти 25% весили достаточно много.

Плеханов был бесспорно одной из самых светлых и самых революционных (что в полемике с Бернштейном и приближало его к Розе) голов II Интернационала. Плеханов-революционер—весь в одном из советов, в письме Ленину: «Werther Genosse, не щадите наших политических врагов: они не пощадят вас. По ком-нибудь из нас придется панихиду петь, как говорит купец Калашников: наша борьба есть борьба на смерть; давите голову змеи, пока можете давить ее» (214). Но Плеханов был человеком, оторванным от практических потребностей растущего рабочего движения, от конкретных условий политической борьбы в России. Для него все еще «Заря» заслоняла «Искру» (см. замечательные «Воспоминания» Н. К. Крупской, стр. 37). Он не видел, как облечь свою гениальную, но отвлеченную формулу о победе русской революции, как рабочей революции, в плоть и кровь нарастающего движения. Союзником пролетариата в борьбе с самодержавием ему все еще мерещился старый, добропорядочный либерал, которого важно не отпугнуть от социал-демократии, на которого главная надежда в предстоящей буржуазно-демократической революции. Плеханов не видел нового либерала, связанного одинаково и самодержавием и трусостью перед рабочим движением, олицетворением и знаменосцем которого являлся Струве. Он глубоко презирал Струве, блестяще теоретически «разделывал его под орех», но не умел политически оценить эту знаменательную фигуру. Ленин в этом отношении еще тогда глубже понимал и политическую обстановку в России, и характер сил, движущих ее к революции. Плеханов настаивал на том, чтобы «не ругать либерала вообще», а апеллировать от плохого либерала к либералу хорошему» (203). Он настаивал на том, чтобы Ленин говорил с либералом не как с врагом, а как с союзником, хотя бы только и в возможности (204). Отсюда, отстаивая теоретическую непримиримость «Зари», Плеханов был склонен осудить чрезмерный демократизм «Искры», понемногу завоевавшей роль **политического** вождя грядущей революции (400, ср. стр. 129).

С наибольшей ясностью это сказалось в дискуссии, возникшей между Плехановым, вместе с отсталой частью редакции, и Лениным по поводу рукописи В. И. «Аграрная программа русской с.-д.». Совершенно неверно было бы видеть центр тяжести спора в том, что Ленин ограничительно понимал требование возвращения отрезков, так как он сам на этом не настаивал. Корень дела лежал, как это и было подтверждено последующими событиями, в дискуссии вокруг выдвинутой Лениным допустимости требования национализации земли. Ориентируясь на хорошего либерала, как на союзника в грядущей революции, Плеханов, естественно, видел в национализации земли лишь часть более широкого вопроса о национализации всех вообще средств производства и обращения продуктов. Он боялся, как бы национализация земли не усилила еще более полицейское государство (434 — 435). Он не понимал ни утопичности этой опасности, ни той огромной роли, которую лозунг национализации мог бы иметь в соответствующий момент для революционизирования крестьянства. Уже тогда Ленин чувствовал, что союзником пролетариата в буржуазно-демократической революции будет **не либеральная** буржуазия, а мелко-буржуазная крестьянская **демократия**. Ленин именно на этом настаивал, и это было то величайшее, что он внес в стратегию борьбы пролетариата за гегемонию в революции.

Обратной стороной медали того же было требование более ясного понимания природы социального слоя, с которым предстояло объеди-

ниться в революционной борьбе, требование тем более ясного понимания двойствености роли мелкого производителя. Отсюда же вытекало и глубокое понимание Лениным значения лозунга борьбы «за республику», отсюда же важнейшие определения классовой природы крестьянства и ряд других замечаний, дающих в зародыше то, что во весь рост было развито в «Двух тактиках».

* * *

Мы должны еще остановиться на наброске плана брошюры. «О диктатуре пролетариата». Это совершенно незаменимое добавление к «Государству и революции» и брошюре о продналоге. Здесь мастерская Ленина — пролетарского политика и диалектика. Что такое диктатура пролетариата? Это продолжение классовой борьбы, но в иной форме. Поскольку существуют классы—неизбежно существует классовая борьба, но формы ее различны. Диктатура пролетариата, однако, такая форма, которая приводит к изменению самой сущности, к уничтожению классов, которая ведет от капитализма к социализму. Пролетариат — диктаторствующий, господствующий класс. Только он один. Господство исключает свободу и равенство. Реальные шаги к свободе и равенству лишь те, которые ведут не к их формальному, «туманно-мечтательному» возвещению, а к уничтожению классов, основы всякого неравенства и рабства. Господствует пролетариат, но не пролетариат in abstracto, а пролетариат в XX веке, после империалистической войны, в известной части зараженный империализмом и мелкой буржуазией. Для его господства необходим поэтому раскол с зараженной верхушкой, ибо 50% зараженного пролетариата меньше, чем 20% подлинного, стоящего на своей классовой точке зрения. Это есть единственно революционная, диалектическая точка зрения против эклектической, как подчеркивает Ленин. Только диалектическая точка зрения обеспечивает верную пролетарскую политику. «Диктатура пролетариата есть диктатура революционных элементов эксплоатируемого класса». Пролетарская демократия есть решение не путем механического голосования, а решение против эксплоататоров и «вопреки колеблющимся»—классовой борьбой и гражданской войной против эксплоататоров. Господство исключает свободу и равенство. Государство лишь орудие пролетариата в его классовой борьбе, особая дубинка, и ничего более. Но задача господства есть вместе с тем и задача руководства со стороны пролетариата всеми трудящимися. Это—тоже борьба, но опять-таки особого рода, в которой насилие сочетается с убеждением. В связи с этим—двойственная природа крестьянина и задача воздействия на него убеждением, примером, обучением опыту, пресечением уклонений насилием и т. д.

Таково вкратце общее содержание набросков, которые, очевидно, лежат в основе ленинского учения о диктатуре и демократии в переходный от капитализма к социализму период.

Из остального материала для нашего читателя необходимо отметить 10 вопросов, написанных В. И. для представления референту И. Ф. Дубровинским (Иннокентием), выступающим по докладу А. Луначарского в 1908 г. Вопросы эти четко формулируют основные тезисы материалистической философии марксизма, подробно развитые в «Материализме и эмпириокритицизме». Кроме того, в сборнике напечатаны ранние статьи В. И. для № 3 «Рабочей Газеты» в 1899 г., письма В. И. Розе Люксембург, Лео Тышке и Ю. Карскому (Мархлевскому), тезисы, письма и наброски к программе по национальному вопросу, пять новых писем к Горькому и т. д. Жаль, что книга так дорога. Без нее, хотя бы в отдельных частях, не обойтись никому из тех сотен

тысяч, которые сейчас изучают ленинизм и которые одним своим появлением свидетельствуют, какой огромный реальный шаг к социализму совершен уже в условиях пролетарской диктатуры.

Ник. Карев.

Керженцев. Ленинизм (Введение в изучение ленинизма).

За последние месяцы мы имели ряд работ о ленинизме. Одни из них были посвящены основам ленинизма (Сталин, Сафаров), другие претендовали на роль введения (Шелавин). Книга тов. Керженцева является введением к изучению ленинизма. Она не мудрит, не создает Америк в интерпретации ленинизма, но во всем основном тов. Керженцев выполнил свою задачу превосходно.

Нам хочется оттенить лишь ряд частных моментов, ряд частных недостатков, которые все же необходимо устранить. Прежде всего, заметию, что тов. Керженцев тщательно проработал лишь эпоху 1905—1907 г.г. и период после 1917 г. Глубоко поучительная, историческая борьба большевизма с отзовизмом, первый опыт отступления в 1907—1910 г.г. остался совершенно не использованным у т. Керженцева. Это заметно во всех почти главах. Разве можно найти у Ленина более блестящие примеры реализма в политике, чем в его борьбе с левой фразой в 1908—1910 г.г. Тов. же Керженцев не использовывает ленинских статей в XI т. и вместо этого отсылает читателя к тем статьям, где Ленин предлагает изучать фракционную борьбу. Этот недочет в книге тов. Керженцева особо сказывается на всей 3 главе — «Борьба с оппортунизмом». Автор оперирует материалом исключительно до 1906 г. Это тем более странно, что нельзя дать правильной картины ленинских взглядов на меньшевизм и оценить историческую борьбу с оппортунизмом, если мы выбросим за борт эпоху 1907—1914 г.г., когда собственно и окреп меньшевизм. То же самое с эсерами. Когда Ленин в «Детской болезни левизны» писал, что большевизм не смог бы победить, если бы не вел ожесточенную борьбу с русской разновидностью анархизма—эсерами, то имел в виду не только предреволюционную эпоху, но и период реакции, когда часть большевиков—отзовисты—поддалась эсеровской фразе по целому ряду тактических вопросов и подошла к эсерам. Глава «Борьба с оппортунизмом» центром тяжести должна иметь не эпоху до 1906 г., а как раз эпоху после 1906 г. Керженцев же прошел совсем мимо последней.

Тот же недостаток можно проследить на 7 главе—«Тактика ленинизма». В этой главе есть специальный пункт—«Тактика отступления». Казалось бы, чего лучше пояснить ее эпохой реакции. Автор же отделывается от нее ссылкой на «Детскую болезнь левизны». Если бы тов. Керженцев не использовал опыт этого периода, он смог бы путем обобщения тактики отступления в 1908—1910 г.г., 1918 и 1921 г.г. дать целый ряд весьма поучительных выводов, которые напрашиваются сами собой. В той же главе можно было бы прекрасно пояснить, как Ленин диалектически подходит к вопросу о формах борьбы, показав, как он боролся с лозунгом вооруженного восстания в 1908—1910 г.г., которые пытались выставить некоторые несуразно-левые большевики.

Из более мелких недочетов или дополнений, которые нужно исправить или сделать, нужно указать следующее:

1. Необходимо пополнить пункт об эсерах, как русской разновидности анархизма, полемикой Ленина с ними по вопросу об участии в Гос.

Думе, где он показывает, что их лозунги—есть лозунги взбесившегося мелкого буржуа, где он показывает, что у эсеров нет серьезного анализа событий, а есть — истерия. Статьи в обеих книгах XI тома дадут в этом отношении богатый материал.

2. В 4 главе тов. Керженцев пересаливает, когда пишет, что в 1905 г. Ленин писал, что «лозунг "Учредительное Собрание" стал уже лозунгом монархической буржуазии, лозунгом сделки между буржуазией и царизмом» (курс. наш. 66 стр.). Мы не знаем, откуда тов. Керженцев вычитал подобные утверждения. Ничего подобного Ленин тогда не мог говорить. Ленин говорил лишь, что лозунг Учредительного Собрания без лозунга революционного свержения самодержавия недостаточен.

3. Было весьма кстати иллюстрировать диалектический подход Ленина к вопросу о формах борьбы (см. 116—11 стр.) его статьей «Революция учит» (VI т.), где он показывает, какие этапы прошел лозунг вооруженного восстания в период 1897—1905 г.г.

4. В VIII главе следовало бы показать, в какой мере до войны Ленин уже представлял себе степень перерождения II Интернационала. Этот момент особенно важен после той полемики, которая была весной прошлого года на страницах «Правды».

5. Отдел социалистического строительства разработан недостаточно. В связи же с тем, что и в специальных работах он почти не освещен, автору следовало бы дать более полное введение.

Вообще же можно не сомневаться, что исключительно делевая книга тов. Керженцева окажет незаменимую пользу в деле пропаганды ленинизма.

Н. Сибирский.

Ренэ Декарт. Рассуждение о методе для руководства разума и отыскания истины в науках. Перевод и предисловие Г. Тымянского. «Новая Москва». 1925 г. Стр. 113.

Вряд ли нужно доказывать желательность появления у нас переводов классиков философской мысли. Литература, посвященная классикам мысли, не может заменить оригинальных произведений самих философов. Самое большее, на что могут рассчитывать монографии, курсы и статьи по истории философии, это—помочь читателю разобраться в системе того или другого философа, облегчить изучение его. Хрестоматии с отрывками из философских произведений дают возможность ознакомиться с отдельными местами из произведений, но не исключают, а скорее предполагают издание тех же самых произведений в полном виде.

В последнее время у нас стали переводить и издавать классические произведения философов-материалистов, и это, несомненно, является весьма отрадным событием. Но эти философы имели свою историю, своих предшественников, своих противников—современников. Поэтому при изучении истории материализма необходимо вовлекать в поле зрения и иные философские учения. В частности, всякий, кто будет изучать историю материализма нового времени, должен будет надолго задержаться на фигуре Р. Декарта.

Один из двух родоначальников новой философии, Р. Декарт был фактическим учителем Б. Спинозы. Картезианская физика своим материалистическим духом оказала сильное влияние на французских материалистов XVIII века. И если сам Декарт в области метафизики оставался дуалистом, а в области теории познания был рационалистом,

то эти черты не должны закрывать от нас его положительные стороны: разрыв со схоластикой, искание новых путей мышления, заслуги перед аналитической геометрией и т. д. Все это заставляет признать крайне желательным издание некоторых работ Декарта на русском языке.

Нужно сказать, что в этом отношении Декарту посчастливилось больше, чем другим философам, в частности, конечно, больше, чем материалистам. Его «Метафизические размышления» были изданы в 1901 году. «Основные начала» (в сокращении) и некоторые другие произведения вышли в Казани в качестве т. I избранных сочинений (дальнейшие тома не появлялись). Наконец, его знаменитое «Discours de la methode» было издано по-русски уже два раза: в 1873 г. в Воронеже в переводе М. Скиады и в 1886 г. в переводе проф. Н. Любимова с его же обширнейшими пояснениями. Но первой книжки теперь вовсе не найти, вторая также стала библиографической редкостью. Поэтому необходимо всячески приветствовать появление нового перевода Г. Тымянского.

Перевод выполнен с юбилейного издания Ш. Адама и П. Таннери. В основу положен первоначальный французский текст, в примечаниях же приводятся разночтения современного Декарту и просмотренного им самим латинского перевода. Тщательный перевод достаточно хорошо передает стиль подлинника—спокойно развивающееся рассуждение. В общем перевод относительно читается не труднее подлинника.

Переводу предпослано предисловие Г. Тымянского, ставящее себе целью выяснить место Декарта в истории философии, некоторые пункты его метафизики и соотношение картезианства и диалектического материализма. К сожалению, с рядом положений автора предисловия никак нельзя согласиться. Г. Тымянский хочет разделить Декарта пополам: с одной стороны, он—«бесстрашный философ-революционер», а с другой—«трусливый человек», при чем этот трусливый человек заставляет философа-революционера писать слово «бог» там, где нужно было бы написать «природа», «глубокую истину, но еретическую мысль» (бытие внешнего мира) облекать «в схоластические формы», чем был дан повод видеть у Декарта повторение онтологического доказательства бытия божия. С точки зрения т. Тымянского, «принцип дуализма Декарта не является органической частью его системы, а составляет, быть может, маску, за которой философ скрыл свои еретические мысли».

По нашему мнению, несколько таких положений, сводящихся к тому, чтобы уверить, что лично Декарт был чистым материалистом, выдвинуты автором недостаточно предположительно. Возможно, конечно, что опасения и страхи Декарта перед преследованиями заставили его пойти на больший компромисс с католической церковью, чем того хотелось. Но это лишь догадки, и выводы из догадок никак не могут послужить базой для историка философии. Да и какое значение имел бы тот факт, что Декарт «в душе» был иным, чем в своих произведениях? Для биографа это еще представляет известный интерес. Историку же философии приходится брать мыслителя в связи высказанных им идей, а не его сокровенных и никому не поведанных мыслей.

Высказывания Декарта достаточно ясны и определенны. Декартовскую врожденную идею о боге толковать как идею о зависимости человека от природы, это значит выдать очень большой вексель на обоснование своей мысли. Такого обоснования т. Тымянский не дает. Это же соображение относится и к мнению т. Тымянского о том, что декартовское cogito ergo sum не является центральной идеей рассуждения. Дело, быть может, и не в центральности, а в том, что

ни субстанциональности души, ни онтологического доказательства, ни принципа врожденных идей нельзя выбросить из картезианства, как определенного исторического направления философской мысли.

В конце предисловия т. Тымянский тоже идет «на компромисс»: «Все же нужно согласиться, что философскую систему следует рассматривать не с точки зрения суб'ективных мнений автора, а об'ективного значения его философии». Вот это—правильная постановка вопроса. Совершенно не нужны усилия сделать из исторического Декарта полного материалиста. Крупная историческая роль остается и за Декартом—дуалистом и рационалистом: без него не было бы Спинозы, не было бы и французских материалистов.

Раз'яснения и толкования т. Тымянского методологической, в собственном смысле, стороны учения Декарта, приемлемы и способны помочь читателю уяснить содержание—Discours'а.

В настоящей краткой заметке нам хотелось бы еще только указать на неправильное отождествление пространства и материи, или даже пространства и природы, которого придерживается т. Тымянский. Это—точка зрения Декарта, а не диалектического материализма, для которого пространство есть форма существования материи.

Во всяком случае, перевод т. Тымянского окажет несомненную пользу при изучении по подлинным произведениям истории материализма нового времени.

И. Луппол.

Конрад Гениш. Фердинанд Лассаль—человек и политик. Пер. с нем. Изд. «Книга». 1925 г.

Прошлогодняя годовщина смерти Ф. Лассаля (1864—1924) и сто лет со дня его рождения (11 апреля 1825—1925) создали новую и весьма пеструю литературу о Лассале. В апреле 1925 г. немецкие газеты всех направлений были заполнены статьями о Лассале и по поводу Лассаля. Во всей этой литературе преобладают, однако, альковные мотивы. Книга К. Гениша в конечном счете не многим отлична от всей литературы подобного рода. Лассаль взят под защиту, как гениальный мещанин. Автор беспрерывно подчеркивает, что его интересует только личность Лассаля, и все время обсуждает его деятельность с точки зрения злободневных интересов германской социал-демократии.

«Лассаль относится к исторической традиции не только германской социал-демократии, но также и всего германского народа»,—таков исходный принцип исторического исследования К. Гениша. Многим ли отличен подход с.-д. Гениша от взглядов д-ра Stoewer, который на страницах «N. Preuss. Kreizzeitung» в статье «Nationale und rojalische Gedanken Ferdinand Lassales» изображает Лассаля националистом и монархистом. Проф. Stoewer зовет избирателей социал-демократов и всех, кому дорога память о Лассале, голосовать за Гинденбурга.

К. Гениш принадлежал к группе самых от'явленных социал-предателей. Это он в 1916 г. в своей книге: «Немецкая социал-демократия в мировой войне и после нее» изобразил тот «мучительный» процесс перерождения социал-демократии, которая, наконец, решилась отбросить интернационалистические предрассудки и «слить свои голоса с могучим и бурным гимном: Германия превыше всего».

Что может нам дать социал-демократ подобного рода? Жалкие маневры буржуазных мотивов.

Вот два исходных момента личной характеристики Лассаля: он еврей и человолюбец. Первая тема занимает особенно Гениша. В Лассале жили

две души: иудейский пророк и еврейский торгаш, еврей сектант и еврей развратник, ростовщик и филантроп, циник и лирик. «И все это, как в бесчисленное множество проявлений иудейской души—все они сконцентрировались в одном Лассале». Нет ничего более пошлого, чем подобные рассуждения и, прежде всего, потому, что они подменяют реального еврея ими выдуманным. Соединяют все изломы и надрывы интеллигентской души в образ еврея, чтобы тем об'яснить человека, который не понятен им, как продукт среды и эпохи. Но «демократическая» личность Лассаля в изображении Гениша приобретает еще ряд особенностей. Лассаль был глубоко противоречивой натурой: сегодня кусок хлеба с водой, завтра лукулловское пиршество, сегодня отшельник, завтра разгул. «Я испытываю такую же жажду отдохнуть в обществе красивых женщин, какую испытывает людоед в человеческом мясе», писал Лассаль своей сестре. Но в то же время «рыцарское отношение в графине Гацфельд». Враг капитализма и спекуляция на железнодорожных акциях. Демократ и аристократ. «Республиканец, мечтающий перед своей возлюбленной о том дне, когда она рядом с ним, при возгласах ликующего народа, в карете, запряженной шестеркой белых лошадей, проследует через Бранденбургские ворота». Пророк «четвертого сословия», у которого из груди вырвались такие изумительные слова: «Среди всеобщего упадка, охватившего на взгляд всякого глубокого знатока истории, все стороны европейской жизни, среди губительной язвы своекорыстия, проникшей во все поры европейского общества, только два элемента оставались великими, свежими и способными к развитию. Эти два элемента—наука и народ, наука и рабочие! Только сочетание их может оплодотворить новой жизнью недра европейского общества». И в то же время презрение к живому пролетарию, аристократическая брезгливость, которая не может не вызвать иногда ответного чувства к Лассалю. «Итак, около 1000 человек во всем нашем союзе! Таковы плоды нашей деятельности! Таковы результаты того, что я исписал себе пальцы и надрезал себе грудь! Эта апатия масс может довести до отчаяния! Такая апатия при наличии громадных в идейном отношении агитационных средств (!). Когда же, наконец, этот тупой народ сбросит с себя эту летаргию?» В этих словах все замечательно: и то, что Лассаль считает себя решающей для судеб рабочего движения агит. силой, и то, что он для рабочего класса смастерил свой союз, и то, что тупой рабочий класс не желает следовать за своим пророком. Это «аристократическое пренебрежение» к рабочему классу самое неприятное в личности Лассаля.

К. Гениш, как и все буржуазные историки, уделяет огромное внимание эпизоду дуэли за Елену фон-Деннигес и защите графини Гацфельд. Но и здесь дело сводится лишь к весьма неразумительным рассуждениям на тему о трагедии личности еврея и плебее, который хотел проникнуть в ряды аристократии. К. Гениш изображает Лассаля в процесс Гацфельд, как рыцаря «в борьбе за право». Дело Гацфельд для Лассаля не было личным делом, это была борьба за новые, справедливые принципы права. Но почему вождь рабочего класса вложил в этот процесс себя целиком, говоря словами Лассаля. Ответа автор не дает. Он ограничивается шаблонными пустячками. А конец Лассаля. «Ах, если бы я мог уйти от политики», писал Лассаль в письме к графине. Для Лассаля теперь все ничто по сравнению с победой над Еленой. «Самое большое несчастье может свершиться и, должно быть, свершается,—писал Лассаль,—ибо решение мое не знает границ. Одно только я знаю: я должен владеть Еленой! Рабочий Союз, политика, наука, тюрьма—

все решительно, все стушевалось во мне—я горю мыслью и желанием,—снова овладеть Еленой». В борьбе за кокотку мобилизованы были король, министры, адвокаты и агенты, но Лассаля уже не было, его сменил усталый и больной человек. Нам памятны слова Маркса, который был возмущен его дуэлью: «как мог политический человек, как он, стреляться с валашским проходимцем!». Ответа читатель не найдет у К. Гениша. Его не дает литература о Лассале. Смешно, когда Гениш, чтобы выгородить Лассаля, вынужден аргументировать «от морали»: Лассаль не обратил внимания на слухи о Швейцере, как гомосексуалисте. Образ Лассаля не нуждается в том, чтобы его изображали добродетельным мещанином!

Мы, конечно, в краткой рецензии не дерзнем решить вопрос о Лассале, как человеке. Но нам кажется необходимым, чтобы марксисты отграничили себя от подобных попыток К. Гениша. В Германии, незаконченной буржуазной революции, в Германии, где буржуазия и ее интеллигенция была трусливым классом, а пролетариат делал только первые шаги; в стране, где нагромождены были государственные границы и управлял юнкер, мог ли родиться в годы общественного пробуждения другой, цельный, связанный с массами, вождь? Его время еще не пришло. Конечно, дело не в этих общих замечаниях. Надо показать, как время и обстановка могли породить рабочего трибуна—аристократа. Этого не дал К. Гениш, да и не мог дать выродившийся социал-демократ.

Вторую задачу, которую поставил себе К. Гениш, и так же выполнил—это дать нам образ Лассаля, как политика. Лассаль был марксистом, но он «должен был сперва перенести на язык философии или права всякое экономическое познание, и лишь после этого он мог его, как следует сам себе уяснить и сделать его понятным для других». Можно было бы принять эту формулу, но следует условиться, что «философский язык, язык права, был той идеалистической оболочкой, в которой скрыто было ядро здоровой марксистской мысли Лассаля. Эта оболочка мешала Лассалю, уродовала его мысли. Эклектизм оставался характерной особенностью его учения.

«Лассаль, как немец»,—такова центральная глава того раздела книги Гениша, где он трактует о Лассале-политике. Уже в исторической драме «Франц фон-Зикинген» Лассаль выступает, как бард единства Германии, того рыцарства, которое наперекор капиталистическому развитию Германии мечтало основать империю, подобно шляхетской Польше. Лассалю чужда была эта оценка Гуттена и Зикингена, он видел в них героев, борцов за свободу немецкого народа. Единство Германии было всепоглощающим принципом его политики. Еще в 1889 г. Лассаль писал: «такой человек, как Фридрих Великий, счел бы этот момент самым подходящим для того, чтобы вторгнуться в Австрию и провозгласить там германскую монархию, предоставив габсбургской династии самой решить вопрос о том, где и как утвердиться ей со своими вне-германскими землями. Снова германская императорская корона валяется на улице. Но поднять ее некому: нельзя же от каждого требовать, чтобы он был Фридрихом Великим. Фридрих II для него король, поднявший восстание, революционер против всех традиций германской империи.

К. Гениш тщательно подчеркивает, что Лассаль развил гегелевскую мысль о прусской миссии. «Гогенцоллерны, по мнению Лассаля, должны были быть для велико-немецкой демократии лишь прислужником и орудием». Национализм Лассаля радует автора статьи в «W. Preuss. Kreuzzeitung» и Гениша: «вместе с Родбертусом, —читаем мы у него, —Лассаль

мечтали о том времени — и они надеялись еще дожить до него,— когда турецкое наследие достанется Германии и немецкие солдаты или рабочие тогда будут стоять у Босфора». Лассаль был, прежде всего, немцем в отличие от Маркса-интернационалиста. Лассаль жертвовал всем во имя единства Германии. Он шел на все во имя единства Германии. Он шел на все во имя обороны отечества. «Правительство может быть уверено в одном,— писал Лассаль,— в войне, которая представляет жизненный интерес не только немецкого народа, но и Пруссии, немецкая демократия сама понесет прусские знамена и все препятствия на своем пути, отшвырнет с той силой, на какую только способна затаенная в течение 50 лет национальная страсть, живущая и клокочущая в сердцах великого народа!» Гениш в восторге, он нашел авторитетное подтверждение своей позиции в 1914 году. Соответствует ли это изображение Лассаля политика, как прусского националиста, действительности. Да! Безусловно, шовинистическая позиция нынешней социал-демократии восходит к Лассалю. Правда, Лассаль жил в эпоху, когда складывалось национально-буржуазное государство, когда пролетариат не порвал еще с буржуазией, социал-демократия действовала и действует в эпоху империализма и крушения буржуазного общества, и пролетариат за своей спиной имеет войну 1917—1918 г.г., международную революцию и т. д. Но этот исторический вывод не обязателен для Гениша.

Лассаль, как политик, выступил с идеей государства «четвертого сословия». Всеобщее избирательное право должно было служить единственным средством борьбы. Для Лассаля важно было разделаться со старым абсолютизмом. «Никакого примирения, никакого тумана, господа! Никакого нового компромисса со старым абсолютизмом, а рукой за горло и коленом на грудь!» Но он согласен был заключить союз с новым абсолютизмом, построенным на всеобщем избирательном праве. Для создания подобной народной монархии, он готов был отдать силы самостоятельного рабочего движения, которое он вызвал к жизни.

В «Программе работников» он об'явил «нравственную идею рабочего сословия». Он провозгласил: «Вы — скала, на которой созиждется церковь настоящего». И в «Гласном ответе» Лассаль обосновал культ государства, которое должно служить рабочему классу. Мыслимо ли, чтобы Маркс воспел подобную оду государству? «Цель государства состоит в том, чтобы путем соединения людей дать им возможность осуществлять такие цели, достигать таких ступеней существования, которые никогда не могут быть достижимы для отдельной личности; дать им возможность приобрести такую сумму просвещения, силы и свободы, какая была бы немыслима для отдельной личности. Цель государства — положительно развивать и неустанно совершенствовать человеческое существо; другими словами — осуществить в действительности назначение человека, то-есть культуру, к которой человеческий род способен; цель государства — воспитание и развитие человечества в направлении к свободе... До сих пор государство по самой природе вещей и в силу обстоятельств служило бессознательно и часто даже вопреки своей воле этой нравственной цели. Но при господстве идеи рабочего сословия государство стало бы служить ей с совершенной ясностью и с полным сознанием. Оно выполняло бы совершенно добровольно и с полнейшей последовательностью то, что до сих пор лишь скудными клочками исторгалось у сопротивляющихся этому, и это необходимо вызвало бы такой расцвет духа, такую сумму счастья, просвещения, благосостояния и свободы, каких еще не видала всемирная история и перед которыми совершенно померкли бы самые блестящие явления прежних времен. Вот, что должно

назвать государственной идеей рабочего сословия... Этому историческому периоду, начавшемуся 24 февраля 1848 года, принадлежит задача осуществить эту государственную идею, и мы можем поздравить себя, что родились в эпоху, которой суждено осуществить это славнейшее историческое деяние, в котором и мы можем принять посильное участие».

Идея государства, как всепоглощающий принцип, всеобщее избирательное право, как самое мощное средство борьбы и производительные ассоциации, как строительство социализма для рабочего класса, таковы политические требования Лассаля.

Чтобы осуществить свои требования, Лассаль обращался ко всем: Август, Александр фон-Гумбольдт, берлинские высшие чины полиции, фон-Мантейфель и принц Пруссии, будущий император Вильгельм I. В поисках личности, которая помогла бы решить вопрос «четвертого сословия», Лассаль обратился к Бисмарку. Гениш правильно отмечает: «Лассаля и Бисмарка сблизила их общая борьба против либерализма, которую Бисмарк вел справа, как Лассаль вел ее слева». С той только поправкой, что для Лассаля, недоверяющего массам, Бисмарк был более солидным союзником, чем либералы. Один другого хотел перехитрить. Бисмарк вынужден был впоследствии сознаться в этих переговорах. «Я был бы рад иметь соседом по имению столь одаренного и столь умного человека», остроумно заметил Бисмарк. Это и только было результатом переговоров Лассаля и железного канцлера. Переговоры эти были последней картой Лассаля, их неудача поставила вождя перед трагическим тупиком. Дуэль была серьезной формой—самоубийства..

Книга Гениша не дает нам ключа к истории жизни и деятельности Лассаля. Это обычный перепев шаблонно буржуазных мотивов. И в тени поэтому остается действительная историческая заслуга Лассаля, отмеченная Марксом: «Лассаль вновь разбудил немецких рабочих,—в этом его бессмертная заслуга».

Ц. Фридлянд.

Новая буржуазная и с.-д. литература о социализме.

(Вопрос о хозяйственном учете в социалистическом строе).

Ludwig Mises, Die Gemeinwirtschaft, Untersucchungen über den Sozialismus, Iena 1922, 503 Seiten.

Его же, Die Wirtschaftsrechnung im Sozialistischen Gemeinwesen (Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Band 47).

Его же, Neue Beiträge zum Problem der Sozialistischen Wirtschaftsrechnung (Arch. f. Sozialw. u. Sozialp., Band 51).

Eduard Heimann, Mehrwert und Gemeinwirtschaft, Kritische und positive Beiträge zur Theorie des Sozialismus, Berlin 1922.

Его же, Sozialisierung (Arch. f. Soziol. u. Sozialp., Band 45).

Karl Polányi, Sozialistische Rechnungslegung (Arch. f. Sozialw u Sozialp., Band 49).

Otto Leichter, Die Wirtschaftsrechnung in der sozialistischen Gesellschaft (Marxstudien, 5 Band, Wien).

Jak. Marschak, Wirtschaftsrechnung und Gemeinwirtschaft (Arch. f. Sozialw. n. Sozialp., Band 51).

H. Herkner, статьи в „Arbeitgeber“, 1923, №№ 3 и 8.

L. Brentano, v.-Marr, L. Heyde и Ch. Leubuscher, статьи в Soziale Praxis“, 1923, №№ 12—25.

„Korrespondenzblatt" des Allg. Deutschen Gewerkschaftsbundes", 1923, №№ 7, 8 и 11.

„Betriebsrätezeitung", 1923, № 3.

Из перечисленной литературы не все было нам доступно, тем не менее мы сочли целесообразным привести ее с возможной полнотой.

Книга Мизеса написана очень громоздко, с максимальным нагромождением гелертерской казуистики, но в сущности не дает ничего нового. Цель ее доказать, что «правоверным марксистам, точно так же как другим, не удалось найти пригодной для социалистического строя системы хозяйственного счета» (Wirtschaftsrechnung). Мы будем в дальнейшем переводить этот термин словами хозяйственный учет. Хозяйственный расчет в том значении, в котором этот термин применяется у нас, не покрывает это понятие, имея в виду только самоокупаемость; плановое хозяйство тоже не тождественно с Wirtschaftsrechnung, для планового хозяйства имеется на немецком свой, такой же термин Planwirtschaft. Быть может, правильнее всего перевести Wirtschaftsrechnung словом калькуляция; этот термин подчеркивает, что речь идет не об определении количества благ, чем занимается хозяйственный учет, но также о счете их стоимости, их «цен».

«Без вольного рынка не могут образовываться цены, а без образования цен не может быть хозяйственного учета»—таково, воистину, не новое положение Мизеса. Для него не стоило ломать копья на продолжении полутысячи страниц. Вместе с Геркнером [1]) Мизес называет тенденции к преодолению свободы конкуренции и вольного рынка «деструкционизмом»; он утверждает, что социалистическое хозяйство лишено возможности не только экономически калькулировать, но вместе с этим и поступать и рассуждать вообще рационально, так как «исторически человеческий рационализм вырос из хозяйства». Сильный табак, как говорят немцы... Социалистическое государство,—говорит Мизес,—может распределять блага по любым принципам, например, в духе «социальной таксы» Шеффле, по правительственному усмотрению; но когда ему приходится при этом сделать одни блага заменимыми другими, оно наталкивается на непреодолимые трудности, лишено всякого критерия, раз нет вольного рынка. Капитализм имеет в своем распоряжении «точную калькуляцию стоимости», социализм—только «неопределенные оценки» (vage schätzungen). Проф. Макс Вебер тоже об'являет проблему хозяйственного учета и калькуляции «безусловно центральной» для социализма.

Мизес ссылается на Каутского (Die proletarische Revolution und ihr Programm), который убедился в неприменимости калькуляции с рабочим временем. «Вместо того, чтоб заниматься безнадежным делом измерения решетом текущей воды,—говорит Каутский,—пролетарский режим должен будет при обращении товаров (!) держаться за то, что находит в конкретном виде: а именно за исторически сложившиеся цены, которые измеряются теперь в золоте, при чем самая широкая инфляция может лишь затуманить и исказить, но не устранить это. Даже самый огромный и самый совершенный статистический аппарат не в состоянии был бы дать оценку товаров по содержащемуся в них труду; но мы находим эту оценку в сложившихся в результате долгого исторического процесса ценах; эта оценка несовершенна и неточна, но

[1]) Проф. Геркнер когда-то держался совсем иных взглядов. Он проделал такой же характерный процесс крайнего поправения, как Вернер Зомбарт.

она является единственно возможной основой для возможно гладкого и легкого дальнейшего функционирования процесса экономической калькуляции». Ясно, что раз здесь дело идет о товарах, то имеется в виду только переходная стадия от капитализма к социализму. Но Мизес не смущается этим и козыряет тем, что Каутский, признавая необходимость изменения цен и цифр продукции некоторых товаров на этой стадии, изменения отнюдь не произвольного, тем не менее не указывает объективных критериев для такого изменения. Против аргументации Лейхтера в венских Marxstudion, построенной на базисе рабочего времени, Мизес выдвигает допотопный аргумент о невозможности подвести к одному знаменателю различные виды труда; он распространяется о том, как понимать слово «важный» при оценке этих последних, в применении ли к потребностям, удовлетворяемым данным продуктом труда, или к самому труду. Мы видим, что «Капитал» Маркса словно не существует для Мизеса. Во всяком случае, Мизес считает недоказанным, что именно в социалистическом строе, без посредства свободного рынка, возможно будет сведение различных видов квалифицированного труда к одному общему (абстрактному) труду. Мизес орудует и другим, столь же допотопным аргументом, тоже давно ликвидированным у Маркса: категорией редкостных товаров, при чем забывает это тем, что во всех товарах имеются кроме труда также вещественные элементы производства (словно Маркс не принимает их во внимание!). На само собою разумеющиеся с марксистской точки зрения возражения Лейхтера Мизес отвечает: пусть Лейхтер назовет мне хотя бы одно экономическое благо, которое не требует хозяйствования (das man nicht bewirtschaften muss)—под этим последним термином Мизес понимает, что в каждом благе имеется элемент редкостности. Таким образом все гелертерские построения Мизеса сводятся к слововерчению и ломятся в открытые двери; ибо никому из марксистов не приходит в голову утверждать, что политическая экономия орудует с даровыми категориями; даже с водной силой приходится, конечно, bewirtschaften, хозяйствовать, все дело лишь в степени, в критерии.

На таких столпах строится провозглашаемое Мизесом с таким самомнением и треском разрушение социализма.

Проф. Макс Вебер (Grundriss der Sozialökonomik, 3. Abt.) различает формальную и материальную рациональность: «эта основная и совершенно неотвратимая иррациональность всякого (!) хозяйства является одним из источников всякой социальной проблематичности и, прежде всего, проблематичности социализма» (стр. 60). Формальная рациональность обусловлена «степенью технически возможного и действительно осуществимого учета», материальная рациональность «зависит от фактического удовлетворения общества», от справедливого снабжения всех его слоев. Согласно Веберу, при капитализме возможна и осуществлена формальная рациональность, при социализме ее место займет рациональность материальная. Отто Лейхтер возражает против этого, что «совершенно неправильно характеризовать социалистическое хозяйство как руководящееся исключительно материальной рациональностью, т.-е. принципами распределения»: в социалистическом строе тоже возможен и необходим, помимо этого, также учет чисто-производственный, он будет даже точнее, чем при капитализме, так как при последнем он имеет целью лишь выяснение частной доходности или убыточности. С.-д. Лейхтер полемизирует также с с.-д. Отто Нейратом и Гильфердингом. У Нейрата проблема планового хозяйства сводится исключительно к натуральному наделению благами,—в этом отношении он как

ы подтверждает Макса Вебера,—он игнорирует проблему учета сырья, полуфабрикатов и пр.; точно так же Гильфердинг («Neue Zeit», 1904*5, стр. 106), заявляя, что в социалистическом обществе возможны будут только такие факты обмена, как, например, обмен ручки на марку на школьной скамье, игнорирует весьма важную проблему хозяйственного учета в социалистическом строе, например, когда фабрика инструментальных машин рассчитывается ими за электрический ток и т. п.; хотя это не будет обменом в капиталистическом смысле, тем не менее здесь придется точно учитывать как трудовую стоимость, так и вещественные факторы производства. Здесь изложение Лейхтера не вполне ясно, оно, видимо, борется с трудностью проблемы и не свободно от противоречий. Гильфердинг,—говорит Лейхтер,—рисует свой «генеральный картель» в таком виде, будто внутри его отдельные предприятия не будут знать разницы между моим и твоим и дело идет не о снабжении ценностями, а просто благами; но Лейхтер спрашивает: «правильно ли, что образование цен вообще невозможно, когда, например, угольная община поставляет материал железной общине»? «Отмена частной собственности на средства производства, — говорит Лейхтер, — далеко не равнозначна отмене денежного хозяйства, т.-е. всякой возможности учета». Тут же Лейхтер цитирует Маркса («К критике политич. экономии»), его опровержение проекта «рабочих денег» Джона Грея из 1831 г., его известный аргумент, что «общественный труд» получается при капитализме только в результате обмена и что у Грея «продукты производятся как товары, но обмениваться должны не как товары». Лейхтер полагает, что Маркс тоже считал рабочие деньги единственно возможным измерителем ценности и при социализме, с той лишь разницей, что эти рабочие деньги или трудовые свидетельства не будут в социалистическом обществе циркулировать как деньги. Сопоставляем с этим слова Каутского: «Как мерило ценности и орудие обращения (?), деньги будут и в социалистическом строе, по крайней мере, до тех пор, пока мы не вступим в благословенный второй фазис коммунизма». Понимать ли под этим «социалистическим строем» Каутского только переходную эпоху? Лейхтер тоже грешит тем, что не отмежевывает этих граней. Утверждение Лейхтера, что в социалистическом обществе не исчезает необходимость денежного расчета между отдельными отраслями производства, приближает его к «гильдейскому социализму»; Лейхтер местами даже сам категорически исходит из этого последнего. Так или иначе, Лейхтер доказывает, что учет себестоимости не только не отпадет, но даже превзойдет капиталистический по своей точности; варьируя известное изречение Клаузевица о войне и политике, Лейхтер заявляет, что социалистический учет в сущности является продолжением методов капиталистического учета, но только с иными целями. Учет есть самоосмысливание хозяйства, капитализм лишь извратил учет. Против Мизеса и его панацеи вольного рынка Лейхтер подчеркивает Марксово положение о фетишизме рынка; он подчеркивает (согласно III тому «Капитала»), что норма прибыли известна уже раньше (до непосредственного появления товара на рынок) и надбавляется уже при калькуляции, т.-е. в каждом отдельном случае определяется не непосредственной игрой рынка; с другой стороны, Лейхтер подчеркивает, что, если при капитализме и его святости «коммерческой тайны» нет других условий для выравнивания конкретных прибылей кроме рынка, то с развитием капитализма производственные тайны становятся общим достоянием, а при социализме и совсем на-лицо будет самый широкий обмен опыта отдельных производств. Лейхтер возражает Мизесу также,

что соотношение между видами труда различной квалификации тоже выявляется не только благодаря рынку и что уже при капитализме для этого имеются другие, свои критерии на самой фабрике.

Аргументация противников Мизеса из буржуазного лагеря носит тоже черты казуистической вымученности и в этом отношении не отличается от самого Мизеса. Маршак выставляет теорию «интервала» цен. Если,—говорит он,—число обменивающихся товарами на рынке не бесконечно велико или если положение их на рынке не одинаково, то цены имеют интервальный характер; интервал становится равным нулю, и цена получается в виде экономически точно определимой цифры только в обоих предельных случаях; вторым пределом является монополия, при чем Маршак не без лукавства спрашивает Мизеса, не считать ли и фактические монополии, на которых построен современный капитализм, «деструкционизмом». Так или иначе, Маршак подчеркивает, что и при капитализме невозможна «точная калькуляция» (Kalkül). Это, однако, не мешает ему говорить об «обманчивой фразе: анархия капиталистического производства».

Гелертерский характер носит также следующее построение: цены «интенсивны», тогда как суждение о стоимости (Werturteil) «экстенсивно»; это должно означать, что последнее в состоянии лишь установить, что одни блага имеют вообще бо́льшую стоимость, чем другие, тогда как цены показывают, во сколько раз она больше, дают определенные цифровые величины. Любопытно, что Парето («Manuel d'Economie politique», 1909 г.), как указывает Маршак, доказывает, что и при оперировании с этими «экстенсивными» (т.-е. не цифровыми) величинами может быть установлено равновесие. Это ли не типичное гелертерство, не головоломные дебри казуистики?

Однако за всей этой хитрой механикой кроется весьма прозаическое «копыто дьявола». «Разум одного человека,—говорит Мизес,—даже будь он самый гениальный, слишком слаб, чтобы охватить важность каждого отдельного из бесконечно многих благ высшего порядка». Здесь Мизес обнаруживает самый вульгарный суб'ективизм в экономике и попутно делает сальто-мортале в сторону благ «высшего порядка». Оказывается, что речь идет уже не о свободном рынке вообще, а о рынке благ высшего порядка. При чем, по щучьему веленню, эти последние превращаются в орудия производства. «Так как в строе, отменившем частную собственность на орудия производства, нет рынка для благ высшего порядка, то социалистическое общество должно упразднить оценку (Bewertung) средств производства». Мизес, как видим, пробует сначала выехать на категории редкости, а это значит на продуктах, ограниченных самой природой, а затем ударяется в диаметрально противоположную крайность: орудия производства, как блага высшего порядка. Не мытьем, так катаньем.

Хорош и оппонент Мизеса из буржуазного лагеря, Маршак. На почве чистой теории,—говорит он,—проблема цен, вышеупомянутого «интервала», не разрешима; она разрешима только на почве социальных фактов, поэтому необходима система «внеэкономических факторов» образования цен. Но «в проблеме экономика и сила и Марксу не удалось занять совершенно ясную позицию» (?). В доказательство Маршак ссылается на то, что Маркс в противоречии (?)' с его позицией по отношению к Прудону в «Нищете философии» заявляет в докладе на генеральном совете Интернационала 26 июня 1865 г. («Наемный труд и капитал»), что вопрос о величине заработной платы сводится к вопросу

о мировых силах обеих борющихся сторон. Маршак видит в этом доказательство, что «теория стоимости Маркса не ведет к действительному (eindeutiges) равновесию», что она, мол, вообще не устанавливает минимального предела предпринимательской прибыли, а говорит только о максимальном пределе в связи с физическим максимумом рабочего дня и величиной заработной платы. Чем это противоречит закону трудовой стоимости, наш критик не выясняет. По поводу «внеэкономических» факторов Маршак вдается в юридические тонкости относительно третейского, арбитражного судопроизводства, применяя их к вопросам о коллективном тарифном договоре и т. п. При этом он упускает из виду, что в конечном счете в основе примирительных камер лежит именно экономический, а не «внеэкономический» фактор, а в основе экономического фактора, в свою очередь, скажется—именно закон трудовой стоимости.

Карл Поланьи, подчеркивая, что «вопрос о хозяйственном учете всюду признается решающей проблемой и ключем (Schlüsselproblem) социалистического хозяйства», считает эту проблему неразрешимой в централью управляемом хозяйстве, но предлагает «функционально организованное переходное социалистическое хозяйство», своего рода «федерацию» разных отраслей производства. Его схема—это тот же английский «гильдейский социализм». Мизес называет ее «синдикализмом» и утверждает, что между политическим парламентом, как центральной инстанцией, и экономическим парламентом из профсоюзов могут возникнуть противоречия, которые нельзя уладить никакими совместными комиссиями; если решающее слово в последних будет принадлежать центру, то перед нами централью управляемое хозяйство, а если оно будет принадлежать профсоюзам, то перед нами не социализм, а синдикализм, при чем отдельные профсоюзы, обмениваясь своими продуктами, создают рынок и рыночные цены, несовместимые с социализмом. Маршак возражает: «Рынок и парламент—какое противоречие! А между тем, разве за последние годы, при обсуждении налогового компромисса или хлебной разверстки, мы не видели, как это противоречие улетучивается, разве нам не приходилось с болью и даже с ужасом констатировать намечающееся слияние обеих форм!». Эта попутная проблема, на наш взгляд, представляет как практический, так и теоретический интерес. Еще до мировой войны австрийский парламент называли luogo di traffico, лавочкой, а в германском рейхстаге тоже нередко прохаживались насчет происходящего в нем Kuhhandel, торга между партиями; после войны становится одно время весьма популярной идея «экономического парламента», она всплывает в Германии при создании имперского совета, с ней носится в Италии фашизм. Итак, не парламент, а биржа?! Поскольку тресты и другие монопольные организации капитализма влияют через парламент (по вопросам о протекционизме и т. п.) косвенно, а подчас и прямо на образование цен, и в буржуазном строе не всегда возможно провести грань между чисто-экономическим учетом и «внеэкономическими» факторами. По Маршаку, монопольные организации суживают «интервал» цен, сближают оба предела, и точно то же происходит при установлении цен профсоюзами в «синдикализме» Мизеса, в гильдейском социализме или в переходную эпоху. Это, во всяком случае, не просто «распоряжение благами по усмотрению центра», не «внеэкономический» фактор, а содержит элементы рыночного учета и образования цен. Маршак ссылается на очень характерный вывод вышецитированного экономиста, представителя математической школы, Парето: «Чистая политическая экономия не дает нам действительно решающего критерия для выбора между общественным строем, основанным на

частной собственности, и социалистическим строем. Решить эту проблему можно только в связи с другой стороной явлений».

Утверждая, что центральная инстанция регулирует хозяйство непременно только «начальственными распоряжениями» и не имеет никакого масштаба для счета, калькуляции, раз нет рынка, Мизес остается голословен, ибо где же доказательство, что эта центральная инстанция обязательно должна игнорировать отдельные отрасли производства в своем общем плане, а не строить последний именно на взаимоотношении этих отраслей? (При чем понятие отрасли производства допускает богатую градацию). Почему ориентирующий масштаб возможен только при свободной игре рынка и не возможен учет при социализме—Мизес не доказал. И если даже не верно положение Поланьи и Геймана, отчасти также Лейхтера, что взаимоотношения между различными отраслями производства будут чисто рыночными, то отсюда весьма еще далеко до столь легкомысленно рисуемых Мизесом легкомысленных «начальственных распоряжений». Мизес нисколько не доказал, что пропасть между обеими крайностями не может быть заполнена на деле даже очень считающей и калькулирующей центральной инстанцией. Мизес подчеркивает, что цены образуются только при конкуренции, что последняя имеется только тогда, когда каждый производит то, что считает наиболее для себя доходным; при плановом хозяйстве отдельным инстанциям «начальство п р е д п и с ы в а е т (!) определенные области, из которых они не могут выйти», оно дает также обязательные директивы насчет помещения нового капитала и т. д. Уже не говоря о том, что соображения частной доходности не покрывают собой понятия учета и могут даже извращать его, Мизес упускает здесь из виду, что речь идет не о частно-хозяйствующих суб'ектах, а об отраслях производства, которые, конечно, выйти из своей шкуры не могут. А поскольку возможна речь о переброске средств из одной отрасли в другую, о необходимости временно усилить ту или иную отрасль, то такого рода «начальственные распоряжения» тоже отнюдь не являются обязательной противоположностью хозяйственному учету и калькуляции, а вытекают из нее. Мизес не доказал противного.

Вопрос о хозяйственном учете ставится нашими авторами также в связи с вертикальной концентрацией производства сырья и фабрикатов (благ высшего порядка) [1]. Мизес вынужден допустить, что в пределах таких концернов возможна калькуляция продукции (Ver-und Berechnung) отдельных ступеней исключительно на почве технической пропорции элементов внутреннего производства, не прибегая к помощи промежуточного рынка. Таким образом рушится его построение. Однако Мизес, допуская возможность обойтись таким образом без рынка—для статики, отрицает эту возможность для динамики. Речь идет о возможности приспособляться к изменениям (естественных запасов и пр.) и о возможности самостоятельного прогресса (в производстве приложении новых капиталов и пр.). На это Маршак отвечает, что именно эмансипация от «точного рыночного уровня» дает крупным экономическим суб'ектам возможность осуществления широких программ будущего: железнодорожная компания, проникающая в новые территории, благодаря понижению ее тарифов, или государство, поднимающее путем мелиорации покупательную силу населения, действуют именно не на основании об'ективно сложившихся рыночных цен.

---

[1]) Горизонтальную концентрацию они отчасти приравнивают к «синдикализму» (в смысле Мизеса).

Другими словами, «динамика»,—это последнее убежище новоявленного разрушителя социализма,—тоже идет прахом. Уже в рамках капитализма тресты могут в своей калькуляции эмансипироваться от рынка.

Ф. Капелюш.

Политическая экономия. Основные проблемы в избранных отрывках. 1) **Предмет и метод**, сост. проф. С. Солнцев; 2) **Теория ценности**, сост. проф. И. Плотников. К-во «Путь к знанию». Ленинград 1924 г.

Книгоиздательство «Путь к знанию» приступило к выпуску целой серии сборников отрывков из произведений виднейших экономистов, посвященных основным проблемам политической экономии, по типу «Ausgewalte Lesestucke zum Studium der Politische Ökonomie» Диля и Момбера. В продаже уже появились два сборника: «Предмет и метод», ред. Солнцев, и «Ценность», ред. Плотников. Печатаются и готовятся к печати книжки: «История эволюции хозяйственных форм», «Деньги», «Капитал», «Прибавочная стоимость», «Прибыль», «Цена», «Земельная рента», «Заработная плата», «Общественные классы», «Кризисы и рынки», «Кредит и банки», «Учение о народонаселении», «Империализм».

Это—хорошее начинание. При удачном подборе матерчала широкий круг читателей получил бы возможность познакомиться по интересующим вопросам с произведениями авторов, никогда не появлявшихся на русском языке или сделавшихся большою редкостью. Всякий, серьезно работавший над политической экономией, знает, какой труд приходится затрачивать, чтобы получить необходимые книги. Нечего и говорить о провинции—вне Москвы и Ленинграда есть только два-три университетских города, где библиотеки составлены удовлетворительно, в которых можно получить все необходимое. Особенно скверно дело обстоит с иностранными писателями.

Было бы, конечно, лучше вместо отрывков выпустить избранные произведения классической, марксистской и буржуазной экономической школ, но кто же не знает, что в современных условиях издательской работы это является трудно разрешимой задачей, хотя вследствие огромного интереса к проблемам политической экономии, когда нарасхват покупают все, что появляется на книжном рынке—и серьезные труды и всякую макулатуру,—можно утверждать, что такое предприятие оправдало бы себя. Упомянутые сборники появились во-время; нужда в них назрела. Не в полной, правда, мере, но они все же облегчат знакомство широкому кругу читателей со взглядами виднейших экономистов на тот или иной вопрос.

Это значение сборников заставляет пред'являть к характеру и содержанию их определенные требования, по нашему мнению, недостаточно учтенные профессорами Плотниковым и Солнцевым при выпуске первых двух книжек. Прежде всего, недостаточно в наших русских условиях (уже отмеченных выше) выбрать отрывки из сочинений, положим, Маркса, Рикардо, Смита и т. д., дать к ним небольшое введение, где будут такие образчики популяризации авторов, как, например: «Вопреки мнению Энгельса, резкому ввиду того, что Родбертус задел Маркса, высказав сомнение в его оригинальности, мы все же полагаем, что Родбертус был крупным и оригинальным мыслителем, что и побудило нас включить его в серию авторов, писавших

[1]) «Теория ценности». Введение И. С. Плотникова, стр. 25.

по теории ценности»¹). Ведь «книги имеют свою судьбу». Издание предназначено, как упоминает И. С. Плотников, помочь нашему студенту ориентироваться в сложных вопросах экономической науки. Сборники должны быть снабжены достаточно полными примечаниями, определяющими как сущность взглядов отдельных писателей по тому или иному вопросу, так и то значение, какое эти взгляды занимают в общей системе учения этих писателей. Возьмем, например, учение о ценности Маркса и Родбертуса. Оба они рассматривают ценность, как историческую и общественную категорию, оба они категории ценности среди других категорий политической экономии придают первенствующее значение, оба они считают труд ее источником,—правда, Маркс неизменно глубже понимал природу труда, чем Родбертус—но в то время, как первый из них все свое учение построил, исходя из категории ценности, второй никак не увязал свою экономическую систему со своими взглядами на ценность. А ведь этим и определяется стройность системы. Не менее полезно было бы указать и те общественные условия, на фоне которых творили те или иные авторы. По отношению к первым двум книжкам серии это является обязательным требованием. Небольшое введение И. Плотникова и С. Солнцева, плюс небольшие биографические справки об авторах для этого очень недостаточны.

Второе. Выбор авторов не должен носить случайный характер. Необходимо, чтобы между помещаемыми в сборниках отрывками существовала генетическая связь. В сборнике «теория ценности» Маркс как бы обобщает Смита и Рикардо—это хорошо, но, когда сразу после Маркса на сцену появляется Бем-Баверк только потому, что «значение этой школы (австрийской. Н. М.) в современной буржуазной экономике настолько велико, что нельзя позволить себе роскошь игнорировать ее¹), а критика не полна, то это уже совсем плохо.

Учение Б.-Баверка не возникло ни с того, ни с сего. У Бема было не мало предшественников в лице Госсена, Джевонса, Менгера и др. и забвение их только повредило книжке. Не мешало бы для цельности ее поместить в ней и отрывки из произведений Т.-Барановского. Ограничить свою задачу только обрисованием пути, который привел к Марксу, напрасно: его произведения только выигрывают от сопоставления с творчеством других экономистов. С другой стороны - если уж говорить об ограничении, то зачем было в сборнике помещать Родбертуса, с которым Маркс не находится ни в какой связи. Включение Родбертуса тогда бы оправдывало себя, если бы составитель попытался рассмотреть его, как последнего из могикан классической экономии, не преодолевшего ограниченности буржуазного мировоззрения. Нужно еще заметить, что он представлен только одним отрывком из самого раннего своего произведения: «К познанию положения нашего народного хозяйства», несмотря на то, что в более поздних его произведениях: во 2 и 3 письмах к Кирхману, Капитале (4 письмо), а также в знаменитом письме к Вагнеру мы находим более интересные и глубокие места, посвященные анализу ценности.

В заключение укажем на две ошибки, допущенные во введении к «Теории ценности». Автор его И. Плотников указывает, говоря о Рикардо, что у последнего «понятие труда, как создателя ценности, хотя и в менее ясной форме, чем у Маркса, есть понятие абстрактного труда» ²). Это очень интересное открытие, однако оно ничем не под-

¹) „Теория ценности", ред. И. Плотникова, стр. 27—28.

²) Там же, стр. 23—24.

тверждается. Очень авторитетный и лучший знаток Рикардо—Маркс во II томе «Теории прибавочной стоимости» очень настойчиво подчеркивает, что Рикардо нигде не исследует специфического характера труда создающего ценность (стр. 9). В смысле понимания труда, Рикардо повторяет только то, что до него высказал А. Смит. Вторая ошибка более грубая, относится к утверждению, будто критика австрийской школы со стороны ортодоксального марксизма ограничилась общими разговорами о классовой природе учения австрийцев. И. Плотников на стр. 27 говорит: «Критика Бухарина построена преимущественно по типу «cui prodest, т.-е. стремится выяснить, психологии какого класса отвечает австрийская школа и чьи интересы она представляет».

Рискованное утверждение.—Ибо оно говорит либо о том, что И. Плотников не понял критики Бухарина, хотя последний и очень подробно в предисловии к «Политической экономии рантье» останавливается на необходимости критики буржуазной политической экономии не только со стороны ее классовой сущности и метода, что с его точки зрения недостаточно, но также требует: «чтобы неправильность метода была продемонстрирована на неправильности частных выводов системы т.-е. либо на ее внутренней противоречивости, либо на ее недостаточности, «органической» неспособности охватить ряд для данной дисциплины важных явлений» (стр. 4). Или И. Плотников недостаточно внимательно читал Бухарина, так как его книжка дает именно «развернутую критику» австрийцев, включая и социологическую критику и критику метода, и критику логической противоречивости всей системы.

Будем надеяться, что остальные, подготовляемые к печати, сборники не будут иметь недостатков уже вышедших, и что по выходе всей серии мы будем иметь ценное пособие для занимающихся политической экономией.

Н. Медников.

А. М. Саймонс, Социальные силы в американской истории. С приложением статьи И. Амтер, Революционное движение в Северо-Американских Соединенных Штатах, Госиздат, 227 стр.

Автор этого произведения, появившегося на английском языке впервые в 1911 году,—А. Саймонс,—видный американский марксист и один из редакторов социалистического журнала «Интэрнэшиэл Сошлист Ревю». Русскому читателю эта работа была известна по отрывкам, преподносившимся ему от времени до времени (напр., «Классовая борьба в Америке»—Госиздат, 1922 г.), но, именно благодаря этому, скрадывались большие достоинства, ей присущие. Главное достоинство книги в умелом и плодотворном применении марксистского метода к американской истории, представляющей причудливое сочетание самых различных эпох и общественных формаций. «Пока существовала подвижная пограничная полоса,—рассказывает об американской истории Саймонс,—Соединенные Штаты являлись единственной страной в мире, где в течение многих поколений жители могли по собственному усмотрению выбирать, в какой из исторических эпох социального развития им жить. Раздавленный конкуренцией безработный или занесенный в черные списки работник капиталистического мира двигался на Запад, возвращаясь в период преобладания мелкого частного хозяйства с его большими возможностями заняться самостоятельным трудом или «выбиться в люди». Он мог двинуться вперед в географическом смысл

и назад в историческом отношении, вернувшись к полукоммунистическому быту первых оседлых переселенцев...» (91).

Задача материалистического об'яснения исторических явлений представляет всегда исключительные трудности как по самому существу, так и в значительной степени потому, что официальные историки из побуждений якобы патриотического характера, а на самом деле в целях укрепления классового господства, сознательно насилуют историю и бессовестно подтасовывают исторические факты и события. Но эти трудности возрастают во-сто крат, благодаря исключительной фальсификации и облыжному прикрашиванию, каким подвергалась история Заатлантической республики доллара и «бизнесмен» (дельцов) под пером американских и других авторов. Несмотря на указанные затруднения, нужно признать, что Саймонс справился со своей задачей блестяще.

О своем методе исследования он пишет в предисловии: изменения в экономической основе общества—изобретения, новые процессы производства и распределения товаров—создают новые интересы, с новыми общественными классами, являющимися представителями этих интересов. Эти усовершенствования в области техники производства составляют динамический элемент, движущую силу, обусловливающую то, что мы называем прогрессом общества». С этой точки зрения, весь ход американской истории представляется, как история борьбы классов, как столкновение социальных сил и группировок. «За каждой политической партией,—утверждает Саймонс на основе анализа конкретных фактов американской истории,—всегда стояла группа или класс, ожидавшие выгод от деятельности и успеха этой партии. И если та или иная партия достигала власти, то это происходило потому, что она стремилась установить новые учреждения или видоизменить существующие в соответствии с интересами этой группы или класса».

Вышеуказанные обычные положения материалистического об'яснения истории, приведенные Саймонсом, не остаются у него голыми, бесплодными схемами. Они насыщены подлинным историческим содержанием. Без щеголяния обильными статистическими таблицами, без злоупотребления индексами, как водится в подобных случаях, но исключительно лишь благодаря глубокому анализу причин и научному исследованию и обработке многочисленных фактов, почерпнутых из изучения первоисточников, автору удалось вскрыть основные движущие силы столь сложного комплекса, как американское социальное развитие.

В соответствии с методом план работы таков: «Сперва описывается развитие техники, затем указываются общественные классы, выдвинутые техническими изменениями, далее—борьба, путем которой новые классы старались добиться общественной власти, и, наконец, характеризуются учреждения, созданные в результате этой борьбы»... Накануне революции 1776 г., приведшей к отложению северо-американской колонии от английской метрополии, экономические условия сложились так, что тон задавали торговые и финансовые круги, достигшие господства в так называемой новой Англии... «В революционной партии Америки господствующее положение занимали те группы, из которых возник современный капиталистический класс,—занимавшиеся контрабандой купцы, промышленники, земельные спекулянты и пр.» (49). Эти группы вели за собой широкую массу трудящихся классов и мелких самостоятельных ремесленников, которых они привлекли на свою сторону выпуском бумажных денег и политикой угодничества перед местными законодательными учреждениями. Реакционная партия рекрутировала своих

сотрудников из лиц, близких к губернаторам и вообще «сферам», из родовитого купечества, крупных землевладельцев и духовенства английской церкви. Обе борющиеся группы имели связи по ту сторону Атлантического океана, т.-е. в Англии, и успех революции был в значительной степени достигнут благодаря тому, что она оказалась «американской фазой английской гражданской войны». Новое правительство, рожденное в огне революции, стремилось разрешить стоявшие в порядке дня исторические задачи, а именно—создание предпосылок для капиталистического развития—тремя главнейшими средствами: во-первых, фундированием национального долга и долгов отдельных штатов и принятием последних национальным правительством на себя; во-вторых, учреждением национального блока и, в-третьих, установлением покровительственного тарифа и акцизов. Этими средствами, а также учреждением независимого от населения суда, была достигнута задача постепенного создания и укрепления крепкого централизованного государства, стоявшего вне зависимости от демократического контроля.

Дальнейшие технические усовершенствования, изобретение хлопкоочистительной машины Эли Уитнея сделали выгодным разведение хлопка на возвышенных местах и создали основу для появления рабовладельца-хлопковода, к которому в союзе с фермерами внутренних районов перешла и политическая власть в стране. Представителя торговцев и банкиров на президентском кресле в Вашингтоне сменил «демократ» Джефферсон. Характер демократизма последнего подробно описан у Саймонса, но мы опускаем эти подробности ввиду недостатка места.

Из последующих периодов большое значение для дальнейшего хода американской истории имела борьба Англии с Наполеоном. Из отчаянной многолетней борьбы, в которую были втянуты народы Европы, господствующий класс Соединенных Штатов извлек, как это повторилось и позже во время недавней мировой войны, колоссальные выгоды. «Важнейшим событием этого периода было рождение престолонаследника, последнего в ряду правящих классов, господствовавших в обществе со времени возникновения частной собственности. Этим последним владыкой династии классового господства был обладающий мощными машинами класс капиталистов» (95). В результате произошло перемещение интересов. В период господства торгового капитала и рабовладельца-хлопковода, зависевшего от внешней торговли, внимание было сосредоточено, в первую очередь, на торговых договорах, торговых премиях, на вопросах морской торговли с отдаленными странами; отныне оно целиком поглощено шоссейными дорогами и каналами, кризисами, бедностью, верховными правами штатов и рабством (97). Дальнейшее развитие промышленного капитализма и кризис рабовладельческой системы неизбежно должны были поставить в порядке дня существование в будущем института рабства, что, в свою очередь, породило известное аболиционистское движение. Автор подробно доказывает, что развитие последнего ни в какой мере не было связано с какими-либо высокими идеалистическими и моральными побуждениями. Наоборот, в течение продолжительного периода север, занимавшийся переработкой хлопка и извлекавший из этого занятия большие выгоды, мало беспокоился по поводу существования рабства на юге. «До тех пор, пока различные области страны взаимно дополняли друг друга и не являлись конкурентами, не существовало глубоко укоренившегося антагонизма. «Король-хлопок» и «король хлопчатобумажных товаров» не имели поводов к раздорам, пока их интересы не начали проявляться в противоположных направлениях. Целый ряд этих противоположных интересов до такой

степени обострился к 1860 году, что каждый из них мог вызвать гражданскую войну, а все они вместе не могли не повести к вооруженному столкновению» (140). Мы не имеем возможности, по вполне понятным причинам, останавливаться на этих разнообразных противоречиях, равно как вынуждены, по тем же мотивам, пройти мимо анализа автором кризиса рабовладельческой системы. Отсылаем читателя для той или другой цели к первоисточнику, где, кроме того, он сможет почерпнуть интересные данные из истории американского рабочего движения. Эти данные показывают, что, несмотря на крайнюю раздробленность и почкование социалистического движения Соединённых Штатов, американский рабочий класс в своем прошлом имел не мало героических дней и выдержал не одну ожесточенную схватку с господствующими классами американской «демократии». Это служит залогом того, что, при известном неблагоприятном повороте хозяйственного развития Америки, американский рабочий вспомнит свои революционные традиции и вступит в бой... со своей плутократией, чувствующей себя пока прочно только вследствие неразвитости американского рабочего движения.

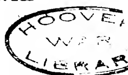
Саймонс доводит свое изложение до 1910 г., бегло касается процессов концентрации и картелирования американской промышленности, но как раз довоенный период с его грандиозными грюндерскими махинациями, железнодорожными панамами и безудержной биржевой и денежной спекуляцией, взрастившими миллионные состояния Вандербильтов, Карнэджи, Рокфеллеров, Морганов и др., получил недостаточное освещение на страницах его книги. Этот пробел тем более чувствителен, что в данной исторической обстановке Соединенные Штаты, в результате мировой войны, все более становятся руководящей державой капиталистического мира, законы развития которой являются законами развития капитализма последней стадии. Подобно тому, как во 2-й половине XIX века Маркс направил свой острый анализ на изучение хода капиталистического развития в тогдашней «промышленной мастерской» мира—Англии, так в настоящую историческую эпоху перед последовательными сторонниками марксизма выдвигается, в первую очередь, необходимость углубленного изучения законов и тенденций развития Соединенных Штатов—современной «промышленной мастерской» мира. В этом отношении книга Саймонса явится полезным и ценным пособием.

Л. Эвентов.

Редактор: Редакционная Коллегия.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ



ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 5—6

МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“

МОСКВА—1925

